

# Енисей

№ 2  
2014



Красноярский литературно-художественный  
и краеведческий альманах





# Енисей

№ 2 \* Красноярский литературно-художественный  
2014 \* и краеведческий альманах

Михаил Тарковский главный редактор

заместители  
главного редактора:

Сергей Кузнечихин по поэзии

Владимир Замышляев по публицистике  
и литературоведению

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр Астраханцев прозаик, председатель  
Красноярского отделения  
Литературного фонда России

Леонид Бердников краевед, председатель  
Историко-патриотического  
общества «Краевед»;

Иван Булава прозаик, первый секретарь  
Сибирского представительства  
Союза писателей России и Белоруссии

Иван Клиновой член Союза российских писателей

Марина Москалюк доктор искусствоведения, профессор,  
директор КГБУК «Художественный  
музей им. В. И. Сурикова»

Михаил Северьянов профессор, доктор исторических наук



Красноярск  
ИД «Класс Плюс»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря  
финансовой поддержке министерства  
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов.

В оформлении обложки использован  
фрагмент картины Александра  
Волокитина «Шаманка».

Адрес редакции:  
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,  
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов  
Корректор: Андрей Леонтьев  
Ответственный секретарь:  
Александр Ёлтышев

Подписано в печать: 1.12.2014  
Тираж: 500 экз.  
Формат: 70 × 100 / 16  
Объём: 16,25 + 0,65 вкл. усл. печ. л.

Отпечатано в ИД «Класс Плюс»  
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65  
(строение 23) | т. (391) 2-59-59-60

ISBN 978-5-905791-33-8

# Содержание

## ЮБИЛЕЙ

- Михаил Тарковский *Юбилей Красноярского края.  
Наша земля и мы* 5
- Василий Авченко *«Сибирь надо открывать»* 13
- Александр Новосельцев *От Ельца до Енисея* 18
- Александр Щербаков *Край характером сибирский* 24
- Марина Саввиных *Малая, великая... моя* 27
- Дмитрий Подосёнов *Великое переселение* 31

## ПРОЗА

- Виктор Ремизов *Кряж* 40
- Вероника Сидорова *Сияние вечной любви* 50
- Сергей Смирнов *Ещё раз про собак,  
северян и северá* 60
- Сергей Сутоцкий *Хорошо* 79
- Михаил Стеклов *Лебеди* 86
- Эдуард Русаков *Крапива* 94
- Евгения Захарчук *Зимним вечером* 106

## ПОЭЗИЯ

- Николай Гайдук *Блестательный почерк* 107
- Анатолий Третьяков *Там, где даль перешла  
в бесконечность* 109
- Наталья Наливайко *Алмаз* 115
- Евгения Зуева *Не слышно из-за тишины* 118
- Анна Чеботарёва *Наша родина — Сибирь!!!* 122

## АЛИТЕТ

Сергей Кузнечихин *Его поленья в наш  
общий костёр* 124

Алитет Немтушкин *Метки на оленьем ухе* 128

Раиса Сакова *«Благодарю вас за то,  
что жил среди вас...»* 138

## МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Эдвард Вашгерд *О белых, бурых, классных...* 145

*Самородки медвежьих углов* 169

Геннадий Соловьёв *Скотинник* 172

## КУЛЬТУРА

Владимир Замышляев *Православие и культура* 180

Анатолий Байбородин *Блаженны краткие* 188

*Авторы* 195

Михаил Тарковский

# Юбилей Красноярского края. Наша земля и мы

Любой юбилей останется эффектным сочетанием цифр, юбилейщицей, если не увидеть в нём повода для вопроса: а что я сделал для родного края, как поучаствовал в его судьбе, что смогу сделать сейчас и в будущем? Как привычно ни звучали бы слова «сделать для», в действительности что-либо сделать оказывается довольно сложным, так как у многих людей нет для этого ни возможности, ни сил. Тем более если ты не создатель гениального романа или железнодорожного моста, а просто пропахал свою жизнь так, что спина по ночам трещит, или просто работаешь, чтобы семью на плаву держать. (Хотя и полноценная семья нынче уже огромный вклад в судьбу Отечества.) Но всё равно при слове «сделать» нам невольно представляется что-то и эпохальное, и очень конкретное одновременно. И, наверное, для того и существуют литературные издания, чтобы его участники — и авторы, и читатели — вместе попробовали разобраться в отношениях со своей землёю...

Красноярский край — главный регион России. Об этом говорят и его размеры, и центральное положение на карте нашей страны. Как известно, край был образован 7 декабря 1934 года постановлением Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) РСФСР. В состав региона вошли несколько десятков районов, Хакасская автономная область, Таймырский и Эвенкийский национальные округа. Центром стал город Красноярск. Край был образован почти в границах бывшей Енисейской губернии. Площадь его — свыше двух миллионов квадратных километров, и он до сих пор является вторым по площади регионом после Якутии. В 1991-м Хакасская автономная область вышла из состава края и была преобразована в республику; в 1993 году самостоятельный статус получили Таймыр и Эвенкия. С 1 января 2007 года Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ вновь вошли в Красноярский край. Округа вошли в состав края как Таймырский, Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы.

О Туве: в апреле 1914 года правительство России установило протекторат над Тувой, которая под именем Урянхайского края вошла в состав Енисейской губернии. Такое административно-территориальное деление сохранялось до начала 1920-х годов. В 1944 году Тува вошла в Советский Союз на правах автономной области. В 1961-м

была преобразована в Тувинскую АССР. В 1991-м переименована в Республику Тува. Был принят вариант конституции 1993 года с новым названием: Республика Тыва. В новой конституции России 1993 года, принятой спустя два месяца, было закреплено название «Республика Тыва». В действующей конституции республики названия «Республика Тыва» и «Тува» стали равнозначны.

Несмотря на административную отдельность Тувы от Красноярья, все мы, конечно же, относим эту удивительную страну к нашему кровному миру, осенённому батюшкой-Анисеем, объединённому логикой природы и географии. Понятно, что и транспортно, и экономически, и, что самое главное, человечески эти смежные территории неразделимы.

Вообще, так сложилось, что очень многие жители региона, и в первую очередь красноярцы, по контрасту с протяжённостями и безлюдьем и даже им вопреки, считают *весь край своим*, будто Хатанга, Тура, Танзыбей или Хандагайты — не запредельно далёкие посёлки, отстоящие друг от друга на сотни и тысячи вёрст, а хорошо знакомые горницы одной огромной избы. Помним, как в советское время к друзьям и родным летали, будто на автобусе, и ненаселёнка, казалось, сокращала, глотала расстояния, и товарищ, живущий в тысяче вёрст, казался тебе ближайшим соседом. Оно и сейчас живо, это соседство по жизненным условиям, по природе и по судьбе. Оно порождало какую-то особую гордость северян, жителей дальних мест, да и вообще сибиряков: мол, и трудно, и далеко, и ледяной ветер в лицо, но это *наше*. Сгусток: и героика труда, и привязь к месту, комом подступающая к горлу, когда взлетаешь и смотришь из вертолётного оконца на горстку домов, и какое-то витающее в воздухе бескорыстие всей этой жизни на фоне чахлых лиственниц, и красота немислимая, и то, что за кусок драгоценной рыбы ты платишь мозолями, а не пачкой денег в ресторане.

И дорога, особенно близкая именно сибирякам из-за всё тех же расстояний и так роднящая нас и с прошлым, и с тёплой зауральской Рассеюшкой. И всё то, что воспето в русских песнях и романах: и тракты, и санные пути, и звон бубенцов, и заиндевелые конские морды, и ломовые морозы, и пурги, и всё дорожное, путевое, обострённое уже именно условиями Сибири и прокалённое ею до новой ценности и силы.

Говоря о юбилейной дате, мы не считаем её рубежом, разделом и ни в коем случае не прерываем историческую преемственность, течение русского времени. Без сомнения, енисейская земля, став из губернии краем, приняла весь груз традиций и завоеваний, а далее продолжила свой морозный кат уже в новых условиях и исходя из тех задач, которые диктовали и обстановка Великой Отечественной войны, и курс на экономическое строительство, и масштабное освоение природных ресурсов.



Поскольку нас прежде всего интересуют богатства духовные и человеческие, не хотелось бы повторять всем известных истин о богатствах природы, которыми она столь щедро одарила своих не совсем рачительных детей, и тому подобные вроде бы знакомые вещи... Но как порой страдают и дело, и истина... даже не от усталости слов, а от притупления нашего слуха и зрения, от утери человеком способности видеть Божий мир в его первозданной, электрической, молнийной, что ли, яркости.

И как не повторить, что Красноярский край воистину огромен и непомерен, и если взглянуть на карту, поразишься ненаглядности нашей природы, невозможности одним взором охватить её и осознать, уложить в душе в постижимом виде. Если обратить взор к истокам Енисея, к монгольской границе, и повести его на север через Саянскую горную систему, то божественная мощь природы явится в небывалой, какой-то концентрированной и абсолютной красоте. Чего стоит облик очень крутых Саянских хребтов со сверхгустой темнохвойной тайгой, с резными гребнями гор в частокле остроконечных елей, пихт и кедров. Свечеобразность призвана уберечь дерево от обвальных снегопадов и выливается в абсолютно готическую какую-то устремлённость кроны ввысь. Деревá до символичности вытянуты к небу, словно в очередной раз напоминают о незыблемости духовных основ в жизни этноса, — именно с той же стельчатой чёткостью церкви в древнерусских городах тянули к небу побеги своих колоколен.

Поражает эта будто бы избыточная краса, почти необъяснимая с точки зрения её земного применения, какой-то практической корысти. Если стройность таёжных деревьев нам обоснует задавленная снегом кедрюшка или в арку согбенная ёлочка, то к бирюзовому цвету горных рек и озёр привыкнуть невозможно, каким химическим и оптическим анализам ни подвергай это сжиженное небо. И назначение этого великолепного цвета, небесная сверхчистота горной воды так и остаётся Божьей тайной.

Однако продолжим наше медленное подоблачное движение: вот тянем над степями Хакасии и таёжными белогорьями (Манским, Кутурчинским, Канским), а вот, ведомые магнитно точной лентой Енисея, уходим всё дальше на север. И долго видим беспредельные пространства болотняков, сопок и гор в штриховке тайги, просторы Туруханского района и Эвенкии до той поры, пока зачарованный лёт наш не пронесёт нас по-над путоранским горным чудом в таймырское арктическое Заполярье. Господи, ну за что... всё это?

А вид осенней тундры с воздуха, кружевного полотна в красных, жёлтых, рыжих и зелёных разводах-оторочках? А озёра, водопады и каньоны в столовых горах-наковальнях? А восток Эвенкии — осенённые полярным покоем горы в прощальном осеннем лиственничнике?... Лиственница... Самое выносливое дерево — никакое другое не

выдержит ни морозов, ни мерзлоты, ни гольного проколёвшего камня под ногами... Совсем иная красота по сравнению с темнохвойной тайгой, но так же струнен набор ровных листвяжных стволов, так же подчинён замыслу их аскетичный строй. Сдержанно и торжественно горит желточное пламя хвои в лучах осеннего солнца. Когда лиственница облетит и олягут снега посеревшую округу, строгой гравюрой прорежут её ветви серебряное северное небо.

Вижу наш край огромной дышащей картой — медленно проплывающей сквозь крап сухого снежка, сквозь опаловую дымку... Вот гора с белой проплешиной, вот тундрочка с чахлыми листвяшками и табунком оленей, вот огромная, почти недвижная река с седыми ледяными полями, вот прижатый к тайге даже не посёлок — схемка построек с примёрзшими к крышам дымками, и снова наплывает сизое перо, будто оберегая сердце: отдохни маленько, всего должно быть по силам. И вот, клоня крыло в развороте, уходим к востоку и, задумавшись, в мутном оконце меж облаков вдруг увидим безлюдные и фантастические ландшафты Анабарского плато... Дак это ж северо-запад Якутии! Воистину, только для карты есть границы регионов, тайга их не читает, и так же плавно переходит к соседней Якутии и Иркутской области, и так же тянутся к востоку непостижимые пространства земной плоти.

Но что нам эта плоть без людей?.. И как мал человек по сравнению с пространством... Как длинна дорога по тайге или реке, каким чудом встаёт вдруг поселение, городок, город, окружая огнями, вечерним уютом, так обманно скрывающим далёкую сопку с тайгой, белый ли кусок тундры или пласт озера. Когда много дней проводишь в дороге в ожидании этих огней, обшарпанной заправки, столовки с немыслимым ужином, то великим счастьем станут расступившийся лес и горстка домишек.

Или засыпанная снегом избушка, к которой подходишь на лыжах еле живой и ведомый лишь одним знанием, что в ней дрова, берёста, еда, спасительные отдых и тепло. Что через час здесь будет жарко от железной печки, красно светящейся сквозь ржавчину, и весело от янтарного света керосиновой лампы... И синим квадратом будет густеть тайга в окошке, переваливаясь безлюдными вёрстами за горы, реки и озёра.

И настолько несопоставимы площади пространств и площади населённых пунктов, что даже в большом городе не отпускает чувство условности этих огней, магистралей и торговых теремов. Шаткость их по сравнению с силой земли, с её скрытым взором, зрячей плотью, будто наблюдающей, оценивающей, насколько мы её достойны, насколько бережём.

Трудовая краса и запредельная рациональность выживания, бытовая тяжесть природы и человека воспитали себе под стать. И действительно, какая внутренняя стать, какая сила традиции и культура

бытия народились на этих просторах! Какое многообразие народов! Хакасы и тувинцы — тюркский люд Южной Сибири, с какой-то жильной привязью к древности, к великой степной тайне, к земной тверди. Кажется, раздвинешь ковыль, приложишь ухо — и оживёт она гудким бубном шаманки, конским топотом, космически таинственным голосом хомуса... А жители северной тайги — эвенки, кеты, селькупы, и якуты на самом востоке, таймырские ненцы, энцы, нганасане и долгане... Ну а уж русское население... Да ещё с целой поднародностью — сельдюками, с великими традициями промысловой культуры, с ангарскими и енисейскими особенностями уклада. С целым миром, вобравшим и сохранившим дух, прежде повсеместный на Руси, а теперь оставшийся островами и являющийся нам перво-наперво в истинно русском языке.

А украинцы, а немцы, многие из которых стали настоящими патриотами Енисея. И подходим к сокровенному... Старообрядцы, добавляющие строгий свой строй в сибирский заповедник русского духа... Сколько про них сказано, написано, кто-то их любит до обожествления, кто-то копит к ним претензии, но забывает о главном: староверы — это единственное на Руси сословие, пронёсшее незыблемость уклада сквозь века.

Не забуду ярчайшей картины енисейской жизни: осень, старинное сибирское село Ворогово. Даль Енисея, такая огромная, что берега глядятся тонкими нитями на фоне бескрайней воды. Крепкий северный ветер вздирает воду до мельчайшей голубоватой пыли, которая висит над поверхностью воды туманным пластом. У берега кормой в Енисей и носами в берег стоит десятка три огромных деревянных лодок с моторами. Лодки раскреплены растяжками и стойко держат ветер, хотя их то и дело вздымает прибрежным валом. На лодках висят моторы, кажущиеся маленькими по сравнению с длиннющими их корпусами. Видны дистанционные управления из жердей, из тросов, разнообразные передачи и многое другое. На некоторых особо больших лодках стоят тракторные дизеля и сколочены дощатые рубки. Из жестяных труб идёт дымок, его клочья срывает ветер. На палубе одного из судов стоит корова.

Есть лодки и вовсе удивительные — почти целые пароходы из гофрированного железа, угловато сваренного на притоке Енисея Дубчесе, в посёлке Сандакчес. Вся эта флотилия и выехала оттуда, с этого старообрядческого поселения, чтобы затариться перед долгой зимой. На берегу целая толпа: бородатые мужики, женщины в платках с прямыми открытыми лицами и ясными глазами, белоголовые мальчишки в рубашках-косоворотках...

Будто сама Русь взглянула в душу прозрачными своими очами.

Знаю одну старообрядческую семью... Глава — человек, думающий о процессах, происходящих и в мире, и в самой России. Особенно его беспокоит разлагающее воздействие массовой культуры, пропаганда

секса, разжигание страсти к деньгам. Он называет это коротким и ёмким словом «скверна».

Конечно, трудно выстоять. Революционно меняется жизнь в самых даже таёжных углах, куда всё напористой дотягиваются прогресс, глобальные процессы, рушащие всё традиционное, патриархальное.

Удивителен национальный и человеческий замес нашего края. Век за веком крепчал здесь русский человек, брал лучшее у коренных народов, привносил своё, вживался в местности, гибко и вдохновенно отражал многогранные лики природы. Учась отвечать на каждый порыв пурги, отблеск неба и оттенок снега, не щадил рук — и вот оброс и оцетинился от ветров и морозов целым арсеналом удивительных предметов, для изготовления которых требовались предельная чуткость к природе, знание её законов и распорядка. Вспомним камусные лыжи, долблёную лодку, берестяные кибасья (грузá для невода или сети), традиционные ловушки кулёмки — все те изобретения, что по инженерной красоте, совершенству, замыслу и выразительности образа являют собой бесценные образцы культуры. Рука об руку с этими братьями человек, войдя в мастеровую, рыбацкую, охотничью силу, накрепко соединился с тайгой и рекой и обрёл неразменный дар смысла и правоты, лада и автономности.

Какую страницу жизни Красноярского края ни отворю — всё заслуживает монументального литературного повествования: и история енисейского флота — с северными завозами по шугующим рекам, с подъёмом весенних караванов через пороги Подкаменной и Нижней Тунгусок... И жизнь зимников, связывающих зимой отдалённые посёлки, морозные вахты бессонных водителей, то впивающихся красными глазами в сахарное полотно дороги, освещённой фарами, то зимогорящих у горящих скатов возле заглохшего «Урала»... Золотодобывчатские будни Северо-Енисейского района... Шофёрские были Усинского тракта с гололёдами на серпантинах и лавинами... И ещё дальше, глубже в морозную мглу: железная дорога Абакан — Тайшет, великие стройки на реках, и 503-я стройка, и Норильск... И Ангара... И вечный разрыв между индустриальным и патриархальным, между святой тягой сохранить неприкосновенной природу и годами отлаженный уклад и нуждой в индустриальной мощи страны, в военном щите, в энергетической независимости... И тянется одно за другим — и обстановка в мире, и лакомость Сибири для врагов... И активизация тёмных сил в мире, и усиление их агрессии по отношению к России, и противостояние чужому и чуждому *нашего*, русского, глубинного. Поэтому особо хочется выделить связанное с культурой, духовной сферой, обозначить точки подвижничества, без которых немислима жизнь любого региона. Это музеи и библиотеки, работа в которых лежит всегда почему-то на плечах женщин. Неброская, кропотливая и изнурительная.

Это, конечно же, монастыри и храмы, число которых с Божьей помощью прибывает. Работают Свято-Троицкий мужской монастырь в Туруханске, Спасский мужской и Иверский женский в Енисейске, Успенский мужской, Благовещенский женский в Красноярске, Красноярский Знаменский скит, скит Новомучеников Российских на Монастырском озере в Енисейском районе. Строятся церкви. Возведены крупнейшие Крестовоздвиженский собор в Енисейске, храм Рождества Христова в Красноярске...

Никогда не забуду картины: огромный трёхпалубный теплоход с православной миссией идёт по Енисею в сторону Красноярска, возвращается из паломнического рейса. На борту духовенство, работники культуры, артисты, иностранные гости. Всё очень серьёзно, ответственно и торжественно. Мы останавливаемся в одном посёлке и с радостью узнаём, что как раз здесь наш знакомый и знаменитый по Енисею батюшка. На катеришке он идёт вниз — тоже паломнический миссионерский поход.

Мы отправляемся к нему. На Енисее север взрывает крутой вал. Катеришка стоит в закутке, в проточке. Поднимаемся по трапу. Заходим — в темноте видим двух людей, согнувшихся над машиной. Окликаем: один из них капитан, другой — батюшка. Батюшка разгибается, ступает к нам, приветствует. Просим благословения... Рукава батюшкиного облачения засучены по локоть, руки по локоть в масле — он снимает головку у дизеля, который погнал ли масло, застучал ли... уж не помню. Помню только, что не спали они сутки или двое, что только что поднимались по Сыму, где сели на косу (вода падает), еле слезли, потом забарахлил дизель, и они пошли назад. Ну что добавить? Никогда не забуду батюшкины руки в автоле и ссадинах, усталые, с почти горячечным блеском глаза... Мутный, цвета холодца, весенний вал на Енисее, снег, ветер...

Как это всё уместить в одной голове, душе? И крепкую дату, и вопрос: чего это юбилей-то? Административного образования или всё-таки чего-то большего? Может быть, это напоминание о любви и терпении, потому что только любовью и терпением и можно этот сгусток проблем одолеть, эту бухту надрызглую, неподъёмную... Терпением и памятью о тех, кто перетаскивал парусные кочи с Таза на Турухан... кто жизнь клал... шёл, строил, стелил... дороги бил, створы по берегам ставил, лечил смертельно больных, как святитель Лука Войно-Ясенецкий.

Льётся кровь на Украине, идёт раскол славянского мира, продолжается планомерное замещение наших фундаментальных ценностей западными. Какой беззащитной выглядит и Сибирь, и наши юбилеи, и горстки староверов, и даже стройки наши, ГЭСы и ТЭЦы... И вот он, тот самый вопрос: а что же каждый из нас может сделать сегодня для родного края как части России (а в ином контексте, думаю, и не имеем права мыслить сегодня)?

Бабушка моя говорила: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Универсальная поговорка. Ноги — это наше жизнеобеспечение, теплотрассы, тепло в избах, дрова, толстые портянки, пимы и бродни. А голова — это... голова. Именно её нам и нужно прежде всего привести в порядок. И прекратить удивляться, всплёскивать руками: да что ж такое творится? И тогда события современной жизни, кажущиеся вроде бы случайными и абсурдными, обретут логику: такие явления, как насаждение идеологии потребительства и индивидуализма, примитивной массовой культуры и виртуальной реальности, разрушение института семьи, культ животных удовольствий, пропаганда содомии, блуда и аборт, клонирование и всё то, что нельзя назвать иначе, чем звеньями последовательной политики духовного и физического человекоубийства. А за последние двадцать лет работа по разрушению духовных ценностей нашего народа проведена колоссальная, и поражаешься, насколько слабой, какой-то совсем уж подкожной оказалась наша советская прививка. Жаль. Думалось, она глубже.

Поэтому наша с вами главная задача, как писателей и читателей, защитить и отстоять наше духовное пространство, наработанное веками, осознанно и навсегда утвердиться в своих взглядах, поставить заслон разрушительным течениям в общественном сознании. Быть защитником дорогого.

Мировоззрение материально. Совокупность мировоззрений — сила. Есть правило общей молитвы: созидаящая сила духовного единения в том, что совместная молитва во много раз сильнее и действенней молитвы, прочитанной каждым по отдельности.

Василий Авченко

## «Сибирь надо открывать»

С писателем из Владивостока беседует Михаил Тарковский

—*Вася, ты тонкий и ответственный выразитель дальневосточного духа. Хотя сам родился на Ангаре, в одном роддоме с Вампиловым. Ты всю жизнь прожил во Владивостоке. И вот теперь впервые побывал на Енисее, в Красноярске, проехав на машине полстраны, где перед тобой прошли потрясающие картины: Амурская область, Читинская, Бурятия, Байкал... Какие твои впечатления от Енисея и от Красноярска?*

—Как-то много пафоса. Ну какой я выразитель? В лучшем случае — фиксатор-любитель... Действительно, я появился на свет в Черемхове и часто в детстве бывал в Свирске, где жили мои бабушка с дедушкой, но считаю себя всё-таки владивостокцем, хотя Сибирь для меня — земля, безусловно, не чужая, а родная во всех смыслах слова, и Вампилов с Распутиным здесь тоже очень-очень, что называется, в тему. На Енисее я был проездом, когда ехал в Москву поездом, и ещё пару раз ждал рейса на пересадке в Емельянове. В этом году приехал сюда на машине и имел возможность заехать — впервые за двадцать пять лет — в тот самый Свирск (кстати, упомянутый Вампиловым в «Утиной охоте»). Впечатлений много, хотя чего-то подобного от этой дороги я и ожидал, я ведь бывал в разное время во многих её точках, от Сквородина до Улан-Удэ, а вот теперь собрал всё воедино, в одну нитку.

...Одно из главных ощущений можно сформулировать так: Россия — это не города с толпами и домами. Россия — это огромные пустые пространства, связанные тоненькой ниточкой дороги — автомобильной и железной. Это всё очень хрупко, очень невесомо, но в то же время — осязаемо и бесспорно. Ощущение большой страны — ценное ощущение, нельзя его терять.

—*Каков дух этой земли? Успел ли ты его почувствовать? Опиши свои впечатления.*

—Наверное, надо в Сибири по-настоящему пожить, чтобы иметь право на формулировки обобщающего характера. Да и дух Владивостока я, если честно, не могу выразить в нескольких словах. Вот несколько книг об этом написал — и тема далеко не исчерпана. Сибирь велика во всём. Сибирь драгоценна и бесценна. Сибирь — наше сокровище в смысле «драгоценность» и в смысле «то, что сокрыто, спрятано».

Сибирь надо открывать. Даже нам, зауральцам. А остальным — тем более.

— *Отличаются ли дальневосточники от сибиряков? Одно ли это поле?*

— Чем-то, наверное, отличаются — есть ведь, в конце концов, и «географический детерминизм», и традиции; но поле это, безусловно, одно. Несмотря на тысячные расстояния, мы — жители Владивостока, Читы, Красноярска — говорим на одном языке. Мы меньше отличаемся друг от друга, чем москвичи от нас. Хотя и москвичи отличаются не так сильно, как иногда это у нас говорят. . . У нас вообще поразительно однородная страна, мы отличаемся разве что мелочами, частностями, словечками, привычками. . . Отличаемся куда меньше, чем китайцы разных провинций между собой или даже немцы. Единая Россия, без дураков. И это вселяет в меня большие надежды: страна едина, несмотря на популярное мнение о том, что Россия вот-вот рухнет, что это продолжающаяся разваливаться империя.

— *У меня было чувство, что для вас это дальний запад, что почти как Москва. Значит, всё-таки ближе?*

— Конечно, куда как ближе. Это всё наша территория. Москва — уже другая, чужая (близкая, конечно, поскольку — столица, но — по-другому), а Красноярск и вообще Сибирь — это рядом, это своё, близкое, хоть и в пяти тысячах километров. Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Красноярск — даже не верится, что они разнесены по континенту. «Зауральцы». Или «сибиряки». Раньше ведь Дальний Восток не обособляли от Сибири как таковой. В Сибири чувствуешь себя как дома. В Москве, Питере — уже не то. Уже как космонавт в открытом космосе: постоянно думаешь, сколько у тебя воздуха осталось.

— *Можешь сравнить состояние русской литературы на Дальнем Востоке и в Красноярье?*

— Сложно это делать. На Дальнем Востоке, насколько мне кажется, нет большой литературы, нет ощущения литературы как процесса. Есть лишь отдельные яркие имена, как Лора Белоиван, к примеру. Или отдельные великолепные книги, как курильский «Язычник» Кузнецова-Тулянина или «Сила трупа» Коваленина. Хотя вот наш замечательный критик Александр Лобычев, по-моему, придерживается иного взгляда, считает литературный процесс на Дальнем Востоке неповторимым, интересным, сильным. . . Он во многом прав, конечно, и хочется с ним согласиться, но не всегда у меня это получается. В Сибири же, по моим ощущениям, всё немного поживее. Может, потому, что в Сибири и народу побольше, и история русского освоения региона подлиннее. Но, вообще, почти вся литература, конечно, сосредоточена в Москве и Питере. Мне не очень это нравится, но это данность. Я бы расселил



лучших писателей равномерно по всей стране. Не хочется действовать насилием, конечно. Хотя вот и ГУЛАГ, при всей жестокости и изуверстве, как ни парадоксально, многое дал литературе (хотя многое и отнял у литературы, убив ряд её ярких представителей)... Если серьёзно, хочется, чтобы в провинции было веселее, живее, богаче, интереснее. Чтобы были у нас и центробежные — в хорошем смысле — тенденции, а не только центростремительные, когда все съезжаются в перенаселённую Москву.

— *Несколько комментариев по поводу книги «Язычник», которую я прочитал на одном дыхании ещё и оттого, что Кунашир — мой любимый остров. Её автор, Кузнецов-Тулянин, провёл на Курилах лет десять жизни и давно живёт в Средней России, поэтому его книгу исключительно дальневосточной считать нельзя, она, скажем так, посвящена Дальнему Востоку. А то, что автор там долго жил, был очарован этим регионом, а потом уехал в Рассеюшку, то, что значительная часть его души осталась в Сахалинской области, по-моему, работает на сближение регионов, на сшивку русских земель. Как сблизить Енисей и Тихий океан?*

— Они и так в каком-то смысле рядом... Как сблизить? Ну, наверное, развивать транспорт, снижать цены на авиабилеты. Какие-то другие меры принимать... Будь у меня лишние деньги — не ездил бы ни в какие Таиланды, а ездил бы по Северу, Сибири, Дальнему Востоку... Я ещё не был на Чукотке, к примеру, какой тут Таиланд. Вот на Енисее побывал — и весной следующего года надеюсь побывать вновь.

— *Должен ли писатель путешествовать по стране, или достаточно мощной творческой души, созидательной воли, воображения, чтобы создать яркое литературное произведение?*

— Не знаю; наверное, всё индивидуально. Какой-нибудь Кафка может сидеть дома и путешествовать по лабиринтам собственной головы... А так, наверное, чем больше впечатлений, тем лучше. Другое дело, что само путешествие как таковое в последнее время, по-моему, сильно опошлилось, приобрело этакий обывательский налёт, туристский в плохом смысле слова. Нужно погружение в жизнь, участие в жизни, какое-то серьёзное дело. Чтобы писатель был не только наблюдателем. Чтобы у него были не только «путевые заметки».

— *Что ты думаешь о послании Чехова нашему городу и реке («Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!»)? Сбылось?*

— Думаю, сбылось... Чехов, вообще, резко отзывался о Сибири и Дальнем Востоке, пока ехал на Сахалин. Мол, мрак, грязь, скотство и т. д. Пожалуй, только о Красноярске отозвался хорошо. Но Чехов всё-таки был мудр и на Сахалине нашёл нужные слова: «Предубеждение против

места». Вот оно. В нас — во многих из нас — живёт предубеждение против места. Вот его-то и надо выдавливать по капле, а не что-то ещё.

— *Насколько жива, насколько жизнеспособна тема русской деревни, природы, крестьянина? Насколько она может перевесить городское?*

— В шестидесятые начался расцвет так называемой деревенской литературы... Мне кажется, вопрос не в теме как таковой, а в масштабе художника, в его таланте, горизонте мышления. Та же деревенская литература в лучших своих образцах была просто великолепной русской (и мировой) литературой. Как и, скажем, военная проза. Я бы не стал делить прозу на этикие тематические боксы. Всё дело в уровне. И в том, как эти тексты отзываются в читателе.

Другое дело, что народ у нас стягивается в города. То есть удельный вес деревни даже в чисто демографическом плане падает. Значит, и литература становится всё больше городской, это обычная статистика. Люди пишут о жизни, а жизнь их всё больше — город. Плохо это, хорошо — не знаю. Но всё-таки у нас есть и сегодня отличная негородская, скажем так, литература. Михаил Тарковский на Енисее, Дмитрий Новиков в Карелии... Тот же Захар Прилепин тоже часто пишет о рязанской деревне.

— *Что конкретно, какие картины, образы, эпизоды, ощущения от города, реки, всего ты запомнил, тебя удивили? И что представлял так-то, а оказалось другим?*

— Цены удивили — во Владивостоке всё дороже. Енисей представлял шире — но Красноярск, выходит, слишком высоко по течению. А в целом — отличный, большой, сильный, энергичный, гордый, знающий себе цену, полный сил город. С явными задатками столичности. С прекрасной старой (сравниваю с Владивостоком) сибирской архитектурой...

— *Глядя на наш Коммунальный мост, ты воскликнул: «Так он же изображён на купюре!» Тебя это удивило?*

— Владивосток раньше тоже был на купюре — тысячерублёвой, до деноминации тысяча девятьсот девяносто восьмого года... «Уберегите Ленина с денег — так идея его чиста», — призывал в своё время Вознесенский. А по мне, неплохо, что на наших банкнотах есть нестоличные города. Мост этот — сильный символ, жаль, что он не очень раскручен в этом качестве. Раскручен, к примеру, Урал как граница Европы и Азии, но разве это сегодня подлинная граница? Европа и Азия граничат как раз где-то во Владивостоке, в Японском море, на сопках Маньчжурии... Енисей же — как раз середина страны, её главный меридиан, и мост этот соединяет Россию западную с Россией восточной. В этом плане он гораздо больше себя, гораздо больше, чем просто мост...

— Тебе не кажется, что для понимания Енисея надо обязательно в тайгу, на речку, в глушь? Природа — мощный рассказчик, как ты считаешь?

— Наверное... Правда, я человек городской, привык жить в городе. И чувствую себя здесь на своём месте. Нет такого, что вот «как тут душно, а мне бы...». Но у нас город специфический: сопки, ветер, море с трёх сторон, тайга... Так что Владивосток не даёт человеку забыть о природе, забыть о своей ничтожности, и это правильно. Город-полуостров, город-корабль, город-айсберг. В отличие от традиционных старых русских городов, которые всегда стояли на реках.

Насчёт того, что природа — рассказчик, — безусловно, так, и литература наша отечественная это подтверждает. Тут даже по одним названиям можно сделать определённые выводы (навскидку: «Угрюм-река», «Тихий дон», «Русский лес»...). Хотя есть ведь и великолепные городские авторы. Кому что ближе, кто где раскрывается. А чтобы понять Енисей — тут тебе виднее, поэтому — да, пора уже в тайгу, на речку!

Александр Новосельцев

## От Ельца до Енисея

Сибирь для меня началась с Алтая, когда в 2000 году меня, родившегося на Нижней Волге, в великом Сталинграде, и живущего теперь на Дону, в древнем Ельце, пригласили выступить на Шукшинских чтениях. С тех пор в Сростки ездил не раз. От Сросток, от Шукшина стал я «осваивать» Сибирь. Проехал и Степной, и Горный Алтай до Телецкого озера, до Белухи, староверческих деревень в Уймонской долине. Потом каждый год — и не по одному разу на год — бывал в Тюменской области, на Вагае, где погиб Ермак, рыбачил на заиртышских болотах, проехал три года назад Сибирь от Тобольска на севере до Уймонской долины на юге. Тогда впервые побывал в Омске, в какой-то степени родном для меня городе — там моя мама с семьёй была в детстве в эвакуации, её отец на Омском танковом заводе был испытателем танков. Потом была и Якутия, где пришлось побывать в составе писательской делегации. Все эти сибирские пространства среднестатистическому человеку, выросшему в российских европах, очень трудно уложить в сознание. Они громадны и почти непостижимы. И это тем более удивительно, когда часов восемь летишь над огромными просторами Сибири — и почти всё время не видишь и признаков человеческого влияния на природу, что так отличает «с воздуха» любой кусочек «русской Европы». Но ещё более поражает, что всё это колоссальное, непреодолимое для сознания нынешнего простого человека пространство было пройдено и принято под государеву руку в шестнадцатом — семнадцатом веках русскими людьми, казаками почти за полвека! Представляя возможности преодоления этих гигантских пространств, мы, избалованные средствами связи и транспорта, сегодня и мыслим-то иначе, когда даже накоротко утраченная возможность мобильной связи или плохой участок привычной асфальтированной дороги нами воспринимаются чуть ли не как трагедия. А ведь путей-дорог в Сибири для первопроходцев никто не строил. И для многих современных людей будет откровением, что этими путями-дорогами были реки: в летнее время — на лодках, в зимнее — по льду. И лучших путей-дорог представить нельзя! Так было в средневековье по всем русским просторам — европейская ли это часть России, или Сибирь. Мы, нынешние «русские средней полосы», этого совершенно не понимаем. Но стоит заглянуть в средневековые хроники, и почти все сообщения о путешествиях — торговых ли, ратных или посольских — указывают

на плавание по речным системам: по одной ли реке или с переволоками между бассейнами рек.

Вода, реки — первое, самое главное, без чего человек не может существовать физически. Реки были основами цивилизаций, которые так или иначе связаны с бассейнами крупных рек. Даже государственное устройство часто определялось исходя из направления, движения рек, их бассейнов. Екатерина Великая, например, для простоты управления разделила Российскую империю на пятьдесят губерний, исходя из численности населения примерно в один миллион. Оттого размеры губерний в густонаселённой европейской части были несоизмеримо меньшими, чем восточные губернии. А Пётр Первый административное устройство подчинил геополитическим целям. Он в начале восемнадцатого века создал, например, Азовскую губернию, размеры которой и географический контур кажутся сегодня непонятными, исходя из такого привычного нынешнего административного деления: как могли соединяться воедино земли, входящие ныне в Пензенскую, Тульскую, Воронежскую, Ростовскую, Орловскую и другие области? Оказывается — очень просто: у Петра была цель выйти в Азовское и Чёрное моря, а главным путём на юг был Дон с его бассейном, и все нынешние административные границы только разъединяют Донской бассейн, а при Петре всё работало на создание флота. Потому в каждом из нынешних городов Донского бассейна всё работало на это: в Павловске, Воронеже делали корабли, а для этих верфей с лесов нынешних Тульской и Липецкой областей сплавливали лес с корабельных роц. В Ельце и Липецке ковали якоря и детали корабельной оснастки и делали малые суда, а в других северных частях Донского бассейна делали канаты из пеньки, гнали дёготь. Вся река с её притоками и населением, с городками и городами, работным и ратным людом на огромном пространстве вдруг сделались единым организмом, служившим одной цели. А сейчас мы к рекам относимся иначе, примитивно — как месту отдыха или рыбалки. Но стоит проплыть по реке, и вдруг открывается совершенно другой мир — мир постепенного, неспешного, но надёжного движения, мир освоения пространства и познания природы. Когда дети мои были маленькими, я как-то спросил их: а знаете, как рождаются реки и где их начало? Это было тайной, и эта тайна повела нас к истокам маленькой, в двадцать с небольшим километров, речки Ельчик, которая ещё в восемнадцатом веке называлась Елец, дав имя и нашему древнему городу. Мы спустились под собором, который стоит на круче — мысу, образованном при впадении Ельчика в реку Быстрая Сосна. И пошли вверх по течению. Мир, который открылся нам по берегам, заросшим деревьями и кустарниками, то поднимающийся скалистыми обрывами, то заболоченный или струящийся родниками, оказался — даже в черте города — удивительным и необычайно непохожим на обычное представление о давно известном пространстве города. А и стоило

всего-то отойти от привычных прямых асфальтированных улиц с давно знакомыми домами, перекрёстками, переулками — словом, всем тем, что веками создавал человек, и спуститься к реке, и следовать всем её извилинам, продиктованным заповедным замыслом природы. В долине реки царил свой, природный порядок. Да, берега частью были захлавлены, и к ним выходили тупики улиц или мосты, вдруг казавшиеся от воды почти незнакомыми и наполненными ранее неведомыми загадками, но всё равно вдруг открывались какие-то тайны не только природы, но и самого города, отчего-то вот так разбитого на слободы, и монастырь, ранее доступный пешему ходу по прямой улице в десять минут, оказался тем самым дальним скитом, о котором я знал прежде из истории монастыря, но никак не мог представить именно эту его роль — как форпоста, стоящего на высоком берегу, изрезанном глубокими оврагами с отвесными стенами. От реки вдруг почувствовалась вся та глубокая древность и этих мест, и самого города, недоступная с улиц. Дальше, за городом, за высоким мысом древнего городища с валами и рвами, долина речки расширилась, за густым лесом в скалистых обрывах открылся простор; всё положе, всё дальше и просторнее открывались берега. Так даже малая река открыла неведомый мир — мир связи человека с первородной природой. Её, этой первородности, в европейской части России почти не осталось — она везде даёт о себе знать вытоптаннами берегами, дорогой, идущей вдоль берега, поднимающимися домами и дачами, кучами мусора... И вот — Енисей!

Я родился на Волге, на крутом сталинградском развороте, и ширина простора Волги с синеющим лесом Заволжья всю жизнь живёт во мне. Она — мерило моего чувства открытого пространства, где бы я потом ни был. От этого мне проще сравнивать и понимать неожиданную разницу между действительно великой русской рекой Волгой и сибирскими реками. Это там, по западную от Урала часть России, нет большего, чем на Волге, речного простора. Но потом, в Сибири, я видел Бию, Иртыш, Обь, Катунь, Лену, и вот теперь — Енисей. Разве можно сравнивать с простором Енисея-батюшки полтора километра волжской ширины у Волгограда — а там у матери-Волги, почти во всём течении перепруженной плотинами, она, пожалуй, единственный живой простор, данный ей природой. Я смотрел на Бахту — не самый большой приток Енисея — и понимал, как невелик Дон, тоже в народе заслуженно именуемый батюшкой. А что уж говорить о Енисее! Мощь, простор; потаённая, но в то же время и открытая красота! Словно Сибирь рванула на груди тельняшку, разведя её берегами: нате, смотрите, душа моя нараспашку! Нет, не лаской, а силою своею притягивает Енисей. Древним серебром отлиты его воды, свинцом и оловом — все в холодно-серых тонах. И вдруг из этого простора, открытого, сияющего под солнцем то сдержанным холодом «севера», то тепло-волглою отсвета «верховки» — верхового

ветра, обрамлённого высоким берегом с одной стороны и зубчатым, словно острожным, частоколом леса — с другой, открывается какой-то умеренный простор Бахты, словно бы с тем же, что и у Енисея, характером, но по-дочернему более сдержанным. И всё дальше, всё потаённое места по рекам-притокам енисейским, в которые снова и снова впадают малые реки, со своими ещё более малыми, но шумными водами: Бахтинка... Их дикие, но такие уютные берега снова и снова прорезаются сбегаящими с их берегов, словно дети с горки, малыми шумными потоками; и поневоле убеждаешься в правоте здешних наименований обычных, казалось бы, этих явлений: «ручѣй» вдруг становится в Сибири — «ру́чей». И, прислушавшись к такому необычному произношению, вдруг понятнее становится, что малый поток не только за воду принимается, а как руки, раскинутые рекою. Здесь, именно в Сибири, я, услышав неожиданное произношение знакомого слова, впервые задумался над истинным его происхождением. И не ошибся! Уже дома заглянул в словарь Даля — главную, на мой взгляд, книгу русского человека. И не нашёл у Даля отдельной статьи на слово «ручей», но нашёл его в статье «рука»! Так давно забытое, первородное значение слов бывает запрятано за стандартное, ставшее привычным представление. Но вот услышишь — так, как здесь, на Енисее, — необычное слово или даже необычное произношение — и начинаешь заглядывать в истинную историю... Слова и речь здесь, на Енисее, — это не просто речь, а отражение и быта, и истории, и жизненного уклада людей, живущих здесь со времён первопроходцев. Та же Бахта заселена русскими людьми вот уже четыре с лишним века. И слова, услышанные здесь впервые, по какой-то генетической памяти вдруг отдают чем-то знакомым, будто бы в тебе, если ты русский человек, таится отголосок его. По степени первородства в большинстве своём эти слова родственны тем, что донныне употребимы на Русском Севере. Да и немудрено: трудно степному человеку осваивать быт жителей холодных вод и хмурой тайги. Оттого архангельские и вологодские слова отголоском отзываются в речи жителей берегов Енисея. Скажу более того: уже и Русский Север обезлюдел, попав в водоворот центростремительной силы, имя которой — Москва, уже и слово-то старое на русских северах не в чести, словно валенки на московском проспекте. А здесь, в Сибири, лишённой столичной суеты и толкотни, живёт ещё тот быт, в котором не обойтись без того старого слова, что единственное точно обозначает явление, предмет или охотничье ремесло, которые исчезли в шумных городах. Потому и живы здесь хохоряшки — всякая мелочь и вещи, собираемые на охотничий сезон. А нужен ли колун городскому жителю? И веет ли для него хиус? А кто такая копалуха, и что такое карга, челак или ветка (совсем не древесный сучок, а лодка-долблёнка из единого дерева)?.. Нет, конечно, всё в языке исчезает: если нет предмета, применяемого в обиходе, — нет и применения слову, которое его

обозначает. Так мы теряем язык, так уходит простой быт, а с ним и история. Есть явления в русском языке, которые точно определяют и время, и даже состояние общества, пусть даже кратковременные. Если я скажу «малиновый пиджак», или «чисто конкретно», или «реальный пацан», то они мгновенно определяют жизнь больших городов в очень короткий промежуток нашей истории — девяностые годы. А здесь, на Енисее, ввиду устойчивого уклада жизни, те слова, что навеки записаны в словаре Даля как «вост.-сиб.» или «сев.», «арх.», то есть употребляемые ещё два века назад, когда Даль собирал свой словарь, эти слова употреблялись как в Архангельской губернии, так и в Восточной Сибири, а значит, и на Енисее. Так что батюшка-Анисей не только кормилец и великий путь по великим просторам Сибири, но ещё и хранитель языка и традиций, принесённых на его берега с Русского Севера.

Надо сказать, что за многие годы здесь, на Енисее, я ни разу не слышал тех мусорных слов, которыми забито не только медийное, но и бытовое пространство. Не слышал ни разу «как бы», «практически»... А это говорит уже о том, что народ тут больше смотрит на природу, Енисей, родную землю, чем в телевизор или газеты. Но от этого он не стал глупее или необразованнее.

Самолёт в аэропорт Подкаменной Тунгуски прибыл вечером, и добираться до Бахты нужно было ночью. Грешен: я, где бы ни был, на каких бы реках — в России ли, или за её рубежами, считаю обязательным для себя окунуться в воды тех рек. Волга, Ока, Дунай, Волхов, Иртыш, Бия, Катунь, Лена, Дон, Великая (у Пскова), Свирь, Чёрное, Белое, Балтийское, Азовское моря — везде хотя бы окунался в их воды. Енисей в день нашего знакомства у Подкаменной Тунгуски принял меня как брата — без лишних нежностей, плотными надёжными объятьями. Как крёстный отец. Ничего после этого приобщения к Енисею мне, степному человеку, совершенно незнакомому с тайгой и нравом рек, рельефом и животным миром здешних мест, уже не казалось страшным. И в тот месяц, что я провёл в тайге, мне оставалось только учиться: у реки, у тайги, у людей, что окружали меня. Этот месяц, проведённый в тайге, открыл для меня многие ранее неизвестные тайны. Первое, что я понял: нахожусь не на какой-то далёкой окраине России, а в самом настоящем её центре, и Енисей, как об этом уже писано, — тот самый меридиан, что делит Россию ровно на две части — западную и восточную, и что все мы, кучей сбившиеся на западном крайнем краешке России, ничего не знаем о той половине, что лежит за восточным берегом Енисея. Я немало видел людей, которые ни разу в жизни не выбирались за пределы МКАДа (Московской кольцевой автомобильной дороги) и которые никогда не видели, как садится солнце за лес и за реку, как растёт хлеб или земляника на поляне... Но, увидев их, сугубо



городских людей, для которых единственным обременением в жизни является отсутствие денег, и тех настоящих мужиков — охотников с берегов Енисея, для которых нет надежды на кого-то, кроме как на себя, на свой опыт и опыт предков, я понял одну очень важную вещь, разубедить в которой меня теперь невозможно: если бы такие мужики-сибиряки в ноябре-декабре сорок первого года не прошли угрюмой сплочённой колонной по Красной площади Москвы — не видать нам Дня Победы! Такие люди, сибиряки — суть настоящих русских людей: крепких, умелых, надёжных, мастеровитых, немногословных. И — очень-очень открытых и приветливых. Всё время, пока находился в тайге, не переставал удивляться их спокойствию и умению. Окажись я или кто-то другой, овеванный степными ветрами и ублажённый городскими пространствами и удобствами, здесь, в тайге, мы бы вряд ли выжили. Но для сибиряка-таёжника, способного выжить здесь, за сотни километров от жилья, нет ничего, кроме собственного здоровья, что может помешать ему наладить быт, простой уют и пищу. Был бы за поясом топор да ружьё — и всё наладится. Даже все те относительные новшества: лодочные моторы, снегоходы, аккумуляторы, бензин и бензопилы, — они лишь упрощают теперь жизнь таёжных отшельников, но никак не способны заменить её. Они и без них проживут — и это чувствуется всегда, когда бы и что ни случилось в далёкой тайге, где нет ни автосервисов, ни магазинов, ни ремонтных бригад. В тайге каждый охотник выживет и даже один справится с такими сложными делами, с которыми, кажется, не способна разобраться и бригада специалистов. В их жизни в тайге, в одиночку, действуют неписанные правила: сломалось — починим, потеряли — сделаем новое, забыли — заменим, тяжело — дотащим, не встречалось — придумаем. И нет в этом бесконечном перечне проблем нерешаемых. И от этого так уверенно чувствуешь себя рядом с людьми, которых взрастил Енисей. Они — надёжны. . . Они — сильны. Они — настоящие. Они — совершенно родные мне люди. Люди, живущие на Енисее. Они же — и хранители русского слова.

Александр Щербаков

## Край характером сибирский

Говорят, по-настоящему любить можно лишь то, что хорошо знаешь. Наверное, эта истина не бесспорна (хотя бы потому, что существует и расхожее выражение о любви «с первого взгляда»), но она представляется мне почти непреложной по отношению к излюбленным уголкам земли, краям или целым странам.

Минувшим августом я побывал в «своих» тубинско-амьельских местах, на самом юге нашего благословенного края. Был приглашён на празднование 90-летия Каратузского района, «почётным гражданином» которого имею честь называться. Естественно, снова пережил щемящее чувство свидания с родной землёй, с дорогими людьми. Пусть не такое острое, как в молодости, более спокойное, но ничуть не менее светлое. И светом этим была радость узнавания всего знакомого: от кондовых домов, постаревших, несмотря на иные обновлённые крыши, от моих бывших однокашников по школе, увы, тоже не помолодевших, до «чёрных» тополей в райцентровском парке, ушедших за годы в самое небо. И невольно хотелось «подправить» библейскую мудрость: во многом знании много... нет, не печали, а светлой грусти, которая, может быть, и зовётся любовью. Той самой, нержавеющей.

Словно бы предчувствуя это, я ещё в юности избрал своё будущее дело жизни — странствовать, познавать и писать об увиденном и познанном. Остаюсь верным выбору поныне, хотя и, признаться, тяжелею на подъём.

Конечно, свою малую родину, отчий край, как и всю нашу матушку-Русь, любят не только путешественники да писатели. Среди последних как раз почему-то ныне обнаружилось немало лиц, равнодушных к своей отчине-дедине и даже недоброжелательных к своей стране и народу... Но всё же, оглядываясь на собственные прожитые годы, думаю, что моей «жгучей» привязанности к нашенькой минусинско-каратузской земле, ко всему Красноярскому краю очень даже способствовало то, что я много ходил и ездил по ним, усердно изучал их прошлое и настоящее. И рассказывал о них как умел, в меру отпущенных Богом способностей. Во многих медийных «конторах» довелось поработать мне за эти годы — на краевом ТВ и радио, в газетах «Красноярский рабочий» и «Известия», в издательствах и журналах России, но главное «место работы», по сути, оставалось всё то же: дорога да письменный стол, письменный стол да снова дорога...

Не без гордости говорю при случае, беседуя с коллегами, особенно — молодыми, что объездил буквально весь край. От монгольской границы, где ходил в дозор с «часовыми Родины», от озера Азас в верховьях Бий-Хема (у истоков нашего Енисея), где ловил с рыбаками аршинных шук, до острова Большевик в Ледовитом океане, где повар старательской артели «Полюс» Валера Кипа отметил мне командировку самодельной печатью, вырезанной из каблука кирзачей. Она и доньше хранится в моём письменном столе. Среди районов не посетил я лишь один — Кежемский. Не привела судьба... Зато написал стихотворение «Кежемский рейс», где мысленно представил совместный полёт с колоритными кежмарями в их таёжный ангарский удел.

Упомянув монгольскую границу и тувинский Азас, я не оговорился. Ведь мне ещё памятны годы, когда и Тува входила в состав нашего богатырского края. И это было вполне логично, в чём я не раз убеждался позднее, работая собственным корреспондентом газеты «Известия» по Красноярскому краю и Тувинский АССР. Кстати, стоило бы напомнить нашим нынешним властям, что напрасно после воссоединения с северными округами предана забвению идея восстановления всего края, единого, самодостаточного, с возвращением искусственно оторванного от нас южного «огорода», который совместно с Минусинской котловиной искони кормил-поил и центр, и «севера».

Много можно бы рассказать о дивных красотах и природных богатствах благодатной енисейской «землицы», виденных мною, они поистине уникальны, но всё же наш край для меня — это прежде всего его люди. Не менее дивные и уникальные сибиряки-красноярцы. Только безответственные лжецы могут долдонить поныне о неких затюканных «совках» ушедших времён. Я таких не знал, кроме разве что самих этих лжецов, вдруг из пропартийных ортодоксов обратившихся в ярых антисоветчиков. Мне более памятны другие люди — истинные герои труда великой эпохи, пусть зачастую и не имевшие официально этого звания. Жаль, невозможно перечислить их здесь поимённо. Но помяну хотя бы немногих из тех, с кем посчастливилось встречаться, беседовать и писать о них в газетах, журналах и книгах.

Моих таскинцев — изрядного кузнеца и остролова Сергея Калачёва, конюха и наездника Егора Сафонова, «башковитых» председателей колхоза Ивана Мартюшова и Юрия Бражникова, каратузского потребкооператора Григория Останина, построившего полсотни новых магазинов, десятки складов, цехов, столовых в районе и ставшего его почётным гражданином; минусинского комбайнёра-героя Ивана Недобиткова, не превзойдённого доньше в намолотах. Из славных шушенцев назову доярку-героиню Анну Жукову, атлета-олимпийца Ивана Ярыгина, ведущего «медведеведа» Бориса Завацкого, из абаканцев — бывшего ректора политеха Василия Рябихина, моего таскинского соседа, сельского киномеханика, выросшего в крупного учёного. А далее к центру края — канскую ткачиху-героиню Таисью

Ашмарину, манского директора совхоза Владимира Мрачека, нынешнего боевого вожака Солгонского хозяйства Бориса Мельниченко...

И так — до самого Крайнего Севера, вплоть до Караула, где когда-то встретил я славных пекарей Ишенковых — мастерицу, красавицу Шуру и подмастерья Василия, бывшего морского капитана, навсегда бросившего якорь у её печи; до того же острова Большевик, что оттаивает лишь на месяц в году, но где, бывало, успешно мыла золото артель во главе с Хазретом Совменом, позднее ставшим президентом Адыгеи, но сохранившим в Красноярске своё детище — детский дом, доньяне живущий его попечением.

Вот такими людьми, увы, многих из которых уже нет с нами, мне и дорог наш край. Настоящими сибиряками, если они даже сугубые южане по роду-племени — украинцы, армяне или адыги. Енисейская Сибирь принимала и принимает всех, щедро одаря сибирским характером. Грустно, что ныне его пытаются гнуть, на мой взгляд, не в ту сторону, тщась вылепить из гордых тружеников и мастеров — пошлых дельцов и торгашей, но я думаю, что эти затеи ветреные перемелет сибирская мельница. Да и во всей державе уже слышен новый зов тревожного времени к возрождению реальных дел — в шахтах и лесосеках, на полях и заводах, за рычагами, станками, кульманами. И зов этот — лучшая музыка для моих славных земляков, обитателей енисейских просторов и обладателей истинно сибирского характера.

Наши деды, Сибирь обживая,  
Неизменно сходились на том,  
Что земель енисейского края  
Нет щедрей за Уральским хребтом.  
    Великая река подобна морю,  
    Леса под небеса по берегам,  
    И есть где развернуться на просторе  
    Размашистой души сибирякам.  
И поныне с той лестною славой  
Ты в трудах и заботах живёшь,  
Край опорный Российской державы,  
И могуч, и богат, и пригож.  
    Здесь Енисей величествен, как море,  
    Леса под небеса по берегам,  
    И есть где развернуться на просторе  
    Похожим на свой край сибирякам.  
Мы, наследники первопроходцев,  
Сохраним эту славу сполна.  
Пусть она нелегко достаётся,  
Красноярцам посильна она.  
    Наш Енисей величествен, как море,  
    Леса под небеса по берегам,  
    И есть где развернуться на просторе  
    Влюблённым в отчий край сибирякам.

Марина Саввиных

## Малая, великая... МОЯ

Знакомый поэт как-то упрекнул другого поэта, тоже моего знакомого, в том, что в его стихах нет примет малой родины. Надо, чтобы читатель приобщался к местам, где живёт художник слова, откликаясь на точные конкретные детали. Пусть берёза будет берёзой — и не той, которая тысячу раз названа и опошлена уже бесконечностью называния, а единственной и неповторимой... той самой, которая шумела ветками у тебя за окном, на которую ты сам мальчишкой повесил когда-то скворечник и которую разломил надвое ураганный ветер весной такого-то года... Пусть столь же неповторим будет твой двор, твоя городская окраина, твой маленький провинциальный посёлок, или наоборот — твоя столица с её памятниками, парками, старинными улочками, трамваями и легендами. Не скажу, что я с этим постулатом вполне согласна. Поэзия часто смотрит на грешную землю с высоты птичьего полёта. И всё же такая постановка вопроса заставляет задуматься (не побоюсь пафоса!): с чего всё же «начинается Родина»? Применимо ли вообще определение «малая» к такому большому понятию? А может, оно, это понятие, нынче настолько «опустилось», что и вовсе «опустело»? Не зря же с недавних пор снова вошли в моду — вырвавшиеся, конечно, сгоряча — слова некоего продвинутого англичанина о патриотизме как последнем прибежище негодяя.

Так что же такое «Родина»? Большая, малая, великая... Что она такое, если есть город, в котором ты родился и вырос и который однажды становится тебе тесен, и ты мечтаешь вырваться из него, как птенец из гнезда?

Вот как Таня Долгополова написала когда-то о Красноярске:

Мне этот город жмёт под мышками,  
а я ношу его упрямо...

Да и кому не ведомо это чувство: вырваться, улететь — туда, в большой мир, где за горизонтом предвидишь что-то большее?... Большое, великое, такое, чего умом не понять и аршином общим не измерить.

Помню, в девяносто девятом году в предрождественской, засыпанной снегом Варшаве моя приятельница пани Беата, усаживая меня в такси для самостоятельной поездки по городу, специально предупредила шофёра, что я из Сибири. Это было очень важно, потому что — ввиду моего минимального польского и постоянных

попыток переходить в общении на русский — тот факт, что я сибирячка, многое определял в отношении варшавянина к иностранке. Вернее, даже так: я как бы переставала быть для него иностранкой. Слишком многое поляки для себя связывают с Сибирью. Моя малая родина для них — и проклятая, и святая. Сколько польских семей, сколько изгоев и подвижников поглотила она и приютила! И замучила, и согрела... Так и возникает между народами духовная связь: кровные узы, общие беды, многочисленная родня. Мы с таксистом действительно славно разговорились тогда. По-русски.

Сибиряки, без сомнения, и сами себя ощущают, и другими ощущаются как некая особенная самость. Леонид Мартынов бросил однажды:

Не упрекай сибиряка,  
Что у него в кармане нож,  
Ведь он на русского похож,  
Как барс похож на барсука.

Греет самолюбие, знаете ли... Хотя, наверное, напрасно.

Красноярский юрист, историк, писатель Иса Айтукаев очень точно назвал Сибирь общежитием народов. Наверное, это ключ к загадке привлекательности «образа сибиряка» в глазах остального мира. У нас ведь как? Деревня белорусская, деревня украинская, а там — немцы живут компактно... а там — татары... всем хватает места, все живут дружно... И все — сибиряки. Значит, у всех — родственники повсюду. Я это крепко почувствовала, когда последние годы стала частенько бывать на Кавказе. Марьям Вахидова, литературовед и журналист из Грозного, говорит: чеченцы наши края называют — «синей Сибирью». Красиво.

Но для меня Сибирь — это всё же пространство, схваченное кровеносной системой Енисея. Мой край. Сердце Евразии. Более чем за полвека, что я здесь живу, на всей этой территории, кажется, не осталось уголка, где бы я не побывала. Это не так, конечно. Но помню и аэродром в Абане, где я, молодая преподавательница пединститута, в 1979-м инспектировала студенческую практику и откуда пыталась улететь в осеннюю непогоду... Никогда не забуду маленький райцентр, тогда совсем деревенский, одноэтажный, бедный до откровенной нищеты, пахнувший навозом и мазутом... Холодный зальчик аэровокзала. Хлещущий по окнам ледяной ветер с дождём и снегом. И чувство отчаянной радости, когда после томительных часов ожидания, раньше, чем дикторша по радио объявила посадку, пассажиры увидели, как во мрак и слякоть приземляется старый добрый Як-40, тоже маленький, свойский... такой родной! Помню и норильский аэропорт, в котором спустя двадцать семь лет ждала самолёт вместе с Романом Солнцевым. Мороз, ветер, неопределённость... Рейс всё задерживают: угроза обледенения... Роман Харисович нервничает — для его темперамента такого рода торможение невыносимо. Наконец, набегавшись по периметру зала ожидания и уже потеряв всякую

надежду в течение суток улететь, мы смиряемся с обстоятельствами, устраиваемся рядом в не слишком удобных вокзальных креслах и долго говорим о норильских впечатлениях. Солнцев печалится о том, что литературная нива «на северах» тощает: старшие постепенно уходят в мир иной (он вспомнил Юрия Бариева, Эдуарда Нонина), те, кто помоложе, уезжают... Вот и Сергей Лузан, ярчайший из своей гениации, перебрался «на материк»... Хорошо, что есть школы, учителя, которые всё ещё «не за деньги работают». Норильские школьники заметны на олимпиадах и конкурсах. Это — надежда.

А мне грустно оттого, что дальность расстояния, дороговизна и трудность перелёта почти совсем разлучили нас с норильскими писателями. Я тогда впервые увидела «вживую» потрясающего поэта — Елену Ягумову. Обняла её — и поняла: ей такие путешествия уже вряд ли под силу. А ведь какая творческая мощь, сколько молодых сердец она могла бы ещё зажечь, если бы Родина дала ей эту возможность!

В норильскую полночь,  
как только утихнет пурга,  
меня увлекает бродить  
по застывшим кварталам,  
как будто бы днём  
мне для этого времени мало,  
как будто бы ночью  
бывают теплее снега.

А если вспомнить наш юг... Вот — крошечная деревенька на самой южной границе. Ермаковский район. Жеблахты. Вся жизнь деревни сосредоточена вокруг школы. Около сотни учеников. Десяток учителей. В двадцати минутах езды на автобусе — райцентр, в котором несколько средних учебных заведений со всем необходимым инвентарём. Такие школы, как Жеблахтинская, по всей стране ликвидируют, не раздумывая. Но эту ликвидировать невозможно. Директором здесь героическая женщина, блистательный педагог, учитель русского языка и литературы, глубокий знаток местной истории и культуры, талантливый публицист и общественный деятель Нина Николаевна Ульчугачева. То, что она сделала в Жеблахтах на базе малокомплектной школы, иначе как чудом не назовёшь. Здесь выстроен мир взаимопонимания и любви. В его основании — любовь, и вершинка его покоится в лучах любви. Так здесь всё устроено. Вот уже более пяти лет я постоянно езжу в эту школу, чтобы поддерживать «выездную площадку» Красноярского литературного лицея. И каждый раз переживаю это как счастье, как праздник, как подарок судьбы.

Эх, только начнёшь вспоминать... мелькают города, посёлки... дороги, дороги, дороги... многочисленные друзья. Есть на всём этом огромном пространстве географические точки, которые мне особенно дороги.

Зеленогорск. Город своеобразной, по-своему изысканной культуры. Всегда считала, что техническая интеллигенция — индикатор литературного вкуса и качества. А тут — обитель атомщиков. Всегда с удовольствием приезжаю к ним — привожу свежие номера журнала «День и ночь», встречаюсь с читателями и писателями. Очень приличное писательское сообщество. Великолепная библиотека. Музейный комплекс. Мои дорогие коллеги-товарищи... Зинаида Никифоровна Кузнецова. Людочка Гайдукова. Дима Кадочников. Геннадий Тихонович Волобуев. Вспоминаю их имена, голоса, лица — и смягчается сердце, теплеет душа, как бы ни тяжело приходилось на крутых поворотах судьбы.

Назарово — это, конечно, Сергей Ставер и его многочисленные друзья и подопечные. В Железногорске живут Светлана Ермолаева и Миша Мельниченко. Ачинск, Енисейск, Канск, Боготол, Большая Мурта... каждый из городов и городков Красноярья, в который хотя бы раз привела меня жизнь, оставил памятную «затесь» на моей судьбе...

И особое место — Овсянка. Виктор Петрович. Человек и писатель, будто вжививший мне в сердце бомбу с часовым механизмом. С момента первой нашей встречи — в девяносто четвёртом году — я непрерывно слышу это «тик-так, тик-так»...

И вот с этого места, друзья мои, я начинаю подниматься над каменными глыбами и булыжниками, которыми в Овсянке усеян берег Енисея, над белой демирхановской библиотекой, над маковкой церкви, в которой отпевали Астафьева, над елями и берёзами сельского кладбища, где похоронена его бабушка... всё выше и выше... над сбегающими по склонам к реке улицами Дивногорска, над Красноярской ГЭС, над красивейшим в мире городом, раскинувшимся по обоим берегам величайшей в мире реки, над Енисеем, который руслом своим прорезал с юга на север полматерика, охватив большую часть возможных на Земле природных зон... над всей Сибирью... над моей Россией... Я поднимаюсь и говорю себе: покуда каждая точка, которую я способна сознанием и чувством удержать на этом пути, согрета моей памятью и любовью — у меня есть Родина. Великая и малая. Моя.

*Красноярск, 26 октября 2014*



Дмитрий Подосёнов

## Великое переселение

### Всё дальше на восток

Множество книг, исследований и монографий написано об истории освоения Сибири. Почти каждый житель нашей огромной страны читал или слышал о бесстрашных казаках, которые основывали остроги в диких и отнюдь не дружелюбных степях и лесах. Также у всех на слуху переселение в Сибирь жителей западных российских губерний во времена Столыпинской реформы, трагические годы массовых репрессий, героические времена великих сибирских строек. Так заселялась Сибирь. Так она *продолжала* заселяться. Но очень мало мы вспоминаем о тех, кто первыми, не по царскому наказу, не скрываясь от бесправия и нищеты, не по Столыпинской реформе, пересекли Уральский хребет, основали первые фактории, собирали дань с югорского племени, бесстрашно пробирались всё дальше и дальше на восток.

Все мы знаем имена Ерофея Хабарова, Семёна Дежнёва, Ермака Тимофеевича, Владимира Атласова — это известные исследователи Сибири и Дальнего Востока. Все они — выходцы из Русского Севера: из Великого Устюга, северной Вологодчины и Архангельской губернии, — то есть из региона, за которым закрепилось историческое название — Поморье. Именно Поморье дало России великое множество мореходов, исследователей, первопроходцев. Именно поморы первыми стали проникать в загадочную землю, лежащую за «Урал-камнем» (Уральским хребтом), которую станут называть потом люди Сибирью.

Поморье изначально входило в состав Новгородской республики — богатейшей и могущественнейшей из русских земель, вот почему поморы унаследовали вольный и независимый нрав свободлюбивых новгородцев и принесли его с собой в Сибирь.

Люблю ездить в Великий Новгород. Всего двести с небольшим километров на юго-восток от Петербурга — и ты попадаешь в древнюю Русь с церквями домонгольской постройки, зубчатыми стенами детинца (Новгородского кремля) и улицами с диковинными древнеславянскими названиями. Улица Рогатица, улица Нутная, улица Людогоща радуют глаз знакомым с детства по Енисейску и историческому Красноярску пейзажем. Новгородская Русь. Новгородская республика, колыбель российской демократии. Отсюда начиналось освоение Сибири, отсюда на восток уходили отважные исследователи,

чтобы подчинить бескрайние земли за «Урал-камнем» Господину Великому Новгороду. После драматического присоединения в 1478 году Иваном III новгородских земель к Москве территория Московии увеличилась примерно в пять раз, в основном за счёт восточных земель. Именно в это время узнают жители Московии о поморах — жителях северных территорий бывшей Новгородской республики: отважных, выносливых, свободолюбивых людях, внёсших существенный вклад в дело освоения Сибири и Дальнего востока.

## Туруханск — внук Мангазеи

Ещё в XIV веке в новгородских летописях указывается, что жители северных пятин республики «ходили за Урал-камень». Действительно, жители северных пятин — поморы — проникали в Сибирь и стали её первооткрывателями задолго до начала полномасштабного исследования восточных земель.

Например, в «Повести о блаженном Василии Мангазейском и начале Туруханского Троицкого монастыря» (XVIII в.) говорится о заселении Сибири выходцами «изо многих русских градов, и из Устюга Великого, и из Двины, и изо всего Помория» (Бахрушин С. В. Научные труды, т. III, ч. I. М., 1955).

В XVI веке поморы основали поселение Мангазеем на реке Таз в Западной Сибири, ставшее «дедушкой» современного Туруханска. Как это получилось? Мангазеем была основана в 1572 году, в поселении размещался постоянный гарнизон, который был сформирован из казаков и промышленников (промысловиков). Последние, будучи выходцами из Мезени, Вельского погоста (нынешнего Вельска), Соли-Вычегодской, Устюга Великого и других северорусских городов, издавна занимались пушным промыслом в Мангазейской округе. Поморы создали в Мангазее общину, центром которой стала Успенская церковь на посаде. Любопытно, что, проводя более десяти лет на сибирских промыслах, поморы не ощущали себя мангазейскими жителями. Они именовались холмогорцами, пинежанами, важанами, сысоличами. Сам факт существования такого «вахтового поселения» северных промышленников являлся важным показателем постоянных и жизненно важных связей Поморья и Мангазеи. Их прочность устанавливалась поколениями, а потому неудивительно, что в среде «промыслового люда» пушной промысел на реке Таз считался «своим». Вторжение в промысловые угодья поморов кого-либо «чужого» вызывало ожесточённое противодействие. Особенно ярко это было продемонстрировано летом 1600 года, когда из Тобольска по Оби и Обской губе двинулись к устью реки Таз первые воеводы — князь М. М. Шаховской и Д. Хрипунов со ста пятьюдесятью «служилыми людьми». В планах сибирских воевод было закрепиться в этом крае, привести в русское подданство коренное население, назначить ему ясак. Русские промышленники, стремясь сохранить за собой

монополию на эксплуатацию пушных богатств, сумели организовать выступление «самодийских племён». В сражении, происшедшем в районе устья реки Таз, воеводы хотя и потерпели поражение, но всё же смогли закрепиться в одном из промысловых городков. Таким образом, поморы пытались отстаивать свои экономические интересы в борьбе с представителями царской власти. Справедливости ради стоит отметить, что промысловики признали со временем царскую власть в лице воевод и не «чинили более беспорядков».

Туруханское зимовье (Туруханск) было основано в 1607 году на реке Турухан воеводами Мангазейского уезда Давыдом Жеребцовым и Курдюком Давыдовым. В 1619 году в Мангазее случился первый крупный пожар, и Туруханское зимовье, удачно расположенное на большой реке, стало заселяться мангазейцами, а впоследствии превратилось в город. Мангазее же упорно не везло, и следующие опустошительные пожары в 1642 и 1662 годах привели к окончательному её запустению. В 1672 году царь Алексей Михайлович своим указом упразднил Мангазею, а её жители переселились в Туруханск, который с этого же 1672 года стал известен как Новая Мангазея. За два года до этого сюда перевели из Мангазеи и воеводское управление. Спустя столетие за Новой Мангазеей прочно закрепилось название Туруханск, который в конце XVIII века являлся столицей Туруханского уезда Сибирской губернии. Новый же XIX век принёс Туруханску упадок и ослабление торговли. В 1822 году он был переведён в число заштатных городов Енисейского округа Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, а в начале XX века постановлением Временного правительства был лишён городского статуса.

После Октябрьской революции из-за переселенцев (в том числе из Туруханска) была отмечена некоторая тенденция к увеличению численности населения села Монастырского, находящегося примерно в тридцати пяти километрах на юго-восток от Туруханска, в месте впадения реки Нижняя Тунгуска в Енисей, вследствие чего село Монастырское было переименовано в Туруханск, а прежний Туруханск стал Старотуруханском. Вот такие прямые «родственные узы» связывают легендарную Мангазею и нынешнее село Туруханск, административный центр Туруханского района Красноярского края. Любопытно, что в 2013 году на территории Старотуруханска была найдена древняя берестяная грамота, подобная тем, которые во множестве находят в Великом Новгороде, что свидетельствует о тесной связи северных сибирских поселений с историческим центром — Новгородской землёй.

## **О кежемском говоре и поморьской говорё**

Но не только берестяные грамоты указывают нам на связь Сибири и Русского Севера. Живой нитью связаны эти земли — языком. Жители Центральной России удивляются интересным встречающимся

в Сибири словечкам: «хиус», «пимы», «кряж». Но и они, и даже сибиряки редко задумываются, откуда же появились эти странные, явно нерусские слова. И на татарские (тюркские) они тоже не похожи. Конечно, ведь эти слова пришли в Сибирь из Поморья, а там, в свою очередь, вошли в поморскую речь из финно-угорских языков коренного населения: мери, веси, коми, карелов. Дело в том, что поморы говорили (да и сейчас ещё говорят в глухих деревнях) на особенном диалекте русского языка — поморской говоре. Диалект этот сложился из новгородского русского языка (некогда существенно отличавшегося от московского говора) и заимствований из финно-угорских языков. Так в литературном русском языке появились слова:

<i>бахилы</i>	высокие кожаные сапоги
<i>изгаляться</i>	издеваться
<i>корить</i>	упрекать
<i>кряж</i>	выступ горы
<i>матица</i>	балка, которая поддерживает потолок
<i>марев</i>	густой туман
<i>пельмень</i>	не стоит объяснять вам, что это такое, скажу лишь, что пришло слово из языка коми: «пельнянь» — «хлебное ухо»
<i>сочень</i>	лепёшка с загнутыми краями
<i>туес</i>	берестяная посуда
<i>фактория</i>	торговая контора
<i>хивус</i>	северный пронзительный ветер, сибиряки произносят как «хиус»
<i>чухонец</i>	представитель финно-угорской языковой семьи: карел, эстонец, коми, мариец, финн и т. д.
<i>шаньга</i>	ватрушка

...и ещё тысячи слов.

Многие из них хорошо знакомы сибирякам и до сих пор используются в повседневной речи.

Несколько лет назад красноярский журналист Андрей Гришаков снял документальный фильм «Прощай, Ангара» о жителях части Приангарья, попавшей в зону затопления Богучанской ГЭС. Презентация фильма состоялась в красноярском Доме искусств. На встречу были приглашены ангарские переселенцы, которые рассказывали о своих традициях, культуре. Старушки, мягко окая, произнося вместо «щ» звук «ш», жаловались, что «кака жись без карбаса-то», то есть «какая жизнь без лодки» на новом месте в Красноярске. Отмечали, что «порато дородный хивус зимой в городе», то есть «очень сильный ветер зимой», а на вопросы об их манере говорить отвечали, что это ангарский (или кежемский) говор. Позвольте, но ведь это поморская говоря — ныне уже почти утраченный язык Русского Севера! Ничего

удивительного, ведь поморьска говоря тесно связана с языками других русских субэтнических групп, образовавшихся на Урале и в Сибири. В результате переселения поморов в Сибирь сложилось первое русское население, которое объединяется теперь понятием «старожилы». Два наиболее крупных старожильческих анклава, население которых употребляло собственный диалект русского языка, очень близкий к поморскому и новгородскому диалектам, сложились в районах, прилегающих к Томску и Енисейску. Исследования старожильческих сибирских говоров Томским государственным университетом привели к изданию в 1980 году «Фразеологического словаря русских говоров Сибири», в котором насчитывалось около семи тысяч уникальных слов, не встречающихся в литературном русском языке. Однако стоит отметить, что филологи и лингвисты, которые своей деятельностью способствуют формированию норм литературного русского языка, не слишком уделяют внимание диалектным словам. Это странно, ведь включение этих слов в «официальный» русский язык способствовало бы обогащению устной и письменной речи. Ещё известный собиратель материалов русского языка Владимир Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» широко использовал диалекты и местные говоры. Чем был бы русский язык сейчас, если бы не этот словарь, вобравший в себя многочисленную диалектную лексику? И сейчас можно использовать богатства поморского и сибирского диалектов для нового этапа развития русского языка.

Замечательный русский писатель Виктор Петрович Астафьев в своих произведениях активно использовал сибирские диалекты, тем самым обогащая и разнообразя литературную речь. Вспомните, как разговаривала бабушка в «Последнем поклоне», как ругала дедушку: «Ты чё ишшешь? Вчерашний день ишшешь? Уторкайся с тобой!» Читаеть — и прямо слышишь, как говорили «гробовозы», старожилы села Овсянка. А старухи Валентина Распутина в повести «Прощание с Матёрой»? Эти северорусские говоры звучат в нехитрых старушечьих диалогах через века, и мы понимаем: так говорили люди в Сибири, пока не хлынули сюда ссыльные поляки — участники национальных восстаний XIX века, переселенцы из западных губерний России, с украинских и белорусских земель, репрессированные прибалты, ссыльные немцы из Поволжья, вольнонаёмные изо всех уголков России. Говоры перемешались, растворились друг в друге, но только не исчезли совсем северорусские нотки из сибирской речи: живя теперь в Санкт-Петербурге, я сразу узнаю сибиряка по говору, да и мой «акцент» всё-таки немного заметен среди разноголосого гула говоров и наречий большого города.

## **О сибирском характере**

Язык, диалект языка, говор — всё это накладывает отпечаток на душу, характер человека, с детства формирует его ментальность, систему

ценностей. Именно поэтому, побеседовав о северорусских и сибирских говорах, далее мы поговорим о «сибирском характере»: откуда он «взялся», каковы его основные черты.

Все знают о том, что сибиряки сдержанны, тепло одеваются, бескорыстны, добродушны, смышлёны, сильны и здоровы. А что же сами сибиряки думают о своём характере? Для того чтобы это узнать, была использована анкета, разработанная Н. В. Сверкуновой в работе «Региональная сибирская идентичность: опыт социологического исследования». Опрос был проведён в декабре 2002 года. Модальная личность сибиряка, по мнению самих сибиряков, как следует из опроса, выглядит следующим образом: сибиряк, прежде всего, вынослив, прямодушен, искренен, благожелателен, честен, коллективист. Ему не присущи трусость, болтливость, скупость, легкомыслие. Особо отмечается независимость в суждениях и отсутствие раболепства. Объясняется это отсутствием крепостного права в Сибири и суровыми условиями жизни.

А теперь мнение историка-этнографа начала XX века В. Насоновского о поморах — жителях Архангелогородской губернии: «Это не мужик, а князь. Ни иго татарщины, ни иго крепостничества, ни иго удельного чиновничества не исковеркало его души. Основные черты его характера: независимость, прямодушие, сознание собственного достоинства, спокойная рассудительность, отсутствие болтливости, что с первого взгляда кажется замкнутостью; в нём нет и признаков лукавой хитрецы и подобострастия, свойственных в большей или меньшей степени крестьянину остальной Руси по отношению, например, к чиновному люду: с последними он снисходительно деликатен». Свободный промышленно-предпринимательский дух поморов, привыкших полагаться на свои знания, опыт, умение больше, чем на «Божью волю», поддерживал в них чувство собственного достоинства и убеждение в том, что их земля — Поморье — освоена и устроена собственными силами. Помор привязан к своей Родине, любит её «как вечную кормилицу», «доволен своею судьбою и счастлив по-своему». Не правда ли, поразительная схожесть характеров у сибиряка и помора?

Известный красноярский историк Геннадий Быконя в интервью газете «Вечерний Красноярск» (№ 38 за 2010 год) рассуждал: «Русские, пришедшие в Сибирь в конце XVI века, действительно сразу повели себя как лидеры. Они попытались ввести среди коренных народов свои порядки. Но им пришлось столкнуться с суровыми климатическими условиями Зауралья и тяжелейшей работой». На наш взгляд, это не совсем так. Первопоселенцы не устанавливали в Сибири своих порядков. Они занимались промыслом, торговали, многие из них жили в Сибири, так сказать, «вахтовым методом»: привозили на ярмарки Поморья сибирские драгоценности, прежде всего пушнину. В контакт с местным населением поморы-первопоселенцы почти не вступали, жили обособленно, трудились действительно много, но были вполне

привычны к суровым сибирским условиям. Впоследствии, когда Сибирь стала заселяться выходцами из европейской части России, воеводы и царские чиновники установили здесь новые законы, а коренное население Сибири смешалось с пришлым и почти растворилось в нём, была в значительной степени утрачена национальная идентичность русских первопоселенцев («старожилов»), а вслед за ними и местных народов. Теперь лишь песни да сказания хранят память о предках, именно поэтому кежмари на Ангаре поют о море, о Белом море, откуда когда-то пришли в Сибирь их далёкие предки.

### **Сибиряк и помор — братья по крови и разуму**

Удивительно схожей у сибиряков и поморов является устойчивая национальная самоидентификация и склонность к культурному обособлению от основной России. По последней переписи населения, которая проходила в 2010 году, поморами себя назвали 6571 человек (подавляющее большинство живут в Архангельской области), а сибиряками — чуть больше тысячи человек. Причём число людей, указывающих такую, так сказать, национальность, неуклонно растёт год от года. Что ж, людей понять можно: поморы добиваются (пока безуспешно) статуса коренного малочисленного народа для получения права бить морских котиков в Белом море, то есть заниматься своим исконным промыслом. Пока это право есть только у коренных малочисленных народов Севера. Сибиряки же таким способом хотят привлечь внимание столицы к своим проблемам, культурной оторванности от центра, нелёгким условиям жизни, хотят, чтобы о них не забывали — о тех, на чьих плечах держится экономика России и чьи деды не дали нацистам войти в 1941 году в Москву.

Когда я жил в Красноярске, некоторые мои друзья мне говорили: у нас в Сибири следы влияния Русского Севера минимальны, вот азиатской культуры у нас порядочно — вся Хакасия в древних курганах и могильниках, почти все топографические названия имеют тюркские корни. . . Я всегда возражал: поезжайте в село Тасеево — там столько образцов деревянного зодчества северорусского типа, дома высокие, красивые. . . Побывайте в Барабаново, полюбуйте на заброшенную деревянную церковь — она выстроена в канонах религиозного зодчества Поморья. Вообще, традиция строительства деревянных церквей и часовен пришла в Сибирь тоже с Русского Севера. Постройка деревянных церквей в России была запрещена после церковной реформы патриарха Никона в 1653 году, однако деревянные шатровые храмы продолжали строиться на севере Руси. В современной науке появилось мнение, что на деревянное строительство не было прямого запрета, однако факт остаётся фактом: после никоновских реформ деревянные храмы в Центральной России строиться перестали.

Чтобы увидеть, почувствовать сибирско-поморский дух минувших времён, поезжайте на теплоходе по Енисею на север, посмотрите

древние сёла: Ворогово, Туруханск, Бор. Побывайте в нижнем течении Ангары, пообщайтесь с людьми, послушайте их говор, песни. Посетите старообрядческие поселения, посмотрите на неспешный ход жизни старообрядцев, попытайтесь понять их традиции, образ жизни и мысли. Несколько веков живут они здесь, в ангарской тайге. Из поколения в поколение передаются бережно древние книги, вещи. И расскажут вам старообрядцы, как они бежали от реформаторов церкви на север, в Поморье, а потом в Сибирь, подальше от сторонников патриарха Никона, а многие сразу из Поморья в Сибирь уходили, на восход солнца...

Жизнь в больших многонациональных государствах способствует не только смешению народов, культур и традиций, но и появлению новых субэтносов внутри большого этноса. Так, русские новгородцы на севере смешались с финно-угорскими коренными племенами, и в итоге получились поморы. Поморы в Сибири смешались с выходцами из южных губерний, коренными народами — в итоге получились сибиряки. Новгородцы в результате объединения с Москвой и остальными русскими княжествами образовали русский народ, который, в свою очередь, при слиянии с другими народами, населяющими территорию России, образовал российский народ. Являются ли сибиряки и поморы частью российского народа? Безусловно. Имеют ли они право на определённую культурную автономию? На наш взгляд, да. Это позволит сохранить особые культурные традиции, присущие только им, сохранить уникальные говоры, добавить свой штрих на огромное красочное полотно великой культуры российских народов. Помор или сибиряк — не национальность, это, на наш взгляд, некая ментальность, носителем которой может быть человек любой национальности, но по духу, по мироощущению причисляющий себя к ней.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, бывшей некогда шведской провинцией Ингерманландия (Ингрия) и заселённой в те далёкие времена финнами-ингерманландцами, в последнее время возрос интерес к местным культурным традициям. По последней всероссийской переписи населения в 2010 году, ингерманландцами себя назвали около двадцати тысяч жителей региона. Но тут важно отметить, что не все они являются этническими финнами-ингерманландцами, к тому же владеющими своим языком. Часть из них — этнические русские, живущие на этой земле, любящие и знающие культуру Ижоры (так русские называют Ингерманландию), изучающие исконные местные традиции и обычаи; эти люди считают себя ингерманландцами (заметьте, не финнами-ингерманландцами) и, на наш взгляд, имеют на это полное право. Так и сибиряк, и помор — если он чувствует духовное родство с культурными традициями земли, на которой живёт, — пусть называет себя сибиряком и помором. Именно такие люди сохраняют и обогащают культуру России, интересуются историей и традициями окружающих, помогают людям перестать быть «Иванами, не помнящими родства».



## Послесловие

Мы живём в непростое время. Происходящие в мире процессы глобализации кажутся нам, на первый взгляд, очевидными. Но в то же время во многих странах возникает интерес к истории происхождения своих народов, учёные и энтузиасты изучают и возрождают многие исконные традиции и предметы материальной культуры: музыкальные инструменты, архитектуру, одежду. Россия не стоит в стороне от этих процессов: у нас тоже реставрируются исконные музыкальные инструменты (например, колёсная лира), строятся храмы по древним «чертежам и лекалам», в одежде и еде входит в моду этнический стиль. Традиционные мифы (водка, матрёшка, балалайка) постепенно развеиваются. Развеиваются мифы и о Сибири. Благодаря информационным технологиям любой человек на любом континенте может узнать, что в Сибири живут честные, трудолюбивые люди, которые стойко переносят климатические трудности, отличаются гостеприимством, смекалкой и дружелюбием. Они любят свою землю, желают знать её историю, хотят знать, как и когда пришли в Сибирь их предки.

В этом году Красноярский край празднует свой восьмидесятилетний юбилей, но история освоения этих земель началась, разумеется, гораздо раньше. Вот мы и попытались в этой статье вспомнить времена, когда отважные поморы пересекли Уральский хребет, основали первые поселения, принесли свой говор и традиции в бескрайние земли, называемые теперь Сибирью, а сами стали называться сибиряками.

Всем, кто заинтересовался данной темой, рекомендую почитать о первом этапе освоения Сибири и о её «старожилах»:

*Александров В. А.* Происхождение русского населения Енисейского края в XVII в. М., 1962.

*Скалон В. Н.* Русские землепроходцы XVII века в Сибири. Новосибирск: Сова, 2005.

*Скалон В. Н.* Первые исследователи Сибири. Иркутск, 1949.

*Биркенгоф А. Л.* Потомки землепроходцев. М., 1972.

*Кизеветтер А. А.* Русский Север. Роль Северного Края Европ. России в истории русского государства. Вологда, 1919.

*Булатов В. Н.* Русский Север: в 5-ти т. Архангельск: изд-во Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 1998.

*Окладников Н. А.* Встречь солнцу / Древние водные пути из Подвижья на Печору и в Западную Сибирь. Нарьян-Мар, 2003.

Виктор Ремизов

## Кряж

В маленькой каморке, куда вошёл Валерка, не повернуться было: стол, нары со спальником да карабин на серых растрескавшихся брёвках стены. Синё от табачного дыма. Валерка поздоровался, назвал, но начальник даже руки не подал. Замер над разложенными по всему столу бланками нарядов и смотрел в упор на Бычкова, или даже сквозь него смотрел, нескрываемо злой, что опять прислали студента. Он вчера несколько раз выходил на связь с начальником партии, чтобы не присылали. Предлагал поменять двух своих безмозглых на одного старого геодезиста Степанова, крышку рации разбил об пол, но ничего не помогло. Студент нормальный, уверял Звонарёв, и уже два дня как выехал. Поэтому чего и разговаривать. И вот этот студент стоял перед ним.

Левая рука начальника Карабульского отряда Енисейской геофизической экспедиции Валентина Петровича Мухина была беспалой; три коротких тупых обрубка цепко хватали пачку «Беломора», трясли ею, будто хотели выбить папиросину, но не выбивали, а бросали на стол и отпихивали на разложенные бумаги. Правая же рука всё время была под столом, как будто её вообще не было.

— Работал когда-нибудь? — начальник вытряс, наконец, папиросу, но прикуривать не стал.

Бычков удивлённо на него посмотрел.

— Геодезистом работал?

— Нет. На практике только...

— Ну да... — Валентин Петрович, нахмурившись, отвернулся в окно. — У меня двое таких, и до сих пор конь не валялся.

Бычков молчал. Он не ожидал такой встречи. Обида толкала его взять и выйти из этого вонючего кабинета. Не нужен так не нужен... Он, может, и вышел бы, да не знал, куда потом деваться... почти двое суток сюда добирался, а последние полдня вообще везли на вездеходе непролазной тайгой...

Валерка, вошедший бывалым таёжником, стоял теперь потерявшимся семнадцатилетним мальчишкой. Кем он на самом деле и был. Он не знал, как у него получится работать по специальности, которой он только учился, но никогда не работал. Казалось, что получится, но тут же и страшно становилось.

Единственное, что он понял, — что работы много и что какие-то геодезисты уже есть и в случае чего будет с кем посоветоваться. Он

хотел спросить, кто эти геодезисты и почему у них не получается, но промолчал.

— Ладно, — Валентин Петрович встал из-за стола. — Как зовут-то?

— Валера.

— Ну, пойдём, Валера, будем тебя селить...

Начальник оказался высоким и слегка сутулым. Да ещё светловолосый как-то по-женски. Не было в нём ничего героического, что про него рассказывали. На правой руке, которую он, наконец, достал из-под стола, пальцев не было совсем.

— В этом доме у нас камералка, — сказал Валентин Петрович, нагибаясь в дверной проём и выходя на улицу. — Там геофизики, — кивнул на маленькую избушку с кривым крыльцом. — Рабочие в крайнем, в большом доме... хочешь — с ними... там уже есть один... студент.

На складе, помещавшемся в отдельной, разваливающейся и подпёртой столбиками избёнке, лежали большие и маленькие палатки, котлы и котелки, лопаты, топоры, ещё разный бутор, отдельно на полках стояли ящики с тушёнкой, сгущёнкой, китайской колбасой в банках, коробки с грузинским и индийским чаем. Валентин Петрович показал журнал, куда записывать, если что берёшь со склада, выдал толстый ватный спальник, белый вкладыш в него и дал расписаться.

Бычков надел свой рюкзак, взвалил спальник на плечо и пошёл в дальний дом. Ему не очень нравилось, что селили к рабочим. Ничего против рабочих он не имел, но его и приказом оформили как инженера-геодезиста, и в предыдущем лагере, где он отработал июнь, он жил в одной палатке с главным геологом.

Под крыльцом валялись бутылки из-под подсолнечного масла, консервные банки, тряпки какие-то. Внутри же прямо вонь стояла, Валерка невольно остановился на пороге. Запах развешенных портянок, ещё чего-то капитально прокисшего, на столе с остатков еды поднялись мухи и заходили тяжёлыми кругами... В их палатке было тесно, но чисто. Да и во всём лагере. Там вообще никто ничего не бросал... Валерка вышел на улицу.

Наверное, это было не очень правильно для новичка, но он вернулся к начальнику и, стесняясь сказать, что там ему не понравилось, попросил палатку. Сказал, что привык уже в палатке. Валентин Петрович молча и внимательно посмотрел на него, дал ключи от склада и снова уткнулся в бумаги.

Отряд Мухина второй сезон работал на сложном месторождении бокситов в среднем течении Ангары. Жили не в палатках, как это чаще бывает, а в заброшенной деревне. На большой поляне среди тайги помещалось несколько изб с пристройками, огороженный выгон для скота да болотистое озерцо, из дальнего края которого высачивалась таёжная речушка. Во время войны зеки-лесорубы построили для себя большую баню и длинный барак, где сейчас жили работяги и где Валерке не понравилось.

Сначала решил поставить палатку в лесу, исследовал ближайшую опушку, нарезал маслят между делом, но потом бросил их и выбрал место на берегу озера. Тут, недалеко от навеса летней кухни, уже стояли две палатки. К вечеру появилась третья.

Валерка натаскал брёвен и досок из ближайшей полуразобранной избы, постелил пол, нары смастерил, стол и полочки, потом ещё один столик для ведра с водой и для чайника. Пятиместная брезентовая палатка с предбанником — в рост можно было стоять — была натянута на деревянный каркас без единой морщинки. Рядом с палаткой очаг обложил камнями — чай варить.

Он делал всё это, а сам думал, как завтра начнёт работу. Как получит инструмент, и кого дадут в рабочие? Временами так начинал волноваться, что топор валился из рук: ну, если не получится? Вспоминал занятия в техникуме, Сергея Иваныча, учителя геодезии, и ему совсем страшно становилось. Казалось, что ничего не помнит. Он бросал работу, сидел на бревне и тупо разглядывал пол в палатке. Пол вышел хорошо, почти без щелей. Валерка трогал его рукой, вспоминал, что за последнюю практику у него пятёрка была по геодезии. Сергей Иваныч хвалил, говорил, что у Валерки глаз хороший. И ему начинало казаться, что всё у него получится. И даже очень хорошо получится. И пила опять звенела под рукой, и столик выходил крепким и ровным.

В обед люди подтягивались к кухне. Ели. Валерка работал метрах в тридцати-сорока, пилил доски на полочки, приколачивал их и ждал, что кто-то подойдёт, поинтересуется. Торопился успеть побольше, чтобы выглядело как следует, но никто не подошёл. Повариха только заглянула, есть звала. Валерка не пошёл, постеснялся, а когда все поели, уже и есть не хотелось.

Вечером в палатке всё было постелено и разложено аккуратно. Валерка сидел за столом на прочной скамеечке, которую сколотил из остатков толстых половых плах, и воображал, как кто-то, может, и сам Мухин, заходит к нему, осматривается и одобрительно кивает головой.

Народ снова зашевелился на кухне, загремел мисками и кружками. Временами громкий смех отдавался в тайге на другой стороне озера. Валерка не знал, как выйти. Почему-то неудобно было. Своими он считал ребят из звонарёвского отряда, с кем прожил целый месяц, здесь же чувствовал себя чужим. Он прислушивался к хохоту, доносившемуся из-за стола. Представлял, как солидно, как бывалый таёжник, подходит к кухне и как на него все смотрят... Он даже вставал, чтобы выйти, но, сделав кружок по палатке, красный от стыда и досады на самого себя, садился на скамейку.

— Можно? — раздалось снаружи.

Валерка вздрогнул.

— Да, — ответил поспешно и взял ручку, вроде как что-то пишет.

Палатка зашаталась, и в неё всунулось большое бородатое лицо с интеллигентными очками на носу.

— Здрасьти,— лицо огляделось и уставилось на Валеру.— Идёмте ужинать. Меня Андрей зовут. Парфёнов. Идёмте.

Валерка застеснялся окончательно. Покраснел, хотел сказать, что сейчас, только письмо допишет, но не стал искушать судьбу и, бросив ручку, вышел на улицу. Андрею было лет тридцать, он, невысокий и толстый, весело и с интересом рассматривал Бычкова. Как будто оценивал.

— Вы геодезист? Студент?— и сам же кивнул головой, подтверждая свою мысль.— Геодезист очень нужен. Вы у Звонарёва в отряде что делали?

Валерка замылся, не хотелось говорить, что он копал шурфы и таскал рюкзак с пробами за геологом.

— Да там не было работы по специальности. Иногда направление задавал для профилей... Там даже инструментов не было, я поэтому и попросил, чтобы перевели,— пожаловался он неожиданно. Андрей вызывал доверие, смотрел на него серьёзно.— А тут что за работа?

— Нивелирование под сейсморазведку...

— Нивелирование! — Валерка готов был обнять Андрея.— Это ерунда,— глаза у него загорелись, хотелось объяснить, что это пустяки по сравнению с астрономическими привязками, например,— это вообще ерунда полная, я...

— Ну, не знаю, у Любы с Генрихом почему-то много брака... Пойдёмте есть. Вас как зовут?

— Меня — Валера. А знаете, там, у Звонарёва, всё хорошо было, они меня отпускать не хотели, Звонарёв денег обещал полно, но я подумал, что надо же мне попробовать по специальности. Я же геодезист, а таскаю провода по тайге для электроразведки...

Валерку несло от радости. Он бы прямо сейчас побежал работать...

Под навесом сидело человек десять-двенадцать. Валерка немного робел и хмурился не к месту, и Андрей, ласково похлопав его по спине, подтолкнул к свободному месту.

— Валера. Геодезист. От Звонарёва к нам,— представил всем.

— Валерка! — раздалось вдруг с дальнего конца.

Это была Любка из их техникума. Из соседней группы. Они вместе ехали на поезде до Красноярска, а потом до базы экспедиции в Маклаково, где она и осталась, потому что не хотела работать в поле.

Валерка и рад, и не рад был, что она оказалась здесь. Он вообще не понимал, зачем бабы в тайге. Но с другой стороны — всё-таки знакомый человек. Он кивнул ей и сел на краю, рядом с Андреем. Остальные за столом были мужики, рассматривали его с интересом и, как показалось Валерке, не особенно доброжелательно. Он в лицо никому не смотрел, только благодарно кивал Андрею, накладывавшему ему из общей кастрюли.

— Мы из одного техникума, — весело и громко, хорошо не прожевав кашу, оповестила всех Любка. — Ты когда приехал? — нагнулась она над столом, почти легла на него, чтобы видеть Валерку, сидящего в том же ряду.

Улыбалась, будто брата родного встретила.

— Сегодня, — буркнул Валерка нехотя, всем видом показывая, что они, конечно, знакомы, но всё-таки он тут сам по себе.

Ему вообще казалось, что она ведёт себя ужасно глупо.

— А я прошу прощения, — высокий, весь какой-то вихлястый, приклатнённый мужик лет тридцати курил, прислонившись к столбу навеса. Спичка небрежно торчала из угла рта. Он то ли обращался к Валерке, то ли всем что-то смешное хотел сказать. Валерка напрягся. — Вы, случаем, не такой же геодезист, как Люба? — он сделал паузу и «значительное», наглое лицо. — А то нам и её хватает!

Худое лицо мужика кривилось в ухмылке. Голос был дребезжащий, ядовитый. В тонкогубом рту не хватало нескольких зубов, но один из передних сверкал жёлтым металлом.

— Хорош, Фикса! — перебил его Андрей.

Любка была деревенская девчонка, совсем не робкая, а тут уткнулась в свою тарелку и покраснела. Фикса, похоже, говорил правду.

— А чего хорош?! Каждый профиль за ней перерубаем... Я лично шесть перерубил, Макар вон штук двадцать, а платить кто будет? А, Любань? Может, того... в ночную смену выйдем? — Фикса картинно изогнулся, будто хотел заглянуть Любе в лицо, и, тут же отпрянув, сам же громко захохотал над своей шуткой.

— Сволочь! — Любка резко встала и, оттолкнув Фиксу с дороги, быстро пошла по тропинке.

Две дворняжки выбрались из-под стола и побежали за ней.

— Вермут! Портвейн! Ко мне! — заорал Фикса.

Собаки остановились, обернулись на него, но даже хвостами не вильнули, а снова повернулись и побежали за Любкой. Мужики поднимались из-за стола, подсаживались на корточки к прогоревшей, с большим открытым зевом печке, прикуривали от головешек. Повариха, по внешнему виду которой никак нельзя было сказать, сколько ей лет, беззлобно матерясь на кого-то, мыла миски во фляге и громко ставила их в стопку на край стола.

Солнце садилось в тайгу, жара спадала. Мужики негромко переговаривались у печки. Было приятное время — после целого дня в тайге, в накомарниках, с потной до трусов спиной... время после сытного ужина, когда твои гудящие ноги уже ждут, как ты ляжешь и блаженно вытянешь их. На озере плескалась рыба мелочь. Валерка хотел спросить у Андрея, что за рыба тут водится, а больше рассказать, как у Звонарёва в отряде они рыбачили на Ангаре, но Андрей ел вторую тарелку и внимательно листал полевой журнал. Геофизик — понял, заглянув в журнал, Валерка и подумал, что надо сходить к Любке и всё у неё узнать.

—Кряжик, что ли, распустить Руфе?— небольшой, сухой мужик лет сорока пяти бросил окурок в печку и поднялся.— Кто со мной наперегонки? Давай, Фикса! — посмотрел он на Фиксу, стоявшего ближе других.

Фикса небрежно ощерился дырявым ртом, показывая, что это ему ни к чему. Под важным спокойствием, которое он изобразил на лице, было что-то жалкое, собачье. Мужик меж тем один за другим выкатил перед кухней пару здоровых листовых чурбаков. Поставил их так, чтобы колоть, не мешая друг другу, и принёс три колуна. Два с длинными рукоятками, один с короткой. Он делал всё неторопливо и основательно.

—Давай на пару шшылбанов! — мужик весело прищурился на Фиксу. —Ты, Макар, нашёл с кем биться — он их ни разу в жизни не коллол,— засмеялся кто-то у печки.

—Я их столько поколол в Хатанге, сколько ты девок не пощупал! — Фикса сделал пренебрежительное лицо, сплюнул, ловко ссыкнув тонкой струйкой, и стал неторопливо добывать беломорину из пачки.— Вон, студент пусть новый... Давай, студент!

Валерка был крепкий, даже и очень крепкий для своих семнадцати, и ему хотелось показать это мужикам, тем более что дров он немало переколол у деда в деревне; но ему не нравилось, что Фикса им командует. Макаров повернулся к Валерке:

—А чего, давай за компанию,— лицо у него было хорошее, бесхитростное.

Валерка встал, пересиливая смущение, и пошёл из-за стола. Колун взвесил в руке. Он никогда не пробовал колуном. Был бы топор, было бы получше,— подумал, поглядывая на Макарова.

—Начинай, начинай,— Макаров одобрительно улыбался и закатывал рукав, обнажая тугие узловатые мышцы.

Он был ниже ростом и суше, Валерка это хорошо видел, он хотел сказать, что надо начинать вместе, но мужики загалдели, чтобы он не ждал, что Макар всё равно догонит. Непонятно было, за кого они болели — за своего Макара или за Валерку.

—Давай, не стой. Чего ты?! — мужики подтягивались, образуя неровный круг.

Валерка пожал плечами: мол, если вы так считаете... Кряж был почти метр в диаметре, и Валерка уже видел, как сначала разваливает его пополам, как он всегда это делал у деда, потом на четверти, и потом уже мельче. Валерка прицелился и со всего маху запустил клюв колуна в середину. Тяжёлое железо вошло почти до половины, но чурбак не шелохнулся. Даже трещинки не наметилось. Валерка потянул за ручку, потом всем телом налёг... колун не шевелился. Мужики, после того как он шархнул со всей дури, сначала примолкли, даже тишина наступила, потом кто-то засмеялся, как смеются над маленькими, кто-то сказал: кто же, мол, так делает... Валерка

упёрся ногой, пытаясь выдернуть, но колун застрял намертво. Будто вмёрз. Макар стоял со своим колуном в руках и то ли поджидал, когда Валерка освободит свой, чтобы начать вместе, то ли просто смотрел. — Вон, другой-то возьми, другим сверху... — посоветовал кто-то.

Валерка и сам уже об этом думал. Он взял другой колун — этот был поменьше и на короткой ручке — и стал им бить по первому. Тот нехотя заходил всё глубже, но ничего не менялось. Мужики вокруг уже открыто хохотали. Шутки сыпались одна другой обиднее. Макаров спокойно колот свой кряж. Он шёл по кругу, всякий раз отщипывая нужный кусок с края. Это было совсем несолидно, так никто не колот, думал Валерка, не зная, что делать со своим колуном. Он зашёл с другой стороны и засадил второй колун лоб в лоб первому — два должны были сделать своё дело. Если бы расколосось, всё пошло бы быстрее. И было бы красиво — не то что у Макарова.

Второй колун засел так же, как и первый. Мясистая вековая древесина чуть только обозначила трещину и выстояла. Хохотали невыносимо, Фикса ползал на коленях и бился лбом в печку, и даже Андрей улыбался. Из камералки вышел Валентин Петрович, постоял на крыльце с папиросой, посмотрел на балаган, на потного от злости Валерку и снова зашёл.

Макаров вошёл в работу и, забыв уже о сопернике, колот, быстро переходя по кругу с места на место и отталкивая мешающие под ногами краснокорые пахучие чурки. Пот заливал ему глаза. Волосы на лбу слиплись. Могучий кряж оплывал, как свечка. Вдруг он остановился, глянул на Валерку:

— Клин возьми!

Он сказал это так, как будто они делали одно дело. Как будто они вдвоём были против этих хохочущих.

Валерка с благодарностью, но и растерянно на него посмотрел. Он не знал, что такое клин. Выручил кто-то из мужиков. Принёс металлический клин на длинной рукоятке.

Макаров закончил и стал помогать Валерке, вдвоём они кое-как с помощью клина развалили всё же... Было ужасно. Валерка стоял красный и не знал, колоть ему дальше или не колоть.

— Молодец! Здоровый мужик! — Макаров поднёс ему кружку с компотом.

Валерка посмотрел на него, не понимая, в чём тут шутка. Взял кружку.

— Здоровья, говорю, до фиги, не было бы здоровья — не засадил бы глубоко. Ничего, научись. Кряжистую листвяшку так трудно расколоть.

— Да я раньше... только топором колот... у деда в деревне... — начал было Валерка, но Макаров уже отвернулся, блаженно подкуривая сигарету от уважительно поднесённого бычка.

— А вы чего ржали?! Нет бы подсказать парню...



— А то ему не говорили, — на Фиксе опять было его прежнее наглое лицо.

Стали расходиться. Андрей звал чай пить у них в домике. Валерка подумал, что это он из жалости, и отказался, пробурчал, что надо с Любкой по работе поговорить. К Любке не пошёл. Ему казалось, что все в лагере уже знают о его позоре. В палатке было темно. Он нащупал свечку, зажёл, разделся и забрался в холодный спальник.

Свечка горела ровно. Светила слабо, но всё было видно. И полки с разложенными вещами, и столик, тщательно обёрнутый восковочкой и заколотый кнопочками. Всё у него здесь было хорошо, но этого никто не видел. А как он колол, видели все. Он представлял, как Фикса сейчас в их свиарнике рассказывает...

«Да, работничек...» — вздыхал Валерка. В первом лагере у него тоже сначала было несколько неприятных случаев. В самом начале, когда забрасывались в тайгу, дизель заглох на тягаче. Водитель, главный геолог и сам Звонарёв, засучив рукава, долго ковырялись, но у них не выходило. И тогда Валерка решил помочь — он довольно хорошо знал мотор в отцовской лодке. Мужики хмуро расступились, Валерка залез наверх и стал смотреть. Мотор был огромный и совсем не похож на отцовский. Он пытался понять, что к чему, но даже карбюратора не мог найти, хотел спросить, да неудобно было. Боясь, что мужики сразу увидят, что он ничего не понимает, он трогал то одну деталь, то другую. Наконец, Звонарёв не выдержал и, недовольно согнав его с гусеницы, полез сам. Недовольство скорее всё-таки к мотору относилось, но и к Валерке тоже. Такая стыдоба была! «Хер ли лезть, если не понимаешь?!» — так тогда сказал Звонарёв. Валерка прямо видел перед собой его недовольное лицо за толстыми очками. Стыдно было — не сказать как. Прямо горе. Он тогда, отойдя в сторону и усевшись на мокрый мох, больно, до синяков, искусал себе ладонь и дал слово не лезть никогда, если не знаешь, и вот теперь снова стоял на тех же граблях. Он так расстроился, что из-за этого и уснул.

Проснулся рано. Чуть только рассвет обозначился в щёлочке брезентового входа. В палатке было холодно, в лагере и в тайге вокруг тихо, только глухие звоны лошадиных ботал время от времени нарушали тишину. Сразу вспомнил вчерашнее. Оделся поспешно и вышел из палатки. Мокро было от росы. Вся поляна в тумане, камералку с прокуренной комнатой Петровича еле видно... Холодно было и неуютно.

Валерка шёл к кухне, поёживаясь, зевая нечаянно и прислушиваясь, не встал ли тоже кто-нибудь, — ему не хотелось, чтобы его сейчас видели. Колуны были, где их вчера и оставили. Тот, которым колол Макаров, стоял у печки; Валерка попробовал остриё, взвесил в руках, замахнулся — колун был точно такой же, как и его, и он, взяв свой, направился к озеру.

На берегу, сразу за кухней, лежали два тридцатиметровых листвяка, притащенных сюда тягачом и попиленных на кряжи. Валерка

остановился в начале, возле самых толстых. Они были такие огромные, что он присвистнул уважительно и даже погладил шершавый, дынного цвета спил. Первый комлевый кряж был ему по пояс. Валерка задумался, как они растут, обернулся: над кухней стояло три таких же — высоченных, с обломанными суками и небольшой кроной наверху. Когда-то росли в лесу, понял Валерка, потом лес извели, а они остались. Сколько же им лет? Может, больше ста? Он пытался представить, как тут было сто лет назад, потом вспомнил, зачем пришёл, нахмурился и взялся за чурбак.

Способ, которым колот Макаров, оказался несложным. Надо было только точно отмерять толщину полена. Если брать слишком много, колун застревал, но и слишком мало — тоже было плохо. Колун, не находя сопротивления, отхватывал щепу, пролетал до земли или сушил руки, отскакивая в сторону.

Первый небольшой чурбак был, наконец, домучен, полешки получились разные, кособокие и лохматые. Колуну тоже досталось — ручка сначала сильно замялась у самой железки, а потом даже немного треснула. Второй чурбачок, побольше, начался неплохо, ровно, но Валерка торопился, и снова начались промахи. Валерка обернулся на лагерь — он всё время на него оборачивался, боясь, что застукают.

В лагере спали. Туман скрывал вершины лиственниц, висел над крышами... На берегу серого парящего озера, понуриив головы, стоя спали кони. Так тихо было, что капли влаги, падающие с деревьев, громко шуршали по листве. Валерка вытирал пот и заворожённо смотрел на поднимающееся солнце. Туман над лесом на востоке начал светлеть. И в воздухе, и на душе становилось теплее и радостнее. По озеру побежала лёгкая рябь предрассветного ветерка, камыши чуть заволновались. Лиственницей и влажными травами запахло из тайги.

Валерка пошёл к комлю дерева, к самым толстым чурбанам, пыхтя и краснея от натуги, раскатил их. Три штуки поставил «на попа». Это было очень много, но такой уж он себе поставил план. Легко было на душе, и от этого, видно, колун тоже стал легче. Он взял его длиннее и уже не дуrom заносил над чурбаком, а, не расходуясь лишнего, заводил через плечо. Не коротко и не длинно бил: гоп! — чурка нужной толщины отваливалась бессильно с коротким хряком. Легко и даже приятно взлетал Коля-колун — так Валерка его назвал и разговаривал с ним, — как будто без усталости взлетал и устремлялся вниз Коля. Валерка подмигивал сам себе и вдруг прибавлял и начинал бегом бегать вокруг кряжа.

— Давай, Коля, давай, милый! Нам успевать надо! Время боевое! — повторял он любимую присказку деда.

Гора смолистых, пачкающих руки красноватых чурок росла.

Нет-нет, а поглядывал на лагерь, всё-таки не очень хотелось, чтобы кто-то увидел. Может, и хотелось, но не очень. Неудобно маленько было. Он ведь и шёл сюда, чтобы вызвать Макарова на реванш.

Но теперь, работая и обливаясь потом — мокрую рубашку он давно уже снял, — Валерка видел себя со стороны. Таким видел, каким он и был на самом деле. И ему весело, даже радостно стало, захотелось похлопать себя по плечу, как это вчера сделал Макаров: мол, надо ли, парень, доказывать что-то, чего не существует? может, лучше научиться колоть листовницу? И Валерке приятно-приятно стало, что он один из них. Такой же, как умелый и добрый Макаров, как обморозившийся и потерявший пальцы на руках и ногах, но не бросивший товарища Валентин Петрович Мухин, и даже... ему даже Фиксе захотелось сказать, что он на него совсем не обижается.

В лагере начали подниматься. Сначала в полной тишине дверь где-то закрипела и хлопнула, потом повариха Руфа вышла из своей палатки в светлой ночнушке, задралась, присела возле и вернулась в палатку. Валерка докальвал третий кряж. Он уже здорово устал. — Чего здесь-то колешь?

Валерка вздрогнул так, что колун чуть не вылетел из рук. Сзади стоял Мухин. В трико с отвисшими коленками и ватнике на голое тело. Курил. Валерка сильно вздрогнул, но не растерялся.

— Здрасьте, Валентин Петрович.

— Здорóво, — начальник, глядя сквозь Валерку, думал о чём-то. — Ты бросай это дело. Любкин нивелир возьмишь. У неё цейсовский. А на рейку Макарова тебе дам. На пару дней. Он покажет участки. Да... — нахмурился решительно. — С главной обвязки и начнёшь, три раза уже делали...

Он достал новую папиросу, ловко зажал спичку и коробок обрубками пальцев, подкурил и мимо кучи Валеркиных поленьев пошёл к лагерю.

Вероника Сидорова

## Сияние вечной любви

Много легенд есть на свете, вот одна из них — о самом крупном пресном озере Байкал.

Жил статный витязь на берегу небольшого озера у неприступной скалы. Откуда он был родом — не помнил; воспитал его старый волхв на древнем капище, нарёк Байкалом и предсказал ему судьбу великого повелителя трёх стихий: воды, ветра и горной тверди. Ушёл со временем в небытие древний старик, и остался юный отрок один среди гористых равнин: ни своего племени, ни родных, ни близких.

Все его друзья — верховой лось Камол, орёл Острец и нерпичья семья.

Раз привиделся ему чудный сон. Старец повелел ему на Иванов день открыть в круглой горе пещеру и взять посох: «Когда сможешь поднять его от земли выше своей груди, вот тогда станешь повелевать стихиями. А пока подводи русла рек и сливай воду в бездонное озеро: чем больше будет воды, тем выше и сильнее над остальными будешь ты».

Стал парняга мелкие и говорливые ручейки, которые ему были посылны, сливать в котёл. Но вот диво: сколько ни льёт, а уровень воды в озере всё тот.

Пробовал поднять посох, но обе попытки закончились безрезультатно: первый раз только на миг, на волосок от земли оторвал, второй — до колен отжал.

Стала возрастать силушка молодецкая. Насыпал посредине озера песчаную косу и определил на ней место жительства чутким и доверчивым нерпам.

Захирели льющиеся с гор потоки и ручьи, тогда пошёл наш молодец на поиски новой, бурной воды за синеющие вдалеке монгольские горы. Нашёл в густом ельнике два волнистых потока одной реки и собрался было изменить русло и угоном слить её в недра свои, да увидел на своём пути крепкого мужика и молодуху, вставших стеною в защиту своей воды.

Удивился Байкал, когда впервые увидел себе подобных людей из кожи и костей, и решил их вместе с вешней водой умыкнуть к себе на остров Ольхон.

— Оставь их кости здесь, принесут живые враги нам беду и поселят в твоём сердце смуту и тоску, тебе не ведомые, — указал ему зоркий орёл Острец.

— Никого не боюсь, ото всех отобьюсь. Всё хочу сам испытать, узнать, раскатать и всех под себя подмять. Иначе на что тогда дана мне моя стать?

Мудрый лось Камол, доброхот, бородой покачал, но ничего не сказал, а закинул рогами себе на спину обвитых в рыбы сети людей и помчался стрелою мимо дремучих лесов и полей.

Стал задумчив Байкал с тех самых пор, как поселилась на острове у него печаль и тоска, но неведомы были смелому парню любовь, ласка и доброта. Приказал верному Острцу их зорко стеречь, а не то за провинность голова перьевая ему с плеч.

Потекла в неволе из глаз горячая родительская слеза:

— На кого ты осталась одна, но хоть не в плену, а в родимом краю, наша дочурка Селенга? Помоги ей Господь и добрые люди, спасите от злыдней, не дайте острым когтям нашу кроху разорвать и в полон к ворогу попасть.

Поселил их Байкал в кедровом тереме на острове среди скал и за нерпичьим семейством приглядывать наказал. От их чистых слёз посветлела в озере вода и из чёрной, басурманской стала серой, как горестный пепел после костра.

Раз не выдержал отец и поплыл через мыс по течению вниз, но был пойман орлом и сброшен со скалы.

Окаменела от горя вдова, стала изваянием навеки она.

... Долго скиталась в напрасных поисках дочь Селенга, по крупичам искала затерянный след родителей меж кочек и тряских болотин, одинёшенька-одна. Жила в убогом зимовьюшке у тонкого ручейка. Просила совет у Зари, но та отказалась по знакам вести; молила Сову ей помочь, но та лишь бубнила:

— У-у-у. Не объедешь судьбу, не изменишь — попадёшь, разорвёшь и поверишь. Близок час, в новолунье найдёшь то, что силой тебе будет дано, но, ух-ух-ух, упадёт навсегда далеко. Словно яблоко, скатится в воду она, через сети любви смоем муки одна и заплатит сполна. Закольцует строптивость и боль усмирит, как ни крепок гранит — и его раскрошит.

Нашёлся в напарники малый дружок — весёлый пушистик, зверёк-соболек. Как мог веселил он девчонку, носил ей грибы и орехи. Нарекла его она Атласом — за мягкий нор, пушистость и сноровку в любом деле.

Слёзы льются из глаз девы чище алмазных вод, течёт по реке Любви родителей Селенга, лёгонек ей плот. Не видит коварной измены, что русло реки направлено в берег озёрного тлена. Байкал давно его изменил и в свои мятежные воды нерпам влить разрешил.

Очнулась от писка Атласа на диком берегу синеокая Селенга, да сверху камнем падает на неё тень орла Острца. С первой попытки не сумел уцепить он её в когти, наш собоек выткнул глаз ему серебристой тростью. Разозлился орёл, ещё миг — и погибла бы в муках она, но Камол — мудрый лось — преградил наперснику путь:

— Не тебе чинить расправу сполна, хозяину будет она отдана.

Нерпы весть понесли храбрецу-удальцу в дальний плёс, где ловил косяками он омулей себе на обед.

С первых поглядов он очарован богиней небес: кроткий норов, с ладонь шириною коса, губки алые, собою краса, а вот с синих глаз покатила слеза.

Налетел, как горный поток, и девицу силою под гору в пещеру унёс. Ни жива ни мертва, словно каменная статуя, бродит согбенной тенью в лапах парня-тирана она. А ему, могучному, невдомёк, что взаимности нет и на волосок.

Понесла под сердцем дитя онемевшая Селенга от ядрёного богатыря. Не добился он от девы взаимной дружбы — нет назад пути после сломленного, как одичавшая ветка, исковерканного чувства. Что ни говори, всё ушло впустую с его стороны в стылые заросли череды.

На остров он её привёз и в терем поселил, оставил ей лишь зверька Атласа вопреки предостережениям орла Острца. Одиёшенька, сидит у берега хмурого озера она, а любопытные нерпы всё кружат по водной глади, да залётные чайки «инде-инде» над водою кричат, как стая галчат. Ноги её сами привели к каменному изваянию матери-земли. Пролила на неё она свои слёзы, покатила волна, и ей причудились в яви материны слова: «Против зла делай добро, прости его, общее у вас с ним теперича нутро».

...Заговорила Селенга с Байкалом впервые после обета молчания у скалы и попросила построить себе хижину у самой воды:

— Согласна я стать духом родительской реки и питать твоё мёртвое озеро живительным соком добра и любви. Только одно условие у меня: никогда не входи без моей просьбы в хижину огня.

— И я согласен, быть посему, но и ты моё веление прими: принадлежать мне одному ты навсегда должна.

Дочка родилась в новолуние, с ликом неземной красоты и умным взглядом фиалковых глаз, смотрящих с поднебесной высоты. Закричала при родах горько Селенга:

— Ан-гара, — так и дочку нарекла первым словом — Ангара.

Никому не показывала свою дочь, пропитанье привозил озабоченный лось, а свежей рыбой потчевала нерпичья семья.

Страшил Байкала яркий огонёк в хижине в ночи, так и не дождался просьбы погостить он от неприступной девы Селенги. Наказывает верному добытчику орлу он как-то в глухоманну, темнеченьку ночь: — Разведай: для кого она так ласково поёт? Как сердце моё плачется, и всю грудь разрывает, и жжёт беспричинная печаль и боль. Что это такое творится со мною, безликое и далёкое?

— Это у вас, у людей, зовётся любовью, — открыл истину ему бестрашный лось Камол и стремглав поскакал через мол.

Хотел он уберечь её, предупредить, да не поспел: наш орёл-пострел на крыльях первый успел. Узрел он одним глазом в ставень,

как баюкает мать родное дитя, положив на колени комочек себя, как песню выводит сердцем, вполголоса говоря:

— Спи, любимая дочь, у меня на груди, совсем немного вместе нам быть осталось времени впереди. Чует вещее сердце, кровиночка моя: скоро узнает отец Байкал про тебя.

Улетел орёл, загасив лучины свет, а из-под лежанки выскочил шустрый соболь.

— Всё слышал, предвижу боль и нужду. Может, я за подмогой к кому-нибудь побегу? Должны же быть на свете те, кто не устрасится гнева и зла и поможет нам выбраться из когтей вражины орла!

— Не его страшусь я, он у господина слуга, а того боюсь я, что дочь отнимут и накормят досыта кусочками льда. Помогите мне, Атлас, пока силы запас не иссяк, найди дочке моей верных друзей, с ними ей будет легче уйти от цепей.

— Что за ребёнок, чей, откуда и когда? — забушевал ветрами — баргузином и сармой — впервые с такою силой Байкал и лодки рыбацкие все разметал.

— Твой ребёнок, дочь. От тебя рождён, но ею спрятан и пленён, — хладнокровно вещал орёл и головою в стороны вертел, пока вновь на разведку на остров не полетел.

Чуть не застучал пушистого соболя грозный орёл, юркнул ужом тот под коряжистый пенёк. Проскочил под землёю в кротовом проходе и шмыгнул в ельник густой. Дальше на запад лежал его путь, стрелкой доверья его отклонило в Саянские горы свернуть.

...Стукнула нежитью дверь, и вошёл Байкал в хижину без зова, нарушил заповеди уговора. К дочери подошёл, улыбнулся и склонился в забытьи, а девчонка уцепила его за волосы и усы.

— За вами пришёл, вот весь мой сказ. Ежели отказ — неволить больше не стану, но от родной дочери не отстану.

Молчала Селенга и этим больнее ранила твердокаменного смельчака. Но когда он взял на руки дочь, не удержалась от горьких слов: — Всё полонил, безраздельный господин, а счастья семейного не нашёл. Не смогу жить рабыней, как скала, но тебя за обиды прощаю — вот моя рука.

Ушёл недовольный, смурный Байкал, и в пещере на посох его тяжёлый взгляд упал. С маху поднял его, как пушинку, как невесомую хворостинку. На обрыве у скал крутить его над головою стал; вмиг помутнели небеса, и подвластные вихри гнева вырвались из облака:

— Слушаемся и повинемся, хозяин, приказывай.

Ошалел Байкал, обезумел; по волнам, по горам посохом водит и крутит. Волны крутые на берег кидает и хижину в воду смывает. Нерпы чудом ловят Селенгу в воде и спасают у себя в пещерном гроте-пяточке. Стал всевидящ Байкал и дочку с женой к себе в терем силком переносит, есть и пить их милости просит.

— Раз не мила тебе пещера, живи в тереме на горе одна, но всегда возле меня.

— Сломай посох — буду твоя.

— Что-о-о-о? В этом ведь власть над миром моя. Вот какой ценой из тлена захотела ты плена? Горе тебе, моя тоска, моё томление, старухой станешь древней и уйдёшь сейчас своей дорогой, но без промедленья.

Ушла, прощанье с дочкой вышло горьким, но заклинала в сердце она и просила солнце:

— Просвети, древнее Ярило, направь на путь истинный. Не смогла я его гордыни одолеть, помоги от его бездушия и гнева дочь сберечь.

Моргнуло солнышко за тучкой тонким лучиком в знак согласия. Уже за увалы уходила — лосю Камолу оберев на шею припушила:

— Отдашь дочке, когда подрастёт и первый благородный поступок сама, без указки, совершит. А на словах скажи: на мать и отца, дочь, зла не держи. Но судьбу свою определяй сама и только по любви, решение о суженом придёт на ночь за ужином.

Дочь росла в заботе и не знала невзгод, но нет-нет и болело сердечко о сломанном стебельке, что был вырван ветром и сброшен с вершины в долину грёз. Бедный жарок, слабый жарок. В хижине на окне ты новыми корнями пророс. Спрашивал старец-отец, тыча посохом в ставенец:

— Что это горит у тебя огнём? Не верь, дочь моя, всё обманчиво, только в силе краса, всё перемелет она, и будет мука. Люди обманчивы, не сострадай никому, только мне и холодному разуму своему.

Раз осенью промозглой пронеслась гроза, и выпал у орлихи Острецовой детёныш малый из гнезда. И Ангара его приветила, заботой нежной отогрела и к лету следующего года на волю выпустила из неволи. Орлёнок Рус был славный карапуз, стал жить неподалёку на скале и подчинился только ей, «мамуле» Ангаре.

Жалость и сострадание живительными соками набухали в ней. Материнские ростки нежности дали обильные всходы в дочери. Отцу не перечила, но временами поступала своевольно и дерзко: то ручей выпустит из озера, то птиц перелётных укроет от злодейского набега орла Острца.

Пришло время, узнала правду от лося Камолы она, стала тихой и грустной, всё сидела у каменной гряды, у озера одна. Суровое сердце своё немного спускал с цепей седой Байкал при виде дочери и немного оттаивал, когда она расчёсывала его спутанные пряди. Сошёл на нет вековой лёд с его грозных вершин. Больше всего он дорожил своею дочерью, и боролось в нём противоречивое чувство: понимал, что когда-то придётся её отпустить от себя или решиться и навсегда превратить её в дух озёрного дна. Помог разрубить гордиев узел пронизательный Острец:

— Найди такого храбреца, который останется зятем в нашем озере на правах ловца.



Выросла незаметно, распустилась ярким пионом дочь, и стал приглядывать ей женихов хитрый Байкал — этим хотел удержать её подле себя.

Первого приискал женишка Иркут, который с готовностью согласился слить свои воды в общий котёл, да мгновенно отвергла его Ангара. Мал да не доростен, гадлив да корыстен. Вьётся, стелется мягко, как вьюн, да треплется, как птица-говорун.

Разведчик верный, крылатый Рус, принёс однажды в когтях пушистого зверька.

Соболёк долго лежал бездыханный, а как очнулся, рассказал Ангаре тревожную историю о её матери Селенге.

— Выполнил я волю твоей матери, хоть путь мой был нелёгок и далёк: придёт к тебе на помощь богатырей неисчислимый полк.

— Спасибо, Атлас, мил-дружок, только мне не надо от них такой награды.

...А на другом краю земли, в Саянских долах, жили князь Бий-Хем с княгиней Каа-Хем. Веселье и достаток царили у них. Верная дружина и гостей, и верных друзей, всегда полная чаша. Рос у них сынок Енисей, добрый детина, пытливый разумом и сердцем. Пришла пора оженить сынка, разослали сватов и ждут весть от всполоха-гонца.

Вокруг Енисея всё вился сладкоречивый зверёк и манил паренька на восток; где живёт в плену у отца та, что затмит всех своею красою одна.

Сватались к Енисею знатные ханы, выставляя напоказ милых выпестованных дочек, закованных в золото, горностаевые меха, обшитые блеском серебра.

В ушах алмазы и изумруды, на шее перлов целы груди, на пальцах кольца из нефрита, и все запястья червлёными браслетами обвиты. Сандалии и унты, сапожки и банты — рой пёстрых расфуфыренных девиц, чуть взглянешь — очи сразу тупят вниз. Платочки потными руками перебирают и, покрасневшись, всё на жениха пеняют: — Ну, скоро остановит выбор свой, ведь в свите у него молодцы на подбор. Не он, так вон тот чернявый Онон или вихрастый Тунгир, а может, нарядный Амур или бесшабашный Газимур.

Многие принцессы поначалу приглянулись Енисею, но на поверку выходила одна сплошная маета, родительская воля или алчная нажива. Из сонма девиц выбрал для встречи всего шесть молодых. С каждой беседовал наедине на Поклонной горе Кум-Тигей в ажурной каменной беседке. По очереди входили туда они и всё плели амурные узлы как могли.

Всем хороша Бирюса, чиста и нежна, но, как лёд, холодна и бездушна. Игрива Кача, но глупа и норовиста без причины. Прельстила отвагой Тунгуска, но темны, как вода, помыслы её и жестоко сердце. Рачительна Базаиха, да больно горда и щепетильна. Вольна, как ветер, Хатанга, но груба и порочна.

Больше других приглянулась тихая Мана, скромна и вкрадчива; почти дал согласие затуманенный разум беспокойного парня...

Да подросла молодецкая вылазка в соседнее кочевое племя. Грабили ушкуйники простых людей, нападали и на Красный Яр, ханство славного Калыпа. Молодец Енисей с дружиной смелых парней долго охотились за разбойниками, да завели те их в земли неведомые, на берег седого священного моря с пресной водой. Разные слухи ходили об этих землях: мол, никто не мог ещё переплыть Байкал. Странные звери с круглыми доверчивыми глазами махали дружине своими короткими плавниками из кристально прозрачной воды.

Раззадорили друзья горячего Енисея, и он отважно поплыл один на челне через даль безбрежную, навстречу своей судьбе. Высоко в небе увидел орла, который крыльями из стороны в сторону помахивал, словно удачный путь указывал. Переплыл-таки молодец большую протоку, сел на камень смельчак-весельчак Енисей, затаил удалую песню, а у самого на сердце тяжесть и тоска. Перед расставанием подарил девице опаловое колечко, вроде больше ничего ей не обещал, но видел, как потянулся её трепет сердца к его душе. Но не дрогнуло ответной негой сердце паренька в тот миг, и сейчас думал о ней как о невесте своей, но при этом не пылал его взор, и во взгляде на бескрайнее озеро был укор.

И тут из-за зелёного холма появилась она — красавица Ангара. Вскочил он пружинисто, смело, и всё в нём вначале от изумления онемело, но вскоре затрепетало и запело при виде стройной девы, сотканной из тепла и света. Как будто из горного висока припожаловала сама Весна.

Ступает павою она по перелеску, проходит мимо, стан качает плавно, веско. Покатыми плечами расписной платок колышет, идёт, задумалась и ничего вокруг не видит и не слышит. У самой кромки водной плавно обернулась, взглянула пристально и грустно улыбнулась.

— Зачем пожаловали к нам, в забытый всеми край? Ступайте мимо вон через те ворота каменные, там есть проход в свободный, вольный Забайкальский край.

— Без тебя не пойду; или здесь пропаду, или вместе уйдём в новый край, — сам говорит, а голос дрожит.

Подошла ближе, встала лицом к лицу, впервые пришлось ей услышать такие дерзкие речи. Решила проверить, кем сказаны они (льстецом иль гордецом, простофилей иль мудрецом), и обратилась к нему: — Смелы твои речи, может от них слететь твоя голова с плечи. Да подобает ли говорить их не знамо кому, особенно деве молодой, не принадлежащей роду твоему? Посмотрим сейчас, не рассеет ли синий туман твой горделивый обман!

Махнула рукой, и вокруг них двоих не осталось ничего, только синь-океан да туч залётных целый стан. Пригляделась к облику парня

она: очи синие, как небеса, русский чуб, покатый лоб, красные уста, кучерявятся усы и пробивающаяся колечками борода.

Парень взгляда не отвёл и очей не потупил, а с теплотой и надеждой заглянул ей в распахнутую душу.

«Не может человек так бездумно звать,— подумала она,— ведь видно, что он честен и великодушен».

Протянул он ей руку, и она, не жеманясь, подала свою ладонь, и сразу пробежал меж ними яростной теплотой незатухающий огонь.

Потеряли его друзья. Но упорно ждали целый месяц, построив навесы-избушки от дождя. А у влюблённых началась горячая пора, никого не видят и не слышат они у брода вечерами до закатного огня. Как ни охраняли их от грозного глаза двое друзей, Рус с неба и Атлас с суши, прознал Байкал и вызвал нехотя молодца на смотрины.

Почувствовал силу и волю Байкал, пусть меньшую, но отличную от его разрушительной силы. Дал добро, но выдвинул три условия, которые передал на словах лось Камол:

— Подчинить свою волю безоговорочной власти Байкала, спорные решения всегда будут в пользу Ангары, жить на заповедном озере, не покидая его никогда.

Сразу отверг предложенные условия Енисей, впал в горькие думы и загрустил о встрече с ней, единственной своей.

Задумал недоброе злодеяние грозный отец. Поручил спуститься молодцу на дно пещеры за самоцветным рубиновым цветком, распутившимся в сокровищнице повелителя. Стараниями Ангары, при помощи Атласа, Руса и Камола, спасся чудом Енисей из коварных когтей Байкала. На лосе десять вёрст проскакал и встретился с друзьями у шаманских скал. Заметил беглеца Острец, но впервые не выдал своему повелителю тайну других, вспомнил за собой должок о спасённом Ангарой птенце, выпавшем из его гнезда.

Последняя встреча в курумнике у родительского родника. Енисей печален, на Ангаре нет лица.

— Пойдёшь со мной, будем вместе сердечно жить, создадим своё государство, без войн, обид и интриг,— зовёт он свою горлицу.

— Да будет так, но не пришло пока время. Собери всех своих, найди территорию для нового племени. За мной приезжай один через три года, три месяца и три дня. Время отсчёта пошло с сегодняшнего дня. Так надо, всё потом тебе объясню, надо выполнить мне последнюю материнскую просьбу одну.

Расстались у плакучей ивы на ветру, застыло от горя и сжалось Время на бегу. Друзья не пошли назад в стольный град, а пожелали Онон, Тунгир, Амур и Газимур дальше тронуться на восток, искать счастье своё за Синими горами. Первым нашёл приют Газимур, влюбился в Ингоду и прилёг отдохнуть в сосновом лесу. Второй — Онон: осел в ковыльных степях и пленённую Шилку-хохотушку выкрал у полоняна. Остепенился и Тунгир, с Олёкмой на высокой скале он

курёном зажил. Лишь отважный Амур дошёл до конца суши и нашёл своё счастье в богатой тайге с загадочной девой Уссури.

Долго не могла прийти в себя Ангара от бессилия и крепкой воли отца. Не смогла она к оговорённому времени усыпить бдительность сторожкого отца. Тогда был прокопан нерпами тайный лаз в воде через заповедный слой. Удача в ту ночь была на её стороне, проплыла она у них на спине, и дальше поскакала беглянка галопом на старом верном лосе Камоле. На оконечности Байкала вырвалась на волю на лёгком судёнышке по родительской заветной реке Селенге.

Вмиг узрел Байкал через силу посоха о коварстве Ангара и всю водную стихию обрушил на выход из реки: приказал сарме и баргузину гнать гигантские валы. Но даже они заступились за юную деву, прося отпустить её вниз по течению реки. Рассвирепел пуще прежнего Байкал от просьб, кинул посох вслед беглянке и попал остриём в талисман любви матери Селенги. Загородила она дочь заклятым камнем и потоком слёз, выпланных соляными кристаллами за все эти годы. Встретились на миг глазами старуха-мать, стоявшая на Шаман-камне, и дочь, проплывающая на быстром судёнышке от берега прочь.

Духом реки стала на время Ангара, поплыла вдаль на запад, стремясь встретить по дороге своего суженого Енисей. Утонул лось Камол, совсем чуть-чуть не доплыл до берега, верного орлёнка Руса смыла и погубила волна, только проныра соболь притаился в своей норе, мозгует, как помочь строптивой девчонке Ангаре.

До сих пор нет-нет да и проявится гордый нрав и сердечная верность в сибирских красавицах. Соболиные брови, миндалевидные глаза, царская осанка и стать. Это по крупницам щедро раздаёт своё «Я» прелестная река-красавица Ангара.

А Енисей, ища место под солнцем, попал в кольцо Саянских гор под родительский строгий надзор. Не послушался и он воли своего отца, и всё наследство перешло к другому — сыну брата Бий-Хема, коварному и злому Арджибею из богатых и знатных Ергаков.

И от Байкала весточка с Острцом пришла: не выпускать его на волю, пока беда в их края с востока не пришла. Байкал ещё надеялся, что дочка продурится и назад воротится. Вернулся с полпути старый Острец, повелитель сердец, и прокрался в башню к Енисею:

— Что дальше делать будешь? Ведь прошло три года и три месяца...

— Но осталось три дня и вера моя.

— Этого мало, чтобы счастье настало. Садись на меня, я домчу тебя до границы в три дня.

— Выбора нет, полетели, пока не замели метели и не заглушили свистки трезвонов свиристелей.

Летели два дня, и на третий на рассвете орёл проклацал кривым клювом:

— Не успели. Смотри, под нами вьётся лента-река — это и есть невеста твоя.

Сказал — и камнем упал вниз: то солнца диск лучевой стрелою горло прострелил коварной птице. Бестелесным духом пропустило в сверканье вод текущей Ангары, прозрачным потоком влился в Ангару славный Енисей. Как велика любовь, вода — и та все камни точит. То, что не произошло в жизни суетной людской, соединилось в душах двух любящих сердец, ставших духами двух рек.

Слёзы раскаяния седого старика Байкала снесли с него спесь и неприступность. Сошёл окончательно и бесповоротно с его вершин лёд, поселились там разные птицы, в воде — рыба, в окрестных лесах — звери. Но вода в нём хоть и очистилась, но до сих пор холодна и неприступна. Поздно понял Байкал, что ничьим советам не внял, когда посох кидал. В один миг проскочила и озарилась праведным светом вся его грешная жизнь. Но отвергнутое Время не повернётся вспять, хоть до неба валом на него вуаль напяль.

Есть вещи на земле посильней прихотей, да кто теперь всё это разберёт? Своих забот невпроворот. Утих Байкал, ушёл в глубь себя своими помыслами о прошлом и мыслями о настоящем — в нирвану.

Питают реки Ангара и Енисей обширный край, дарят любящим сердцам тепло и счастье. Ну а чем люди благодарят чистоту когда-то светлых рек? Чем они лучше в своей небрежности Байкала? Истребляют всё то, что даровано им чистой и вечной любовью.

Соединились в вечности Ангара с Енисеем, Стрелкою прочертив свой любовный порыв. Топят вечные льды, отогревают сердца и дикий заброшенный край под сполохи северного сияния. Поселились от всех вдали на их берегах добрые северные народы и выносливые северные олени, моржи и тюлени.

А у наших героев от большой любви родился сынок Кар. Создали они свой мир, недоступный до хищного взгляда, сокрытый глубоко в Карском море; без бед и невзгод живут там до сих пор...

*17 июня 2013*

Сергей Смирнов

## Ещё раз про собак, северян и северá

Маленькая повесть

*Северные собаки чувствуют: если человек поговорил с собакой,  
которая сидит в клетке,— значит, её нужно бояться.*

### 1. Походчане: люди и собаки

В устье Колымы, в селе Походск — казачьем поселении, существующем с семнадцатого века, потомки сборщиков ясака вывели за двести с лишним лет свою породу ездовых собак. Отбор был тщательный: оставались в живых только самые сильные, выносливые и умные. Даже розовоносых щенков уничтожали — так диктует закон выживания на Крайнем Севере, иначе не получишь породу настоящих помощников и сам погибнешь.

А вожака упряжки выбирали так: сажали слепого щенка на край ушата или таза, и если он не падал, проползал по всей окружности, показывая своё чёткое ощущение пространства, у него был шанс стать вожакком.

В нашем колымском посёлке собачью территорию вокруг пятиэтажки, в которой мы жили с женой, держал такой вот бывший вожак, звали его Джек. Шерсть у него была короткой, а окрас чёрно-белым, что характерно для колымских ездовых, хотя и напоминал пятнистую коровью шкуру. Глаза у Джека были жёлтыми, как у волка, грудь помужски широкой, а уши стояли как накрахмаленные.

А уж ум имел! Не всякий походчанин, то есть обитатель Походска, разбирался так в людских отношениях, как наш вожак, но, как любой местный житель, Джек был лукав до мозга костей. Не говоря о том, что прекрасно понимал человеческие жесты и речь.

Вообще же, походчанская лукавость граничила с детской непосредственностью. Лихая казачья кровь перемешалась здесь с чукчанской, юкагирской и эвенской, замешанной на тысячелетней способности выживать на суровом Севере любой ценой. Глаза у походчан чуть раскосые, а говорят они на поморском говоре. Во времена, когда в паспорте ещё была графа «национальность», у них было написано «местный русский». Скажите, что это не так, не соответствует действительности!

Вот две истории о походчанской находчивости.

Приехали, а в Походск летом можно только прилететь или приплыть, приехали как-то в это историческое поселение иностранцы, туристы

из Германии. Мэр посёлка Миша Суздалов накрыл для приёма стол под открытым небом, на берегу Походской виски — протоки, у первого походского дома. Маловероятно, конечно, чтобы он сохранился со времён Михайлы Стадухина и Сеньки Дежнёва, но должна же быть хоть какая-то достопримечательность, на которую можно было бы бронзовую табличку прикрепить: «На этом месте в тысяча шестьсот сорок... лохматом году был поставлен... первый похотский дом» (так раньше писали — Похотск).

Мишка Суздалов, мэр, речи говорит, на костре огромный котёл с осетровой ухой парит, солнце светит, наши самогон пьют, немцы вискарь, а комара лёгкий ветерок сдувает. Лепота!

Вдруг один бургер, самый, видимо, хозяйственный, через передчика спрашивает:

— А почему у вас на домах крыш нет?

Крыш-то двускатных общеизвестных и правда нет, крыша-то плоская, иногда ещё и земляная, в Походске же зимой, то есть в течение восьми месяцев, дождя не бывает, это каждый походский ребёнок знает.

Суздалов и ответил по-походски:

— Почему? Есть у нас крыши, мы их на лето снимаем, дома от сырости сушим.

Ну что тут скажешь — уел германца!

В другой раз сообщают походскому мэру: вылетает к вам на вертолёт иностранная делегация во главе с мэром канадского посёлка Белая Лошадь, хотят стать с Походском побратимами, так что принимайте гостей, как положено на Севере, по полной программе, не плошайте.

Надо сказать, что у походчан денег как таковых, бумажных, не было, всё через натуральный обмен, бартер, как тогда говорили. Рыбы колымской наловил, песка, россомаху добыл, сдал — получи мотор лодочный японский, или там видик корейский, или пуховку канадскую. Соль, сахар, спички, чай — в магазине под запись.

Сети и патроны рыбозавод давал. Осенью, после путины, немного денег уже настоящих, а иногда и валюты. А деньги брались вот от таких туристических и прочих визитов, от продажи местных сувениров, напильных из оленьих рогов и мамонтовой кости, — тут действительно площадь никак нельзя было! А если ещё и побратимы едут! Как встретишь, столько и получишь.

Суздалов не поленился, пошёл ещё раз вертолётную площадку оглядел, а площадка сделана из брёвен в три наката, кругом же хляби тундровые. Всё вроде нормально, да не всё. Вокруг площадки стоят старые заполненные сортиры — новые строят, а старые не ломают!

Вызывает мэр помощника, своего же родственника, в посёлке половина населения Суздаловых (предки-то из Ростова Великого и Суздаля):

— Так, Егор, давай подбери быстренько место под другую вертолётную площадку и не забудь сигнальные флажки переставить со старой площадки на новую.

Егор побежал, всё сделал как велели. И всё бы опять хорошо получилось, а забыл мэр предупредить по рации диспетчера о переносе площадки.

Вот подлетают иностранные побратимы к Походску, лётчики начинают заходить на привычную площадку. Флажков белых нет: ну мало ли — ветром сдуло, собаки утащили; в остальном всё по инструкции.

В это время мэр Суздалов достал выходной костюм и, стоя в одной рубашке перед зеркалом, пытался завязать галстук. И никак у него не выходило, занятие-то непривычное, забыл, куда что продевать, но галстук нужен, сказали же — по полной программе.

А тут вертолёт этот с буржуйами, и явно заходит на старую площадку, которая с сортирами.

Егорку вызывать поздно; пометался Миша по комнате, ничего яркого под руку не попало, не видит, что сам-то в белой рубахе. Он тогда выбегает на улицу и врывается в другую половину дома, где располагался медпункт. В медпункте молодая фельдшерица скучает. К мэру она неровно дышала и, его увидев, сначала обрадовалась, потому что он на неё как-то странно и пристально смотрел, и лицо у него было красное.

Но тут мэр заорал:

— Раздевайся! Халат снимай!

И несчастная фельдшерица увидела, что мэр-то без штанов! А Мишка Суздалов уже подскочил и начал срывать с неё белый медицинский халат.

— Не надо, Миша, я сама... — только и смогла пролепетать она.

Но Мишка уже вытряхнул её из халата и, размахивая им, как флагом, выбежал навстречу вертолёту.

Экипаж манипуляций с белым халатом не понял и приземлился посреди сортиров. А вот почему мэр Походска встречает иностранную делегацию без штанов и с разорванной женской одеждой в руках, а позади него на крыльце медпункта плачет полуголая фельдшерица, с него спросил чуть позже глава районной администрации. Ответ Мишкин народная молва не донесла, но, видимо, походчане относятся к выбору ездового вожака более ответственно, чем к выбору мэра.

Здесь мы вернёмся к нашим собачкам, которые, повторяю, могут вести себя по-человечески вполне разумно.

Так вот, в результате Джековых рабовладельческих замашек, когда каждая сучья дочь, попавшая на его участок, должна была выродить пять-шесть чёрно-белых пятнистых щенков, появилась на свет и наша Дана. У неё было два брата. Одного, похожего до неотличимости на Данку, назвали Дэн, а второго — Кузька. Этот второй, рыжий



и лохматый, видимо, произошёл не от элитного колымского семени; так у собак бывает, когда получаются в одном помёте щенки от разных отцов.

Кузьку взяли наши знакомые, и когда он подрос, оказалось, что он совсем неумён, за что и был посажен на цепь у входа в жилой балок. Там его благополучно и застрелили ловцы бродячих собак. Зачем они так поступили — неизвестно: были, вероятно, пьяны и цепь с ошейником просто не заметили.

Дэн же через наших соседей попал в Походск, да не к кому-нибудь, а к тому самому родственнику мэра, Егорке Суздалову. И когда Егорка заснул пьяный с зажжённой папиросой, задымился матрас, да и трусы на нём начали уже тлеть, Дэн ухитрился разбудить весь двухэтажный подъезд и тем спас и людей, и имущество.

Походские поняли: Дэн, хоть и небольшого роста, и уши у него висят, как у дворняги, всё-таки настоящий колымский и не подведёт, — и отправили его пасти оленей. Если труд оленевода можно назвать собачьим, то труд собаки-пастуха по количеству ответственных решений приближается к человеческому. Хотя мне не хотелось бы полностью отождествлять разум человеческий и собачий, иначе пришлось бы сказать, что походчане умны, как их собаки.

Дэн научился управлять оленьим стадом и даже охранял его от нападений полярных волков, нисколько не тушуясь перед хозяевами тундры, несмотря на свои маленькие размеры.

У всех полевых колымских собак есть своя биография и послужной список. Ни один колымчанин не бросит собаку в тундре, если она к нему прибилась, и не важно, узнал он её или нет: не только люди, но и собаки здесь считанные.

А если пёс потерялся, отстал, скажем, от снегохода и не знает, где искать хозяина, то обязательно вернётся в то место, откуда они вместе начали путь. Так научены колымские собаки.

Ни один походский пёс, встретив в голимой заснеженной тундре человека, не оставит его. Он вежливо дожждётся, пока человек не поговорит с ним, не задаст несколько обычных для тундровика вопросов: что ты здесь делаешь, где твой хозяин, как же тебя зовут, и не брат ли ты той суки, что живёт на Малой Курьшишке в двадцати километрах вверх по течению от бухты Трояна? И обязательно даст псу чего-нибудь «на зуб». Если «на зуб» нету, то честно скажет: «Извини, брат, сам сутки не жрал, к вечеру что-нибудь добудем».

После этого они становятся друзьями на всю жизнь. Когда нарты трогаются, пёс становится позади них и, вывалив язык, будет бежать за ними хоть двадцать, хоть тридцать километров, стараясь наступать на твёрдый след полоза, пока новому хозяину не надоест смотреть на болтающийся до наста язык и они — хотел сказать: не поменяются местами. Нет, конечно. Хозяин есть хозяин. Один хозяин поведёт снегоход, а второй, для собаки главный, встанет на концы полозьев

и ухватится за верёвки, утягивающие груз, а пёс займёт его место, свернувшись калачиком, на заднике нарт. Оба будут ехать, у обоих будет прекрасное настроение. И даже через много лет они узнают друг друга, если судьба разъединит их.

Так что дело не в уме, а в том, что они — тундровики и, значит, равны по колымской крови.

Так и Дэн, отличившись на пожаре благодаря своей природной сообразительности и храбрости, влился в плотные, виляющие хвостами ряды уникальных колымских собак. Слава о нём достигла и села Колымского, расположенного в двухстах километрах от побережья, где в Колыму впадает дикий красавец Омолон, из которого мы с Боцманом вышли, наконец, на широкий плёс, после ста километров омолонских перекатов и стремнин, прямо к избам.

Было часов пять утра, до открытия заправки (бензину в баке оставалось от силы на полчаса) ещё часа четыре. Мы поклонились по пологому берегу. Не очень трезвая пара, мужчина и женщина, спросили, нет ли у нас одеколону. Мы ответили по-колымски вежливо: — Одеколон сами давно выпили. Если б был, конечно, предложили бы...

Разозгли в лодке примус, попили лёгкого чифирия, чтоб не заснуть на ходу, заели его солёным хариусом.

У отмелого берега колыхались привязанные к буйкам лодки. Солнце, отражаясь от воды, играло на их натруженных бортах в присохшей рыбьей чешуе. Подошла ещё лодка, колымские начали таскать на берег бутор. Далековато было, один подбрёл в поднятых сапогах, кинул мешок с сетями к нам на капот, закурил и начал: откуда идёте, что здесь делаете? Заглянул в лодку, увидел Дану.

— У-у, собачка! Что-то знакома ты мне.

Перегнулся, погладил. Данка невозмутимо покосилась в его сторону. — Нет, — говорю, — это не Дэн, это его сестра Дана.

— А-а, я уж подумал, чего это Дэн здесь делает, он в Походске же должен быть.

Напоминаю читателю разговор тундровиков: где твой хозяин, как тебя зовут и не сестра ли ты того кобеля, который Егора Суздальова от смерти спас?

Это уж совсем лишний вопрос, и так всё ясно.

— Так что же ты тут сидишь? — в недоумении сказал парень. — Сразу бы сказал. Бери канистры, пойдём бензина дам. Сколько тебе нужно?

Данке мы, конечно, кусочек сахару отслюнили.

## 2. Колыма плохих не забирает

...Когда Дана подросла, мы стали отпускать её одну погулять. Жили мы на пятом этаже, и она сама открывала внизу дверь подъезда, с лаем выскакивала во двор, это было слышно и на пятом, а уж обратно её впускал тот, кто входил в подъезд.

Джеку Дана очень нравилась, он ведь не знал, а скорее всего, забыл, что она его дочь, и переселился в наш подъезд. В краю охотников и рыбаков у него всегда было что поесть. А попить...

От собачьей чумы, например, было одно спасение — водка. Пятьдесят граммов — и собака, проспавшись, оживает. А иногда и спать её не уложишь, будет пьяненькая рядом сидеть и участвовать в разговоре. Что поделаешь, если олений ветеринар знает чумку только по книгам, да и то забыл давно её симптомы, потому что колымчане сами лечат своих собак.

...Потом у Даны родились щенки. Она сутки не выходила из квартиры, боялась оставить их одних. Как она могла догадаться, что всех пятерых ей выкормить не дадут? Наверное, через походскую кровь.

Сколько чувств было в её взгляде, когда, вернувшись, она застала только двоих.

Это были Бич и Маруха, их удалось пристроить к знакомым с большим трудом, хотя по всему обличью и характеру они имели настоящую колымскую родословную. Бабушка, правда, была американским спаниелем, но какое это имело значение, если Дэн и Дана уже были в почётных списках?

Бича сбила машина, а Маруха-Маруся показала характер, не поладила с женой хозяина, та её и заказала. Узнали мы об этом только через полгода и перестали общаться с этими знакомыми.

Джек по-прежнему жил в нашем подъезде, теперь они с Даной оба выскакивали на улицу, пугая прохожих и чуть не сбивая их с ног. Джек, между прочим, при своём весе килограммов в шестьдесят легко догонял лайку-западницу, лёгкую, как пружинка. Вот тут и поймёшь, какая мощь таится в бугристом теле ездового пса!

В общем, была у них некая семейная идиллия, и фантазия у Даны разыгралась не на шутку. Вернулась она с прогулки, тявкнула под нашей дверью: «Я пришла!» Открываем. На пороге стоит Дана: голова набок, уши домиком, короткий хвост в сторону, — поза подобострастная, что-то задумала и просит. Позади неё Джек. Оба улыбаются.

Мы всё поняли. «Привела вот мужика, будем все вместе жить».  
— Ну ладно, — жена говорит, — проходите.

Заходят, а Джек хоть и в первый раз, но идёт как локомотив, не сдвинуть с пути. Обычно, как ни зови, никогда порог не переступит. Дана вокруг него вьётся, глазами показывает: вот еда, вот вода, вот тебе лежанка.

Джек есть не стал, лакнул воды, лёг в коридоре. Дана ещё раз подбежала к нам на кухню, вся извиваясь, ещё раз прощения попросила — и к Джеку.

Мы сидим, на них смотрим, они лежат, смотрят на нас. Что же делать-то будем с вами, черти шерстяные?

Наконец, у Джека глаза потухли, он попытался развалиться, но места не хватило. Вдохнул, встал, подошёл к двери: выпускай меня,

тесно тут у вас и душно. На прощание оглянулся, помахал хвостом. Дана положила голову на лапы и стала о чём-то думать, поводя глазами.

Семья их после этого не только не распалась, но и как бы влилась в нашу. При этом Джек взял на себя функцию главы этой обобщённой семьи.

Когда мы шли в магазин, он всегда сопровождал нас, посматривал по сторонам, отгоняя чужих собак, особенно кобелей, и, не боясь, проходил через чужие собачьи территории. Незнакомым мужчинам тоже нельзя было приближаться к нам. От одного его грозного вида люди просто шарахались в сторону. Урезонить Джека было невозможно: он так решил, он взял нашу охрану на себя.

Возвращаюсь из десятидневной командировки, звоню жене, чтобы встретила в аэропорту с санками (что-то громоздкое привёз, и, кстати, такси в те времена в посёлке не было, а из частного транспорта насчитывалось всего два легковых автомобиля, «Жигули»!).

Прилетел — ни жены, ни санок. Дотащился до дому — идти-то метров пятьсот, а сам думаю: что же случилось?

Перед квартирой лежит Джек, смотрит на меня исподлобья.  
— Джек, твою мать, дай пройти!

Нехотя встал, отошёл и смотрит.

Открывается дверь, жена осторожно выглядывает, на глазах слёзы...

Оказывается, собралась она меня встречать, выходит с санками, а Джек лобастой головой обратно её в квартиру запикивает. Она ему с удивлением: ты что, охренел?! Тогда он встал в полный рост, положил лапы на плечи и затолкал её туда окончательно. И рыкнул напоследок.

Вот так. Смысл был понят однозначно: мужик-добытчик корм добывает, а ты что же, сучка, нарядилась, значит, на гулянку собралась? Нет, дорогая, дома сиди и жди!

Конечно, это уже был перебор. Стало понятно, что собаки садятся нам на шею и скоро начнут воспитывать, как щенков, по своему собачьему разумению. Пришлось взять палку и показать её Джеку с такими словами:

— Не смей лезть в наш дом и нашу семью! Ты собака, а не человек! Будешь лезть — получишь у меня! Уходи, знать тебя не хочу!

Джек в глаза не смотрел, но и голову не отворачивал, слушал — и на следующий день перебрался на другую площадку, а потом и вовсе ушёл. Видели мы его только во дворе и по-прежнему вместе с Данкой. Он делал вид, что нас не замечает, даже не нас, а меня.

И вот однажды — стояли с женой возле подъезда, болтали с соседом — мы встретились с ним глазами. Джек стоял выше нас, на следующей уличной террасе, и сразу напрягся, сделал стойку, уши торчком, и, не отрывая взгляда, побежал сверху вниз прямо на меня, набирая скорость.

Ни на мгновение нельзя было представить, что он сметёт нас — не ёлочные игрушки, но он мчался, как болид, высоко подняв голову. В последний момент стало понятно, что он всё-таки смотрит куда-то мимо и пробежит, едва задев нас кончиками ворсинок.

Нога моя непроизвольно выдвинулась назад, Джек споткнулся об неё и с обиженным визгом улетел под дом, затерявшись там между сваями.

Да, отомстил ему по-человечьи...

Так закончилась эта свадебная история. Не знаю, кто здесь прав, кто виноват, но Джека нам не хватало, и через год общение наше дружеское возобновилось, когда Джек какими-то своими собачьими путями познакомился с нашим другом штурманом Путовым.

Путов закончил владивостокскую мореходку и в двадцать два года приехал на Колыму служить морской геологии в качестве третьего помощника на геологическом судне «Ильменит».

Досталась же штурманцу такая фамилия — Путов!

Красавец-блондин с голубыми глазами, Путов имел добрый нрав и лёгкий до непосредственности характер. Женщины и особенно собаки любили его. Джека он называл Рыжим, тот сразу превращался в маленького игривого щенка, хотя по собачьему возрасту был в два раза старше Путова.

А штурман вёл себя иногда совсем по-детски: опаздывал на рейс, догонял потом на гидробазовском лоцмейстере. Ломал не вовремя руки и ноги и не умел гнать самогон.

Однажды, в Колымском заливе, наша маленькая самоходная бар-жонка «Восток-37» водоизмещением двадцать пять тонн шла по гео-физическому профилю, тащила за собой кабель полтора километра длиной. На мачте у неё висел чёрный шар (по-морскому «корзина»), что обозначает на судоводительском языке: стеснён в манёвре, делаю работу, прошу уступить курс. Огромный сухогруз немедленно встал и начал запрашивать по шестнадцатому рейдовому каналу координаты «блочки с корзиной». На барже переговорного устройства не было. Да, честно говоря, не было на ней ничего, кроме магнитного компаса и геологической рации «Ангара», диапазон которой не соответствует диапазону судовых радиостанций. На сухогрузе сообразили, что связи нет, применили морзянку прожектором, потом и полузабытый флажный семафор. Путов путался и в морзянке, и в семафоре.

Наконец, определив координаты, он послал их по геологической связи в посёлок Батагай, находящийся в полутора тысячах километ-ров от побережья Восточно-Сибирского моря. В Батагае, в нашей геологоразведочной экспедиции, был настоящий полярный радист, который и передал эти координаты на сухогруз.

Радости от этого на сухогрузе не испытали, потому что штурман Путов ошибся на несколько градусов по широте и загнал «Восток-37»

почти на восемьсот километров севернее, почти к Северному полюсу. Огромная лайба постояла-постояла да и пошла своей дорогой, некогда ей с дураками разбираться. А Путов, смущённо улыбаясь, объяснил своему капитану, что виноват во всём секстан, у которого открутился и выпал какой-то винтик, а карт навигационных на борту нет!

Страсть к выпивке тоже портила штурманскую карьеру и отношения с молодой женой. Светка обижалась, уезжала к родителям на Зелёный Мыс; Путов тут же бросал пить, ехал к ней мириться. Однажды она сумела выстоять целый месяц. Примирение собрались праздновать в общаге, в путовской комнате, на праздник Первого мая (Путов ухитрился ещё и родиться в этот день!). Накрыли стол, приехали Светкины родители, светит солнце, тепло — чудесное настроение! Налили по первой... В этот момент в стенном шкафу взрывается трёхлитровая банка браги, приготовленная штурманом к следующему празднику. Дверцу шкафа вынесло взрывом, осколки стекла застряли в дереве, словно в шкафу снаряд разорвался, а незрелым напитком обдало всю честную компанию. Но примирение всё-таки состоялось. Отходчивы колымские женщины, в отличие от колымских капитанов!

В общем, оказался наш герой на должности шкипера-моториста-рулевого, то есть единым в трёх лицах, на «адмиралтейце», катере с деревянной палубой, на котором адмиралы объезжают свои эскадры, — и был в этом определённый престиж и свобода. Но... всё-таки не в единственном числе — пассажиром и товарищем на реке стал ему Джек. Вожак прекрасно переносил качку и очень любил лежать на крыше рубки.

Получился из ездового пса колымский матрос!

Но в свой последний рейс Путов ушёл без Джека...

«Адмиралтеец» вернулся с низовьев тёмной сентябрьской ночью, встал у аэропортовского пирса и через полтора часа загорелся. Пожарные, тушившие его, останков штурмана не обнаружили, и все решили, что Путов, боясь наказания, ушёл «в бега».

Так прошло три дня. И никто не сопоставил, что всё это время чёрно-белый Джек лежал на пирсе, никуда не уходил, не ел и не пил — знал, что хозяин его здесь, среди покорёженных, закрученных в спираль шпангоутов.

Погиб наш штурман Путов, добряк и «приколист», став свидетелем чужого преступления.

Если бы Джек был человеком, он, быть может, отомстил бы за эту смерть. Он же знал, кто уходил с Путовым и кто последним покинул катер перед пожаром.

Мы тоже их знаем. И даже в лицо. Но живём по человеческим законам. Как колымские собаки.

В тех местах в таких случаях говорят: «Колыма плохих не забирает...»

### 3. Камень счастья

...Сколько же мы проплыли и прошли с Даной колымскими реками и протоками, таёжными дебрями и тундровыми равнинами, и в жару, и в дождь, и в снег!

Больше, конечно, в сырости и холоде.

Ночевали в палатке и без.

Сколько съели вместе мяса и рыбы, в переводе на соль — несколько пудов.

Всё-таки мы прожили с Даной почти десять колымских лет.

Нельзя жить на Нижней Колыме и не заниматься рыбалкой и охотой, не ездить в тайгу и тундру за ягодой и грибами. Да, в тайгу, здесь есть даже такой станок под названием Край Лесов.

И, по долгу моей бродяжьей души и профессии, нужно было ездить на буровой участок, лететь и плыть в «поля» — то «копытить» плейстоценовую фауну и мамонтовую кость, то собирать самоцветы, а то и просто идти куда глаза глядят и идут ноги, просто чтобы идти.

И, конечно, вернуться.

Как-то вертолёт Нижнеколымского совхоза забросил нас с моим другом Серёгой Давыдовым и Даной в верховья Хомус-Юряха. И без перевода понятно: Хомус-Юрях — Поющая река. Течёт он, извиваясь, прямёхонько на север, к океану, и поёт, и зовёт, и олени идут за ним и вместе с ним. И нас позвал. Но главный юкагирский дух Байанай, хозяин тайги и тундры, видимо, был этим недоволен, прогневали мы его чем-то, не плеснули водки в костёр, не приложились перед дорогой к уму и сердцу, и он наслал на Холерчинскую тундру такую непогоду и мокрядь, обрушил на нас с небес такую массу воды, что Хомус-Юрях увеличился раз в десять, начал смывать собственные берега и сбрасывать на нас гигантские блоки мерзлоты с растущими на ней кустами.

Тундра на склонах, стоявших и сто, и двести лет, напиталась водой и съехала к самой реке, обнажив сотни и сотни квадратных метров вечной мерзлоты.

Это был катаклизм. Нечего было и думать искать в этой глубокой и мутной воде мамонтовые бивни.

У нас было две маленьких лодки: половинка от плавучей дачи «Дон» — дюралка, напоминавшая квадратный таз, с восьмисильным «Ветерком», и резиновая «трёхсотка» на буксире. Мы сплавились к месту, где нас должен был забрать вертолёт.

Через неделю Серёга заболел, поднялась температура. Он отлёживался в спальном мешке, а мы с Даной поехали проверить озеро в километре от Хомус-Юряха.

Но не доехали. Наверху, в оползевом цирке, паслись три оленя. Данка первая увидела их и вытянулась в струнку, ловя запах. Стрелял навскидку, направив наш утлый «тазик» в берег. Дана продралась сквозь прибрежные кусты, а я долго месил няшу на топкой отмели,

зная наверняка, что попал. Сверху раздалось грозное рычание, потом собачий кашель, чихание и снова рык — Данка давилась оленьей шерстью. Никогда не думал, что такая маленькая и мирная собачка может с таким ожесточением терзать убитого оленя.

Как уж мне удалось в одиночку загрузить его в «плавучий тазик», не знаю. Первое, что я крикнул, когда квадратная лодка ткнулась в берег у палатки:

— Серёга, вставай, мы с мясом!

И болезнь Серёгина тут же отступила.

Разделали, поставили вареву. Данка наелась сырого, живот у неё отвисал почти до земли. Она нашла оленью трахею, взяла её в пасть наперевес, встала на бугорок и сытым прищуренным глазом оглядывала окрестности: «Куда бы спрятать то, что не помещается в желудке?»

Медведя она тоже почувствовала первой. Ветер раскачивал и пригибал кусты. Данка бегала вдоль них, замирала, поджав левую лапу (знак внимания!), и смотрела внутрь кустов.

Через полчаса мы увидели клокастый медвежий бок, медленно проплывший в прогалине. Дана внимательно смотрела туда же. Но не рычала, не проявляла особенных признаков тревоги. Может, для неё эта встреча была обычным делом?

За два часа медведь прополз за кустами метров сорок — как только не заснул там? — и вывалился в сторону берега, то есть к нам. Шерсть на загривке у Данки встала дыбом, она поднялась на цыпочки, стараясь казаться больше, угрожающе зарычала и... пошла навстречу медведю. Голова его была плоской и размером со средний телевизор, с боков свисала не вылинявшая грязно-жёлтая шерсть.

— Дана, нельзя!

Как я мог не остановить её?! Ведь пошла бы! И вцепилась бы в косолапого! И драла бы его, как того оленя! И, может быть, погибла бы... Но духом она была выше медведя!

Вот что такое колымская кровь, вот что такое колымская собака!

Наконец-то мишка понял, что мы, люди, не одни, а под собачьей защитой, и в долю секунды исчез в кустах — глазом никто моргнуть не успел.

...К звуку выстрела Дана привыкла с детства, но что это означает и что положено делать собаке после него, она понять никак не могла. Не реагировала Данка и на палку, брошенную в воду, не знала команды «апорт». Я уж готов был сам плыть за подстреленной уткой, и собачка смотрела на меня с сожалением: ты плавать-то умеешь? — изображая активную деятельность, но не ту, которую бы мне хотелось, — кидалась в одну сторону, оглядывалась, бежала в другую, делала вид, что нашла в траве чей-то запах и готова ринуться по следу. Дурачила, одним словом.



В общем, с доставкой водоплавающей дичи к ногам охотника было очень плохо, да просто никак.

Но вот однажды маленький наш отрядик забросили в глухую тайгу в верхнем течении реки Седёмы, левого притока Колымы, для сбора камнесамоцветного сырья. Река эта всегда славилась своими агатами и сердоликами.

Мы готовились к сплаву, проверяли ещё раз резиновые лодки и снаряжение. На второй день где-то далеко послышался собачий лай, и через некоторое время из тайги вылетела четвёрка разномастных собак, решивших, видимо, проверить, кто это забрался на их территорию и ведёт себя так по-хозяйски. А ощущали они себя в тайге вполне непринуждённо, видно было, что это хорошо организованная ловчая команда.

Колесом пройдя сквозь лагерь, собаки съели Данкину похлёбку, дав ей небольшую взбучку, со звоном перевернули наши кастрюли и скрылись в лесу. Но не ушли, а наблюдали за нами. И когда мы вышли с Володей Лосяковым на охоту, тут же примкнули к нам. Они встали цепью, причём Данку без колебаний поставили в середину, и она стала делать то же, что и все: искать дичь.

На повороте реки вся цепь — а мы, люди, тоже были её частью — упёрлась в речной затон с голубой прозрачной водой, сквозь которую видно было скальное дно. В затоне плавали крохали, упитанные, довольно крупные утки с цилиндрическим клювом, из-за него многие считают их куликами. Известна такая их повадка: скрываясь от опасности, они ныряют на дно, хватаются клювом за подводную траву и ждут, пока не минует опасность. Могут задохнуться, но не вынырнут!

Собаки спокойно встали на берегу затона, поглядывая на крохалей и на нас: «Ну, что тянете? Стреляйте!»

После выстрелов собаки бросились в воду и вынесли к нашим ногам четырёх крохалей. К моему удивлению, Дана тоже полезла в воду, оглядываясь на собратьев, и вынесла пятого крохалю на берег, только противоположный. И всё равно — чудо свершилось, Данка поняла, что нужно делать со сбитой птицей. К ногам не приносила из гордости, но берег с тех пор выбирала правильно.

То лето было засушливым, насколько оно может быть сухим на Севере, тайга горела не переставая. Нас перебросили на приток Седёмы, медленный одряхлевший Кыллах. Сплавной экипаж состоял из трёх человек. По очереди мы тащили бечевой две наши «резинки», связанные между собой, загруженные бутором и мешками с сердоликом. Воздух пах гарью, дымом, который то редел, то сгущался, не давая дышать полной грудью, — за месяц сплава мы ни разу не видели солнца. Петляя вместе с рекой, мы не задавались мыслью, где восток или юг, определиться можно было только по карте с помощью компаса. Мы не знали даже, какое расстояние покрываем за день, за

двенадцать-четырнадцать часов перехода. Мы бездумно шли за текущей водой и подбирали с речных кос медовый, оранжевый, красный полупрозрачный камень сердолик, камень, который приносит счастье.

Данка же занималась своими собачьими делами, челночила по тальниковым дебрям. Из всей живности, на которую можно охотиться в колымской тайге, она предпочитала зайца. Заяц-русак зимой не чисто белый, как беляк, а с серыми боками и раза в полтора-два побольше беляка. Бегущий заяц напоминает катящийся шар, задние лапы выбрасывает далеко вперёд, а передние остаются за хвостом. Делает он это совершенно непринуждённо, бег его лёгок и на первый взгляд нетороплив, но собаке, гонящей русака, приходится выкладываться из последних сил, и я не разу не видел, чтобы Данка смогла догнать ушастого. Заяц держит расстояние от гончей два-три метра, не понимая, что это как раз то расстояние, чтобы охотник не попал дробью в собаку. По крайней мере, я никогда этого не сделал.

За дневной переход Дана выгоняла из тальников на песчаные косы двух-трёх зайцев, этого хватало и нам, и ей, проблем с питанием у нас не было, тушёнка оставалась неприкосновенной, неизвестно же было, когда нас заберут и откуда, и заберут ли вообще: по стране широко шагала перестройка! Могла благополучно переступить и через нас, трёх заросших бородами, пахнущих дымом и потом бродяг, ищущих камень счастья.

А деться-то нам из русла Кыллаха действительно было некуда: кругом озёра и болота. Только Байанай вместо воды дал нам на этот раз другое испытание — огонь! Ну а кому-то из нас — и медные трубы!

Каждый вечер в песок втыкались два шеста, на которые надевалась палатка, и первая растяжка привязывалась к колышку. Дана тут же, подумав некоторое время, вычисляла место, где будет установлена печка, и ложилась туда, свернувшись калачиком. Мышцы у неё, видимо, дёргало, как и у нас, от усталости и речной сырости. Она дремала, вздрагивая, и приоткрывала глаза, чтобы не пропустить ужина из зайчатины.

Заячьи шкурки и головы я выбрасывал в кусты, одного зайца делил строго пополам:

— Ну, Дануся, половину съедаеть сегодня, другую завтра утром. Поняла?

Данка, покачиваясь, тыкалась головой в руку: «Не дурочка, чай. Давай мясо-то, видишь, с ног валюсь!» Наверное, этот собачий жест обозначал ещё и благодарность, но я был не менее благодарен ей за удачную охоту, трепал по голове, а полтушки относил на траву, чтобы Данка не скрипела на зубах песком. После ужина она незаметно проходила в палатку, где уже трещал в печке огонь, и ложилась.

Утром Дана забирала вторую половину зайца, быстренько с ней разбиралась. Стояла, думала, облизываясь, потом шла в кусты, куда

я выбросил головы, и съедала их тоже вместе с шерстью и пухом. Мне это было непонятно:

— Ты что, не наелась? Хочешь ещё чего-нибудь? Зачем шерсть-то есть?

Но она так аппетитно хрустела там, в кустах, что я сообразил: «Это удовольствие! И не надо мне его портить!»

Старшим в группе был Константиныч, за глаза и в глаза его называли «пенёк самоходный». Много лет он работал на геологической съёмке и был прекрасным ходоком. А вот почему «пенёк»?..

Ставим лагерь, подходит Константиныч и говорит:

— А скажи-ка ты, мой юный друг, где у нас север?

А мы же все промокли и устали — и тут такая прыть!

— Зачем тебе, — говорю, — север? Мы же на юг идём. А за картой лезть не хочется.

— А ты так, без карты, можешь определить?

Ясен пень, могу: дело к ночи, значит, солнце почти на севере. Показываю пальцем в светлую часть небосвода:

— Вот север.

— А вот и нет, — радостно сообщает Константиныч, — как раз наоборот, — и поднимает руку; в руке у него горный компас, и он торжественно суёт его мне под нос.

Смотрю на компас: да быть такого не может!

— Ты, Константиныч, по какому концу стрелки север-то искал?

— Как по какому? По этому!

Скажу по секрету, южный конец магнитной стрелки в горном компасе всегда обмотан тоненькой медной проволочкой, а северный покрашен белой или красной краской. Видимо, в том компасе он был покрашен красной, и наш старшой решил, что это южный конец, а подумать... а подумать не додумался.

Третий наш товарищ по сплаву, Егор из Среднеколымска, так развеселился, что бросил топор и сел перекурить.

— Эх ты, пенёк самоходный! — хохотал он. — Север с югом перепутал!

Егору компас ни к чему, компас у него в голове.

Но Константиныч почему-то обиделся именно на меня.

— Знаешь что, — сказал он, — ты зайцев больше не стреляй, надоела зайчатина.

— Во-первых, — отвечаю ему, — Данке тоже нужно что-то есть, и она себя кормит, а заодно и нас, а во-вторых, пойд и скажи ей, чтоб выгоняла только одного зайца, а не трёх. Может, она тебя и послушает.

Старшой наш по-начальственному надулся, а на следующий день опять мне выговорил, когда мы с Данкой добыли для неё зайца.

Ну что ж ты, действительно, пенёк-то такой?! Подстрою, думаю, тебе каверзу.

И утром я ушёл далеко вперёд от нашего каравана, Дана тут же подгоняет косога. Кладу его на песок, голову на две рогульки, чтоб не

падала, лапам придаю естественное положение. Посмотрим, пройдёт ли Константиныч мимо такой мишени, сам же с ружьём ходит! Нарушит ли свой глупый приказ?

И в этот момент слышу страшный треск в тальниках, как будто кто-то огромный выбирается на косу. Ружьё переломлено, пустую гильзу вынул, а целый патрон не загнал, зайцем занимался. А Дана обратно в чашу вернулась и опять, видно, кого-то нашла. Думать нечего, закрываю свою «вертикалку», один-то выстрел у меня есть, хоть и мелкой дробью, из верхнего ствола.

А этот огромный и страшный — гусь-гуменник! Как он сквозь ветки и сучья продрался с такими крыльями? Уже взмыл над речкой и потянул на ту сторону.

Патрон один, попал я в гуся, упал он на другом берегу, а там обрыв метра в три. Обошли с Данкой по перекаату — и к месту падения, где трава по пояс. Гуменник ранен легко. Как крыльями полутораметровыми махнул — трава легла, словно под вертолётom! Дана боится, вернее, не знает, что с ним делать, как ухватить. Кое-как загнали в куст, взяли, несущего за шею — и жалко, и что теперь делать...

Данка на ходу кусает его за лапы, за перья, проверяет, жив или нет. Так она и зайцев добирала, быстро и деловито давила за грудную клетку, как это делает соболю, останавливая у добычи сердце.

Гусь — молчок, клюв на замок!

Ну а я... Дёргал, дёргал гуся за голову, да не додёргал, так и бросил его к зайцу. А гусь взял и полетел! Крыльями машет, добежал до речки и нырнул. Данка по берегу бежит как-то по-бабьи, на меня оглядывается: «Что делать-то, хозяин?!»

Кричу ей:

— Дана, ко мне, назад!

Стрелять не могу, боюсь в собаку попасть, а та в азарте сама уже в воду полезла.

В общем, только четвёртым выстрелом достал гуменника.

А Константиныч после этого перестал нас с Данкой своими распоряжениями донимать. Думаю, по зайцу тому выстрелил бы, не удержался. Ревность это была охотничья...

Доплыли мы, наконец, до места, где нас должен был вертолёт подобрать, по пути оставили два склада с сердоликом, отметили их, как положено, на карте. Палатку Константиныч поставил посреди речки, на осередке. Остров галечный, высотой сантиметров двадцать — вода низкая к осени. Пожары поутихли, небо синее осеннее появилось. Тепло, и дров полно. Сидим, кашу варим, тушёнка же в НЗ — неприкосновенном запасе. А уходить на охоту из лагеря нельзя и делать нечего — просушились, отоспались, снаряжение собрали, упаковали к транспортировке. Кошмы и матрасы из палатки вытащили, лежим на пляже, чуть ли не загораем.

Данке тоже скучно: побегает, полежит, опять побегает, подойдёт, встанет рядом, нос против ветра, прокачивает запахи. Лежу, рассматриваю её внимательно: вот мордочка — под чёрной шерстью, думаю, лицо женское, привлекательное, я бы сказал — красивое! Вот ушки — развеваются на ветерке, как вуалька на шляпке; вот лапки, пальчики короткие; думаю: как же неудобно ими что-то брать или обнять кого-то. Вот глазки, карие — и такие родные, такие понимающие и любимые...

— Дана, ах ты, женщина моя шерстяная...

Данка понимает, посматривает на меня: может, на охоту?

— Нет, Дануся, на охоту нельзя: вдруг вертолёт прилетит, а мы в тайге?

А сам думаю: а я-то ей каким кажусь? Наверное, ленивым, медлительным и скупым на ласку.

На третий день и правда прилетает «вертушка», что-то долго висит над лагерем, потом осторожно садится. Начальник предприятия выпрыгивает чуть не в воду, долго что-то орёт в ухо Константинычу, но не потому, что командир движки не глушил, — по жестам и мимике начальника понятно, что он недоволен: плохое место для посадки, вертолёт на глазах погружается, продавливает насыщенный водой галечник на осередке.

Командир сказал: лагерь не перенесут — домой пешком пойдут. И то — прав командир! А Константиныч, пенёк самоходный, тоже начальник, упёрся, и всё тут: не буду лагерь переносить; ты меня, полевика, за кого держишь?

Сидим дальше, вода убывает, по ночам заморозки. Вдруг ночью плеск, да какой! Стадо сохатых, что ли, по реке скачет? Нет, хариус спускается, покидает мелкие речки перед ледоставом, промёрзнут же они до дна.

Вылезли из тёплых спальных мешков, наловили хариуса килограммов под сто. Ночи уже совсем тёмные, луч фонаря пробивает воду до дна, а воды по колено, и в ней чёрные спины с плавниками, идут и идут, и все головой в одну сторону, на юг.

Нам бы тоже пора, да пешком не пойдёшь.

Хариуса закоптили, подвялили; вертолёта нет. Не выдержали мы всё-таки, пошли бродить по окрестностям. Рассчитали с Егором так: звук вертолёта будет слышен минут за десять-пятнадцать; пока он на посадку зайдёт, пока бутор закидают — ещё минут пятнадцать-двадцать, — значит, медленным шагом можно за полчаса от лагеря уйти.

Ну и разошлись: Егор вверх по течению, я вниз. Константиныч при этом сказал, что за нас не отвечает. Ха-ха, боялся, что заблудимся!

В одном месте брод оказался глубоким, болотные сапоги пришлось за уши держать и ещё на цыпочках идти, почти плыть. Дошёл до листовенничной рощи, корабельные стволы метров в сорок шумят кронами, подлеска нет, тропа сохатиная через рощу глубиной метра в полтора.

С краю юкагирская могила на двух столбах, переладины вырезаны в виде лодок, на которых душа усопшего уплыла к «верхним людям», на лодках колода приоткрытая, и кажется, что кто-то здесь есть, кроме нас с Данкой, смотрит в спину и в лицо, смотрит отовсюду. Недобро смотрит, заряжает тревогой, страхом таким, что бежать хочется.

История сразу мне припомнилась, как мужика одного таёжная нечисть восемь лет по тайге водила. Для него эти восемь лет за сутки пролетели, а он и не помнит ничего, только как верхом на сохатом сидел...

Чёрт меня сюда принёс, послал за камнем счастья: камень есть, а счастье будет ли?.. Вот и юкагирский дух Байанай, хозяин этих мест, напоминает: пора уходить! И тут же слышу вертолётный гул. Ё-моё! Бегу назад. А Дана где?! Пока кричал, метался по священной роще, минут десять прошло. Брод проскочил аки посуху, быстро, но в сапоги набрал. Данке-то просто: переплыла плёс — и дальше.

А вертолёт гудит, раз зашёл, два, сильный ветер не даёт машине на наш островок неправильный сесть. Забегаю за речной поворот, мокрый уже с головы до ног, а «вертушка», оказывается, не в лагере, а на косе стоит и ждёт только меня, винтами крутит. Я уж ноги еле переставляю по песку, и льёт с меня как с гуся, а Данка вертолёта боится, пробегает мимо него — и в кусты. Я за ней.

В открытой двери сидит начальник, смотрит на меня как на идиота (как ещё-то на меня смотреть?) и машет: сюда, сюда давай! Я — мимо. За собакой. Видели бы вы лицо начальника! Если он и людей-то не любил, то уж собак...

Хорошо, Данка сообразила, далеко не убежала, стояла на кромке леса, ждала меня.

Собаку в охапку, ружьё по спине бьёт, вваливаюсь в вертолёт. И что вижу?! Передо мной стоит Константиныч с картой в руках и очках на носу, вид важный и серьёзный.

— Слушай, — говорит он, — я тут что-то не понимаю... На, веди вертолёт.

И суёт мне карту. Ах ты, думаю, пенёк, опять север с югом перепутал. Или хочешь, чтобы начальник и на меня наорал?! А-а, понял, это за самовольный уход.

Просовываюсь в кабину к пилотам, с носа капает на карту и на бортмеханика, а мы, оказывается, уже взлетели метров на пятьдесят, и я не узнаю старика Кыллаха, по которому мы сплавлялись целый месяц. Оказывается, долина его наполнена старицами, какими-то озёрами, болотами — мы не видели их, закрытых стеной тальника и леса. Вода блестит и там и тут, и всё это — до горизонта!

Командир поворачивается ко мне и ехидно так говорит:

— Ну что, каким курсом летим?

Летуны всегда так с толку сбивают — дай им точный курс, в градусах причём.

Ответ мог бы понять только наш самоходный пень Константиныч:  
—Налево!

Командир верно оценил ситуацию: «вертушка» легла на левый борт, и мы пошли над руслом Кыллаха, высматривая ближайший сердоликовый склад, обозначенный белым флажком...

На крутых поворотах нас выбрасывало из русла, но мы нашли его, склад, а вот на осерёдке оставили и сердолик, и рыбу — командир отказался садиться в русло. Константиныч, конечно же, был неправ, что не перенёс лагерь, и хотя мы с Даной и победили его в чём-то, мне до сих пор жалко нашего общего труда — ста килограммов копчёного хариуса и полтонны полупрозрачного камня, который, говорят, приносит счастье...

Ну а теперь о счастье...

Прошло время, перестройка добралась, дошагала до северо-восточных северов, и нам нечего стало там делать, охотникам, геологам, первопроходцам.

Мы с женой уехали на материк, вчетвером — на Колыме родилась дочь.

Когда дочери исполнилось шесть, мы с женой разошлись. Я остался жить в деревне, а жена с дочкой вернулись в Москву. Дану отправил с ними, так мне было легче, а им она напоминала бы о наших лучших северных временах, и, может быть, они вернулись бы, те счастливые времена... Так мне казалось.

Через неделю позвонила жена и строгим чужим голосом сказала: —Забирай свою собаку. Она чем-то больна, её надо усыпить!

Как же я ошибался насчёт отходчивости колымских женщин!

Ветеринар в московской клинике в красках описал ситуацию: —У вашей собаки пироплазмоз. Это вирус, который разносится клещом. В этом году от него погибло очень много собак, особенно породистых. Одна капельница стоит четыреста рублей, ей нужно три в день. А кто с ней будет сидеть? Вы же работаете. Решайте сами. Я вам советую...

Данка сидела у меня на руках и всё понимала. Всё-таки она была настоящей, пусть и шерстяной, женщиной и другом, и мы, все четверо, были одной семьёй. А семьи уже не было. И значит, Данки не было тоже.

О чём же я думал тогда?

О чём угодно, только не о том, как можно верить женщине, оставившей собственное дитя без отца и так же хладнокровно предложившей умертвить Дану...

И Дана умерла.

Потом, с другой женщиной, мы взяли русского спаниеля, назвали её Джульеттой, Жулькой. Мы жили в деревне, и старый друг отдал

нам слишком большого для московской квартиры Чака, рыжего и свободолюбивого дворянина.

В гололёд Жюлька поскользнулась — Чак научил её облаивать автомобили — и попала под колесо...

Чака убил пустой человек, чтобы «просто так» навредить мне. Навредил... Но вы теперь знаете: Колыма плохих не забирает. Мне жалко этого человека, если он, конечно, человек.

Потом была Кая, лайка. Она никак не хотела охотиться и, видимо в силу неостребованного инстинкта, бросалась на людей. Не хотелось держать её на цепи, и я отдал Каю местному охотнику. Только с ним она вошла во вкус охоты, стала держать и кабана, и лося. Теперь к ней стоят в очередь за щенками.

Но и следующая семья распалась. Неужели это наказание от Бай-аная? За то, что нарушил тогда, на Кыллахе, покой Лиственничного Храма? Или всё-таки от Собачьего Бога, под которым жила Данкина душа и души её погибших братьев, сестёр и детей?

А может быть, хватит уже задавать себе вопросы о том, что же такое счастье?..

Всё, что произошло с нами, людьми, и с ними, собаками, не даёт мне покоя. Несколько лет назад я написал повесть о собаках, которые остались одни на северном безлюдном острове («Путь в архипелаг»). Не потому, что им так захотелось, а потому, что люди по разным обстоятельствам не выполнили свой долг перед ними. А ведь собаки всегда и до конца верны своим хозяевам, и не важно, кто кого выбирает: люди собак или собаки людей.

Собаки на острове погибли, без человека они не могут выжить в Арктике. Читатели, прочитав последнюю главу, задают вопрос: непонятно, они погибли или выжили, почему они уплывают в лодке, дальше, в глубины северных пространств?

Я тоже спрашиваю себя: куда же ушли великие полярные перво-проходцы, где их могилы, и есть ли они, эти могилы? И куда ушли северные, колымские собаки, мои самые настоящие и верные друзья?

Думаю, что это место не на земле.

Их души заслужили свой покой.

Так где же они сейчас?

*Норильск, август 2014*



Сергей Сутоцкий

# Хорошо

Новелла

Однажды ему показалось, что пустота спустилась с небес и наполнила весь окружающий мир бессмысленностью. Стало рушиться всё, что до сих пор имело смысл. Работа, друзья, семья... Он назвал это словом «ничто» и знал: это не болезнь. Происходило что-то очень важное. Глядя на людей, ему хотелось рыдать. Казалось, он видит в них то, от чего не рыдать невозможно. И вскоре он с этим смирился. — Наверное, я выгляжу странно, говоря об этом, — предупреждающе сказал он.

— Да нет. Ты будто затерялся где-то — и всё ещё там. Я видела странных людей, — ответила она и прикоснулась пальцем к его мизинцу. — Ты просто устал, потому что жил не там, где тебе было нужно, и не с теми.

Его взгляд медленно скользил по её руке. И до него вдруг дошло, что ощущение её присутствия несло в себе огромную важность. И было хорошо от ощущения этой важности. Само её прикосновение было чем-то завершённым, но чувства подсказывали, что во всём этом было нечто незавершённое. То, что не должно было никогда оканчиваться.

«Если это — гармония, — подумал он, — то почему она не несёт в себе смысла?» Он всегда считал, что гармония должна быть наполнена смыслом. Тем более сейчас, когда она сидела рядом и смотрела ему в глаза. Наверное, так было оттого, что осмысленными были лишь размышления о гармонии. Но сама в себе она, оказалось, несёт оглушительную тишину, от которой не скрыться. И потому это такстораживает. Идти и бежать некуда. Движение связано с целью. А цель заряжает движение смыслом. Но как двигаться, если не знаешь, куда и зачем? Значит, сама тишина и должна быть целью? Гармония — и есть тишина! Подумав так, он вышел на лоджию покурить.

Окружённый синевой сумерек, он хорошо видел её сквозь стекло. Неслышно, как рыбка, она юркнула с книжкой в руках и легла поперёк кровати. Свет бра золотился в её волосах. Очки слегка висели на кончике её носа. Шалунишка. Её глаза могли в любое время глянуть на него поверх очков, ножки были задраны вверх, и она играла ими. — Ты опять курил?! — проворковала она сквозь игривое возмущение, когда он вернулся в комнату.

Он улыбнулся и даже слегка усмехнулся, гася приятную дрожь от её нежной улыбки. Курение было единственным злом, с которым она

пыталась бороться, глубоко не рана того в нём, кто порой с неистовством испепелял на её глазах одну сигарету за другой.

— Ты опять смеёшься надо мной? Пойми, это вредно.

— Я опять смеюсь над собой. Наверное, только когда куришь, испытываешь истинную прелесть свежего воздуха,— ответил он, стараясь удержать звук её голоса в своём теле.

— Отказываюсь это по-ни-мать, понял?— возразила она, не отрываясь от книги.

— Зато я понимаю тебя. Мне кажется, что понимаю,— в быстром наклоне он прикоснулся губами к ложбинке внизу её спины.

Всего лишь секунда. Но в это мгновение потерялась связь с миром. Глаза его были закрыты, и казалось — вечность распахнулась перед ним. Затем он выпрямился. Стало тихо. Она читала. И вроде ничего больше не происходило. Впрочем, кто-то в нём хотел двигаться. Но ум был пуст и полон бессцельности. Он просто так пошёл к двери и оглянулся. И она замерла. Кто-то словно подталкивал обнять её. Но не хотелось мешать ей читать. Лакированная дверь мягко прикрылась за ним.

В тёмном коридоре он свернул за угол, щёлкнул выключателем на кухне. Электрический чайник уже вскоре засвиристал причудливую руладу. Он с удивлением смотрел на него, как на давнего собеседника, который прямо сейчас захотел сказать ему что-то особенное. Однако в себе самом он ничего особенного не ощущал. Ему было просто хорошо.

Когда-то он понял: люди думают не от нечего делать, а потому что, блуждая в лабиринтах проблем, не могут не думать. В безмятежности, мысли — это отголоски проблем. И если среди полной тишины вдруг замаячила мыслишка, значит, где-то далеко упал камень в воду и круги от него вскоре дойдут до тебя.

Мыслей не было. Его взор скользил по предметам, а ум не называл их своими именами. Когда-то ему понравилось гоняться за крупинками тишины. То был всего лишь эксперимент. А теперь тишина всякий раз сама заполняла его. У этой тишины то и дело менялся оттенок значимости. И вот сейчас он понимал, что это не просто тишина, а скрытая радость. Он наслаждался покоем и вслушивался в него. За окном начиналась обещанная по радио метель.

— Может, ты что-нибудь поешь?— сказала она, неслышно очутившись перед ним.

Он неопределённо пожал плечами. Ничто в нём не подсказывало, хочет ли он есть.

— Разве только с тобой?

— Знаешь, родной, ты должен научиться точно знать, чего ты хочешь.

В её голосе звучали нотки наставника. Его попытки описать своё теперешнее состояние как «здесь и сейчас», «везде и нигде» или как приятное «ничто» всё ещё наводили её на мысль о тихой депрессии,

якобы точившей его изнутри. Что было не так. Потому что ему было просто хорошо, и всё. «Родной...» — звуки этого слова воспринимались каждый раз по-своему. Он старался понять, насколько они относятся именно к нему. Вода в реке её жизни также не стояла на месте. Знали они друг друга давно, но уже около десяти лет его голос не звучал в этих стенах и даже по телефону. И вдруг он объявился. «Родной...»

Раньше ему казалось, что нужно как-то сообщать близким о своей радости пребывания с ними, потому что и им, наверное, хотелось бы слышать от него об этом и через его слова убеждаться в своей любви к нему. И он много говорил. Он мог, умел и очень много говорил о любви. Он наслаждался вибрациями своего голоса. Но однажды что-то случилось.

Виной тому были его музыкальный слух и опыт длительного музицирования. Именно в то время, когда он много говорил о любви, сама собой сочинялась и музыка. Сотни раз — одна и та же мелодия. То, что металось внутри него, искало точное выражение вовне в форме звуков. Да, пожалуй, он действительно изменился, и причиной тому был его слух. Он вдруг стал слышать фальшивые ноты в том, что сам играл, говорил, делал.

Она открыла холодильник:

— Что тебе дать, дорогой?

О, сколько тысяч раз он вслушивался и в это её слово, наблюдая при этом за её движениями. «Дорогой, дорогой, дорогой...» Зацепок не было. Пытался он увидеть и того, кому нравилось в нём же это слово. Но тут же ещё кто-то вдруг ворчал: «Подумаешь, дорогой!» — тот, кто, вероятно, хотел пробудить в нём комплекс вины.

— Итак, что ты будешь есть?

— То же, что и ты.

— Ну, я на ночь не ем. Худею. А вот ты должен быть сыт.

В этом «должен быть» не ощущалось насилия. Не было и чувства её уверенности в своей «женской» правоте насчёт мужской сытости. Просто ей хотелось, чтобы он был сыт.

Его взгляд скользнул по её фигурке. Итальянская пижамка. Водянисто-лёгкая ткань, казавшаяся прозрачной, тем не менее, плотно скрывала контуры её тела. Вздрагивающие груди целомудренно прятались в складках. Она повернулась спиной. Он всмотрелся, словно пытаясь проникнуть сквозь ткань. Но нет. Оставалось лишь дать волю воображению. И воображение ярко видело то, что по-детски оставалось неприкосновенным.

Она приготовила два кофе, села за стол напротив и в воздухе чмокнула его, собрав трубочкой губы. Разные приятные слова в её адрес появлялись, как рой, в голове и исчезали. Не было смысла гоняться за ними и уж тем более произносить вслух. Он только и делал, что смотрел в её глаза и улыбался. Ему было просто хорошо. И она всё понимала.

«Я самодостаточна, дорогой мой человек. Я просто очень хочу, чтобы у тебя всё сложилось и всё было хорошо», — сказала она однажды. В тот момент кто-то в нём, видимо, абсолютно бездомный, чертовски хотел, чтобы она сказала: «Оставайся». Но тот, другой, обладатель музыкального слуха, сразу же дал ему понять, что это невозможно.

К еде и хорошим вещам сохранялось полнейшее равнодушие. Ему хотелось *быть*, и он был. И ему не мешали просто быть. За все эти несколько дней она не говорила о пустяках, а только о главном. И главным был он. Но говорила она не о нём, а для него.

Она взяла его ладонь и, чутко вслушиваясь в себя, поглаживала её. Иногда она старалась всмотреться в его глаза. И тогда ему казалось, что он почти видел, как нервные токи от её пальцев текут по её руке в тело и осыпают искорками её кожу изнутри. Из-за чего порой прогибалась её спина или поджимались под скамейку ноги.

Знал он и то, что глаза его были пусты, потому что в голове не было слов. Но зато он видел её глаза. Главным событием для неё был не факт его внезапного появления через столько лет, а сам факт, что он есть. Это ощущалось во всём, что она говорила и делала. Он накрыл её ладонь своей, показывая, что и она для него то же самое. И оттого, что она всё понимала, было удивительно хорошо.

— А мы спать идём? — её рука всё ещё оставалась в его руке.

Он кивнул. Ночную лампу она переставила на пол, чтобы не ослепляла, а может, чтобы не стыдиться самой себя. Быстрое движение — и невесомое одеяло накрыло их обоих с головой.

— Я мерзлячка.

Его руки потянулись к ней, и она дала обвить себя ими, уютно прижавшись к нему.

— Послушай, мне не очень нравится, что ты как-то принижаешь себя. Ведь у тебя должно быть своё «Я».

— А ты думаешь, его нет?

— Ну, такое впечатление, будто ты запрятал его куда-то.

— После всего пережитого и передуманного оно само, знаешь ли, куда-то задевалось. Но оно есть. Просто сейчас оно где-то на задворках. Ну и что?

— У человека всегда должно быть своё «Я»! — она с пафосом выделила последний звук.

— Скажи, сейчас с тобой я или... только моё тело?

Она погладила его локоть:

— Ты, конечно.

— Запомни, родная, когда я молчу, меня гораздо больше, чем когда я говорю. Кстати, ты вчера хотела что-то мне рассказать.

— Да как-то не знаю, говорить или нет.

— Говори, конечно, — его губы прижались к её плечу. — Только знай: всё, что ни скажешь, это, как ни странно, уже давно во мне.

— Может, не надо?

— Я уже чувствую, что речь пойдёт о чём-то важном для тебя. Значит, надо.

— А вдруг тебе будет неприятно?

Она замерла, а он, усмехнувшись, как всегда, ещё сильнее прижался к ней.

— Ну вот, ты уже заранее смеёшься надо мной.

— Ты знаешь, что это не так. Но я и сам всё думаю, почему вот так посмеиваюсь. Это потому, что каждый раз, когда я о чём-то думаю, одна мысль противоречит другой. Все мысли важные. Но я чувствую, что какую бы из них ни высказал, был бы не прав. Что это вновь была бы какая-то мелочь, ерунда. Я вот прямо сейчас ощущаю тебя, слышу и вижу — и это важнее всего. Это убирает все мысли. Я и ты — мы вне слов. Но если ты расскажешь о чём-то сугубо личном — значит, доверишься. Разве это плохо?

Он стал гладить её по голове, настраивая на разговор. В нём снова разворачивалась бездна, готовая с благодарностью поглотить всё что угодно, связанное с ней. Вся его жизнь предстала как сумятица смутных и безмолвных образов всех тех людей, кого он знал. Правда жизни... Почти все прячутся от неё, боясь себя или опасаясь наткнуться на безжалостного судью в ближнем своём. Голая правда делает тебя безвинным. Но это трудно понять. А если ты не можешь сказать всего о себе — значит, живёшь не с теми, с кем следовало бы.

— Все эти годы у меня был друг, — тихо, почти робко начала она. — Не было дня, чтобы он не звонил мне. Иногда мы встречались. И всё было прекрасно и хорошо. Мы были откровенны. У нас не было тайн. Мы помогали друг другу жить. Но... год назад он замолчал. Слово исчез. Сказал, будто болен. Что-то там с ногами. Но ведь это такая мелочь. Он же знал, как я к нему отношусь. Взять и просто так отойти?..

— Кто он?

— Ну, в общем-то, сильный, могущественный в городе человек. Положение, семья, дети и всё остальное. Поверь, я ни разу не звонила сама. Мне не хотелось мешать ему жить. Его семье... И... я ведь ни в чём не нуждаюсь.

Он погладил её вдоль тела. Она лежала тихо.

— Знаешь, довольно часто могущественные люди боятся оказаться слабыми. Мне кажется, он не смог позволить себе любить тебя тотально. Любовь — это тотальная штука. Это одна большая эмоция и сила. Если ей дать волю, то можно разрушить весь мир или убить себя.

— Но ведь я знаю: он любил меня.

— Конечно. А как у них с женой?

— Всё было хорошо. Я даже и подумать не могла о...

— Он нуждался в тебе. Ты была дополнительным источником его силы. Но его мир раскололся на две правды. Не каждый может оставаться двойственным бесконечно. Могущество, власть, положение... Это

обязывает быть цельным. И потом, скорей всего, он не был мерзавцем. Надоело врать жене, вот и всё.

— А как те восемь лет?

— Ну и что? Молодость не видит преград. Ему хотелось быть сильным. Ты делала его сильнее, чем он был. А с возрастом нравственные ориентиры меняются в сторону самых близких людей, в сторону старых заповедей. Счастливая гармония возможна, лишь когда все обо всём знают и все бесконечно друг друга любят. Только в мире людей это почти невозможно. Тотальное чувство одного не может быть разделено тотальным чувством другого. Или это большая редкость. Поэтому любая тотальность почти мгновенно превращает человека в безжалостного собственника, или он становится извращенцем. Очень трудно быть поглощённым и оставаться вне того, что тебя поглощает. Ты переживаешь? — спросил он и повернул её к себе.

Она пожала плечами:

— В конце концов, я ни на чём не настаивала, мы были просто друзьями. И ещё... Я всегда помнила о тебе.

Они обнялись. В ней не было сопротивления. Они хорошо ощущали друг друга. Тишина, потеплевшая от их тел, плавно переливалась с одного угла комнаты в другой.

— Я рада, что ты приехал, — сказала она.

А он почему-то решил, что сейчас в ней действует привычка о чём-нибудь говорить, и ничего не ответил. Она была вся его. И она этого хотела. И всё в ней говорило об этом. И нужно было быть полным дураком, чтобы спросить с инквизиторской усмешкой: «Так ты моя или со мной?» Она бы всё равно ответила умно, подтвердив и то, и другое. Но было бы уже не так хорошо.

— Я люблю тебя, — прошептала она.

В ответ он чмокнул её в кончик носа. И она поняла, что он «сказал» то же самое. Ему хотелось заплакать. Ему хотелось реветь громче стада слонов и заливаться слезами. С трудом удалось сдержать ком в горле. Строгий цензор с музыкальным слухом опять помог ему, дав понять, что слёзы и нечеловеческий рёв — всё это не так уж важно. Что слёзы — это лишь косвенные признаки счастья существа, живущего в теле. А эмоция могла оказаться ложной, как и любое категорично сказанное слово.

— Я тоже, — ответил он, стараясь быть максимально сдержанным.

И в то же время ощущалась благодарность к тому, кто хотел в нём плакать, потому что это было бы тоже хорошо. Он прижался к её груди. Она словно чувствовала клокотанье невидимых слёз. Быть может, даже и своих собственных. Она гладила его волосы, как это делала когда-то его бабушка. И он понимал, что ей сейчас тоже очень хорошо. — Пока ты рассказывала о нём и о себе, я подумал: будет ли удобно, если я спрошу о себе?

— Ты имеешь в виду моё отношение к тебе?

— Мне хотелось знать, как это началось в тебе.

— Мы встретились в коридоре одного офиса. Теперь не важно какого. Ты просто прошёл мимо меня. Но я сразу же поняла, что ты — это ты!.. Вот и всё. Всё, что случилось потом... Я этого хотела. Это судьба, дорогой. Давай спать, — она поцеловала его в голову.

На перроне валил снег. Запотевшие очки не хотели скрывать влагу на её глазах. Она, как всегда, улыбалась.

— Я хочу, чтобы у тебя всё было хорошо. Понимаешь? Делай свои дела. Живи, как считаешь нужным. Я люблю тебя, родной.

— Знаешь, глядя на тебя, я как будто ещё ничего не знаю о себе. Я чувствую: со мной должно ещё что-то произойти, чтобы стало ясно, кто я и куда мне идти.

— А ты знай, что я есть. Ты должен встать на ноги. Это главное.

— А если пройдут годы? Ты подождёшь?

— Ты будешь писать, звонить...

Ох уж эта её улыбка. Она поправила его воротник, смахнула с его щеки снежинку.

— И тебе будет этого достаточно?

— Нет, мне этого будет очень мало. А ты всё равно иди и не оглядывайся. Запомни: я хочу, чтобы у тебя всё было хорошо.

Снег... Можно было морщить лицо и якобы отворачиваться от него. Но на самом деле прямо сейчас невидимое стадо слонов передёргивало его внутри своим трубным воем, и тот в нём, кто оказался столь неожиданно плаксивым, хотел разорваться на части.

Михаил Стеклов

## Лебеди

## Зачем охотнику уши

Вопрос кажется наивным: и так понятно, что без хорошего слуха невозможно получить все удовольствия от охоты, а у профессионального охотника это главный инструмент работы в успешной добыче зверя или птицы. Идеальный слух нужен на весенней тяге на вальдшнепа, когда в многоголосье птичьего пения необходимо услышать хорканье или цвирканье летящей птицы; он просто необходим для того, чтобы приготовиться к выстрелу. Охота на реву, охота на подслух и многие другие охоты основаны на умении охотника слушать и слышать. Уши — главный орган в системе восприятия человеком окружающей его среды.

Однажды на одной из весенних охот в таймырской тундре с моим другом произошёл случай, о котором он рассказывает, постоянно трогая свои уши. Охотились мы на реке Пясино, на промысловой точке Урванцева, а это километров пятьсот на север от Норильска. Места идеальные для охоты на гуся. Речка Пясино в этих местах уже шириной более трёхсот метров, с крутыми подмытыми берегами в ровной приполярной тундре. Обычно на подмытых берегах реки, ровных, как стол, собираются сотни гусей в большие стаи, где птицы ведут свои разборки, выясняют отношения семейные пары, и шум стоит как на базаре, настоящем гусяном базаре. А если что-то потревожит гусей, то взлетают они тучей, и крика и шума становится ещё больше. Наши скрадки стояли в километре от этих базаров, и когда птицы взлетали, то часть их налетала на нас, и удавалось добыть несколько гусей. Бывали дни, когда гуси по каким-то причинам не летали, и обидно было сидеть и слушать их гогот почти рядом. Чтобы развеяться и пострелять, послали как-то раз спугнуть гусей Витькá. Когда он вернулся и рассказал, как он поднимал гусей, мы смотрели только на его уши. Решил он не просто поднять стаю, а незаметно подойти под берегом к гусям и, может, добыть несколько штук.

— Я, — рассказывал Витёк, — где ползком, где вприсядку подкрался к гусям. Не высовывался — боялся их спугнуть, а когда поднял голову над берегом — вижу: один гусь летит прямо на меня. Да уже близко, и летит над самой землёй прямо в мою голову. От неожиданности я машинально выстрелил из обоих стволов и, конечно, не попал в гуся, а он тоже от неожиданности как летел, так и летит в мою голову, только лапы выставил. Тогда я бросаю ружьё и хватаю этого гуся



за лапы. (Гусь — птица солидная, и крылья у него мощные, под два метра размах, иногда насмерть может забить песца.) Так этот гусь своими крыльями по моей голове и по ушам как начал бить, что я от боли кричать стал, и гусь по-своему тоже орёт на меня. Хотя и больно мне, а гуся не отпускаю, хочется живого мужикам принести. Но когда гусь начал гадить на меня, я от боли, а больше от обиды отпустил его,— закончил Витёк, потирая уши.

А мы сидели и думали, что врёт Витёк про гуся и нам по ушам проехался, или действительно ему гусь по ушам нахлопал. Так азартно рассказывал, да и уши у него огнём горели.

А другой мой товарищ по охоте рассказал историю, о которой в своё время в Норильске действительно было много разговоров. Както на гусяной охоте, на промысловой точке у деда-промысловика, который там жил много лет, охотники увидели литровую банку с жёлтым песком. Пристали к деду: что у него в банке за песок лежит? Дед отнекивался, но когда опрокинул пару стопок, рассказал, что когда он разделявает добытых местных гусей, то содержимое их желудков промывает и почти во всех находит тяжёлый жёлтый песок, похожий на золото. Мужики банку потрогали — точно тяжёлая, и песок, похоже, золотая россыпь. Охотники из Норильска, где добывают металлы, в том числе и золото, даже месторождение самородной платины когда-то было, уши наострили и крепко призадумались. А дед ещё пару рюмок опрокинул и говорит, что сдаст государству золото как старатель, ему на безбедную старость хватит. Всю охоту гусей стреляли, и аккуратно содержимое желудков каждый собирал и увёз с собой.

Золота в тех гусях не оказалось, не тот песок, наверное, клевали, а дед свою банку с песком сдал. Действительно это был золотой песок, но деда посадили. Песок не гуси ему приносили, а присылали с юга Красноярского края старатели. В общем, криминальная схема там была. Слышал я эту историю не единожды и всякий раз, когда разделяваю гусей, с желудком обращаюсь очень аккуратно. Вдруг добытые мной гуси клевали песок в интересном месте? Конечно, без хорошего слуха и главного его инструмента — ушей не бывает удачливого охотника, но умение слушать есть у каждого, кто ходит на охоту.

## Лебеди

Есть песня у Евгения Мартынова на слова Андрея Дементьева о лебединой верности, которую я не люблю слушать после моих встреч в тундре с настоящими лебедями. Лебедь — птица большая, красивая, многих умиляет, особенно на картинках, ковриках, малочисленная и поэтому занесена во все Красные книги охраны животных. В таймырскую тундру прилетают на гнездование и вывод потомства лебедь-кликун и малый тундровый лебедь. Малых тундровых лебедей

я действительно встречал за все свои гусиные охоты очень редко, а вот лебедей-кликунов видел всегда весной, летом и осенью. Однажды весной, проезжая по дороге между Алыкелем и Дудинкой, я насчитал на небольшом тундровом озере тридцать лебедей. Плавали, как белые яхты на Лазурном берегу, — гордые и недоступные. Как-то осенью я охотился и рыбачил на промысловой точке мыса Урванцева, на речке Пясына. Осенняя охота на гуся — не для меня. Гуси на манок не идут, от профилей шарахаются; так, налетят случайно — постреляешь. Забота в тундре у птиц в это время одна — как птенцов на крыло поставить. Подстрелишь случайно гуся такого, а ощипать его невозможно — перо поменял. Молодые перья ещё с кровью, не вырвешь, а ободранный со шкурой — это уже не гусь, а мясо.

С охотой закончил, но в бинокль нашёл лебединый выводок, и так увлекла меня жизнь этой семьи, что я несколько дней постоянно приплывал на лодке к озеру с лебедями и наблюдал за ними в бинокль. Обитала эта семья на небольшом тундровом озере — два взрослых лебеда и трое серо-бурых птенцов. Взрослые птицы уже полиняли и ненадолго по очереди перелетали на соседние озёра, а птенцы только хлопали крыльями — тундровики зовут таких птенцов хлопунцами. Гнездо, большое, метра полтора в диаметре, было на берегу озера, сделанное из старой травы, но к гнезду птицы подплывали редко, видно по привычке, в основном плавали, кормились и спали на озере. Обычная жизнь птиц в приполярной тундре, которым природа подарила полярный день на два месяца, обилие пищи в виде комаров и мошки да сочной травки.

Хищники там появляются редко, и лёгкой добычи для них много, повсюду гнездовья гусей, краснозобых казарок и других мелких птиц. Но удивило меня поведение взрослых лебедей, за которыми я наблюдал. С какой яростью, даже жестокостью они оберегали свою территорию, своих птенцов. В радиусе километра не нашёл ни одного гнезда других птиц. Песец, пробежавший рядом с озером, был так агрессивно атакован лебедем, что вместо лая, которым песцы обычно огрызаются при опасности, я услышал его визги. На озере, которое было рядом с гнездом лебедей, я нашёл с десяток забитых насмерть птенцов гусей и казарок. Даже канюк (ястреб) не кружился над этим местом, а он один из главных падальщиков в тундре. На другом озере плавали два мёртвых баклана (чайки), а птицы они немаленькие и сами забить могут тех, кто их обидел или не понравился; бывало, что и на людей нападали. Хозяин дома, где я остановился, приручил двух краснозобых казарок. Рассказал, что нашёл их совсем маленькими и выкормил. Людей они не боялись, ели с рук, купались в корыте, заходили в дом, сопровождали лодку хозяина, когда он плывал по реке. Так эти казарки красиво летали рядом с лодкой или садились на нос лодки и плавали вместе с нами. Не влюбиться в этих птиц за их красоту, за доверчивость к людям просто невозможно. Недаром

они украшают герб Таймыра. Когда меня на лодке подвозили к озеру с лебедями, казарки с криком улетали к дому. Олени, которые там изредка паслись, стороной обходили озеро. Как-то не по себе было, когда подходишь к этому месту. Вокруг жизнь тундровая кипит, к зиме все птички, зверюшки готовиться спешат, а тут пусто и тихо, одни мёртвые птицы плавают на озёрах.

Поменялось у меня отношение к этим птицам, и на следующих весенних охотах, каюсь, и стрелял, и ел лебедей. Мяса у лебедей много, но оно жестковатое, пахнет рыбой — гусь гораздо вкуснее, особенно белолобый. Да и в верность лебединую я не очень верю. Видел не один раз: улетают они сразу, если с другим что-то случится, в лучшем случае кликнут пару раз, и всё. А вот если убьёшь гусыню, то гусак долго кружит и кричит над местом, где упала подруга, иногда даже садится рядом и летит на верный выстрел охотника. Вот это любовь, верность гусиная! И ещё одно моё наблюдение: на весенних перелётах видел в стаях гусей и казарок лебедей. Летят обычно в конце стаи, не кричат, а когда летят парами или в одиночку, звуки издают, как труба простывшая. Мои наблюдения, размышления охотника-любителя могут и не совпадать с профессионалами-орнитологами, но тундру каждый любит по-своему, а лебедей я уже не смогу любить ни в каком виде.

## Два оленя

Однажды в конце ноября мы с моим другом Виктором решили поехать на снегоходе посмотреть, а если удастся, то и пострелять оленей. Надоело сидеть на горнолыжной базе; хотя оленей мы уже настреляли раньше, по хорошей погоде, но кольнуло в одном месте, быстро собрались, прицепили сани и поехали. На одном снегоходе «Lynx», первой ещё модели. На нашем термометре было градусов тридцать, ветра вроде не было, и ехать было терпимо. Решили прокатиться на север по нижней дороге вдоль озера Пясино. До ручья Мукулай добрались быстро, двадцать километров по накатанной дороге одно удовольствие ехать. Витя в санях задремал, и остановка на перекур его взбодрила, а после ста граммов, горячего чая поехали уже с надеждой, что могут встретиться олени. После развилки верхней и нижней дорог, на «аэродроме», место такое ровное, чего-то с гор дуть стало, и чем дальше, тем сильнее дует. Ну, едем пока — терпим. Километров десять проехали и увидели их, родимых, — на лайде пасутся штук пять, и главное — недалеко. Витёк из саней выпрыгнул, руками машет, чего-то шепчет, а у меня руки замёрзли — даже слёзы текут. Упали мы за снегоход. Я рукавицы снял, а руки в штаны засунул, ближе к телу — отогреть.

— Стреляй только одного — холодно. Да у нас всего две лицензии, — говорю ему, а он, хохол, шипит:

— Всех возьмём!

Достаёт карабин, а была у нас тогда «Сайга» — это переделанный из бэушных акаэмов охотничий карабин. По тем временам серьёзное оружие. Стреляет Витя неплохо, но медленно. Пока прицел поставил, пока глаза протёр, руки, гад, стал отогревать, я весь на г... извёлся. Наконец, перезарядил карабин — жду выстрела, а его нет и нет. Олени против ветра были и нашу возню не слышали. Смотрю на Витька, он на курок давит, а ни щелчка, ни выстрела нет. Перезаряжает карабин — без результата.

— Дай я, — хриплю ему.

Дважды перезаряжаю голыми руками — не стреляет, сволочь конверсионная. Замёрз боёк. Как только не пытались его отогреть — безрезультатно, пружина примёрзла, смазку убрать нужно было перед охотой. Поругались, поматерились немного, а рогатые заинтересовались, смотрят в нашу сторону, не убегают. Чего-то и азарт прошёл, и мороз сильнее стал, поехали обратно. Немного проехали, смотрю: бегут справа от нас два оленя по нашему курсу. Пусть бегут. Не наш день сегодня. А хохол опять руками замахал, орёт в сани. Не останавливаюсь, наблюдаю за оленями, а они сближаются с нами и бегут уже метрах в ста от нас. Я не выдержал и остановился. Олени тоже остановились и смотрят на нас. Достая тихонько замёрзшую «Сайгу», прицелился, и вдруг... Пять сухих выстрелов, весь магазин по двум оленям. Вот чудо конверсии: отогрелась или от мата, или от тряски. Положил сразу. Подъезжаем к оленям, лежат красивые, какой то необычно яркой серо-коричневой окраски, раньше таких не встречали. Когда их буторили (желудок вытаскивали), Витёк говорит мне: — Смотри, как стрелял. У одного правое ухо отстрелил, и у второго нет правого уха.

Вот тут мы призадумались: наверное, это домашние олени. Где-то я читал или слышал от тундровиков, что во время миграции дикого северного оленя оленеводы угоняют свои стада подальше от путей их переходов. Иначе заберут с собой, особенно во время осеннего гона дикаря. Вон сколько красавцев-быков по тундре бродят — ищут приключений. Вот этих двух важенок-самок и увели быки из родного стада — побаловались с ними и бросили. А тут, как на грех, два оленевода-охотника в тундре встретились; ну не разбежались — бывает. Хотя ближайшее стойбище оленеводов километров двести от Норильска кочует, а у каждого хозяина стада есть свой способ метить оленей. У этих убиенных нами оленей хозяину нравилось каждому правое ухо отрезать.

Пока возились с оленями, сумерки наступили, и мороз стал ещё заметнее. Загрузили оленей в сани, Витя пристроился между ними, и потихоньку поехали до горнолыжки. Снегоход с трудом, на пределе тянет такой груз. Не дай Бог, в такую погоду с ним что-нибудь случится. Всё, хана: пешком, может быть, дойдём, а может, и нет. Места уже знакомые пошли, и под натужный рёв немолодого снегохода,

после всех приключений и сомнений, я чувствую, что начал засыпать прямо на ходу. Безудержно тянет в сон. От холода сосуды головного мозга сужаются, питание его нарушается — заснёшь или сознание потеряешь. Остановился. К саням подхожу, а хохол между тёплыми оленями пристроился и спит. Тут уж я по-настоящему испугался. Разбудить его не могу, сам полуживой, ехать ещё немало. Распихал его еле-еле, говорю:

— Давай беги за санями!

Так, с перебежками, до фабрики щебня добрались, а там уже дорога до дому хорошая. Снегоходу легче, да и мыслей плохих поубавилось. Доберёмся. Приехали на базу уже в темноте и как были, одетыми, забрался в баню. Хорошо, что перед поездкой её включили. Только в парилке начали отогреваться и раздеваться. Витя ещё «Сайгу» с собой взял — пусть с мужиками полежит, отогреется. Вспомнили об оленях, прощения попросили у всех и Бога поблагодарили уже за столом. А на нашем термометре было минус сорок пять градусов!

## Таймени

У меня было несколько интересных историй при ловле этой своеобразной, красивой и сильной рыбы. Ловил я тайменя в притоках озера Хантайского и на реке Котуй в Хатангском районе. На юге, в горных речках озера Хантайского, крупных тайменей уже не поймает — вырасти не дают, всех подряд вылавливают; килограмм на десять ещё можно найти. А до пяти килограмм — это не таймень, а таймешонок, и брать его просто неприлично, да и невкусный он, трава травой. А вот на Котуе мой личный рекорд — таймень на двадцать шесть килограмм. Рассказов о больших тайменях я слышал много, но тяжелее тридцати килограмм не видел. Вообще, рыбалка на тайменя больше похожа на охоту: место необходимо выбирать с учётом всех его привычек и времени года, погоды, и ещё масса нюансов, иногда даже стрелять приходится. К месту ловли подходить нужно осторожно и вести себя тихо, не шуметь. Такие рыбалка и охота, вместе взятые.

Вспоминаю один случай на Котуе в августе месяце. Полетели из Хатанги на разведку, чтобы выяснить, клюёт или не клюёт таймень под приезд больших гостей и где можно хоть что-то поймать приличное, хариуса или щуку, на худой конец. Облетели все известные места — пусто, ни одной поклёвки, и под вечер залетели на небольшой приток Котуя, метров тридцать в ширину, со спокойным течением, с берегами, поросшими осокой, и приличной глубиной, причём глубина начиналась сразу под берегом. На втором забросе спиннинга почувствовал поклёвку. У сибирского тайменя в тех местах поклёвка, по моим наблюдениям, происходит в следующей последовательности: сначала думаешь, что глухой зацеп, и некоторое время, как ни пытайся, ничего сделать не можешь; чуть даёшь слаbinу — рыба резко уходит на глубину и опять останавливается. Тут ты понимаешь,

что схватил твою приманку серьёзный соперник, а не таймешонок какой-нибудь. Опять спиннинг дугой, леска звенит — и ни с места. Ни в коем случае не давать слабины, всё на пределе: спиннинг под сорок пять градусов, фрикцион на катушке почти до предела — и так, пока таймень не начнёт уставать. Дальше начинается самое интересное: рыба пытается освободиться от блесны. Резко идёт с глубины и делает свечу за свечой, ударяясь о воду головой, пока ещё есть силы. Для настоящих гурманов рыбалки — незабываемое зрелище: крупная тёмная рыбина со светлым брюхом вылетает из воды и с глухим ударом падает в воду, и так несколько раз. Никакой слабины пытаться не допускать — сойдёт.

Затем начинается «мясорубка», причём этот приём я видел только у тайменя: рыба крутится колесом, как шнек у мясорубки, вот здесь в основном происходят сходы, и опять несколько раз прокрутится — и на глубину. Это уже концовка, рыба серьёзно устала, и можно подводить её к берегу, только нужна надёжная работа спиннингом.

Всё повторилось и на этот раз, хотя были зрители с вертолёта, да обрывистые северные скалы по берегам реки сурово наблюдали за нами, и красавец-таймень со своим последним спектаклем на воде. Когда я подвёл тайменя к берегу, увидел, что это действительно трофейный экземпляр: длиной явно больше метра, тёмно-малиновая спина, взгляд как у инопланетянина, такая маленькая подводная лодка всплыла ненадолго. У меня адреналина и так через край было, а тут затрясло «по-взрослому»: никто ещё на меня из-под воды так серьёзно не смотрел. Как его вытащить на берег? Подсачек, который у нас был, как-то не подходил к этой «подводной лодке». Послал я одного зрителя (Ильичом его звали) за ружьём в вертолёт, а вертолёт был метров за триста, и пока Ильич ружьё принёс, я весь издёргался, но тайменя держал на спиннинге, а он стоял у берега, как пришвартованный к причалу.

— Ильич! — говорю. — Давай оглушим его! Стреляй у левого уха тайменя, а то всю голову разобьёшь, жалко — трофейный!

Куда Ильич целился, я не знаю, только после его выстрела таймень резко ушёл в глубину. Катушка фрикциона на спиннинге не просто трещала, она взывала, и все сто метров плетёного шнура смотаны были за секунды. Спиннинг сработал на «отлично». Как ни пытался таймень сломать спиннинг, но сойти ему не удалось. Опять подвёл его к берегу, но уже без свечек и «мясорубок», выдохлась рыбина. — Ильич! Стреляй у правого уха!

После второго выстрела таймень перевернулся кверху брюхом, и я каким-то чудом за жабры вытащил его на берег. А берег был пологий, и пока я его тащил, таймень очухался и начал биться, вырваться. Придавил его всем телом (под девяносто килограмм вес мой) — бесполезно, таймень скользкий, берег скользкий, потихоньку подкатываемся к воде. Как я вытащил нож и заколол его, уже не помню. Нож

по рукоятку загнал в голову тайменя. Из зрителей никто помочь не успел или не захотел, все рыбаки были, и лучше потом рассказывать и говорить о том, какой ты рыбак, чем молча завидовать. Вес этого тайменя был всего двадцать шесть килограмм, провозился я с ним больше часа, и засушенная голова его висит у меня на даче. Больше на этом месте ничего не поймали — ни в тот день, ни позже. Хотя тайменей под двадцать килограмм я ловил ещё не раз, но таких ярких впечатлений больше не было. Приключения с тайменями у меня были, но об этом в другой раз.

Эдуард Русаков

## Крапива

### Записки сумасшедшего психиатра

Бытует расхожее мнение, будто все врачи-психиатры со временем сами сходят с ума. Это неправда. В действительности они вовсе не *сходят* с ума — они приходят в психиатрию уже готовыми сумасшедшими. Сила рока тянет их в дурдом. Да-да. Все психиатры — сумасшедшие. А если хорошенько подумать, то каждый псих в глубине души мечтает стать психиатром, но далеко не каждому удастся. Мне — удалось.

Сейчас я пишу эти заметки, лёжа на больничной койке, в общей палате строгого надзора, в третьем мужском отделении городской психиатрической больницы, где ещё совсем недавно сам работал врачом, а теперь вот, извольте видеть, оказался в роли пациента... Грустно. Тоскливо. Нелепо. Зловонно и душно.

Но как же всё это со мной случилось?

Я с детства был тревожно-мнительным, впечатлительным и очень внушаемым субъектом. Не любил командовать, предпочитал подчиняться. Мне всегда казалось, что мой собеседник прав, а я заблуждаюсь. Чужое слово действовало на меня гипнотически, а в силу собственных слов я не верил совершенно.

Вы спросите: да как же ты мог, бесхребетный слюнтяй, пойти в психиатрию? Вот именно такие закомплексованные хлюпики туда и прут, да будет вам известно. Только ущербный человек, абсолютно не способный общаться с нормальными людьми, может увлечься этой профессией — чтобы хоть как-то компенсировать свою собственную психическую неполноценность.

О моём безумии могли бы немало порассказать любящие меня женщины — моя мама и моя жена. Но они, милосердные, никогда ведь не заикнутся на эту тему.

Мой пациент украл у меня все мои документы: и паспорт, и диплом, и даже свидетельство о рождении. Как это ему удалось? Да очень просто: пришёл ко мне после выписки, якобы выразить свою благодарность, цветы принёс, лицемер, и пока я, растроганный придурок, суетился на кухне, готовя для него кофе, он успел забраться ко мне в сервант и стащить документы. То есть я не мог его тогда в этом даже заподозрить, пропажа обнаружилась позднее, через несколько дней...



но кто же мог, кроме него?! К тому же ретроспективно я восстановил в памяти некоторые наши с ним разговоры, которые помогли пролить свет на суть происшедшего.

В декабре прошлого года, когда я ещё исправно функционировал в качестве врача-психиатра, был у меня на излечении некий истерик — здоровенный мужик, молодой коммерсант, совершивший демонстративную суицидальную попытку: чтобы припугнуть своенравную супругу, он инсценировал самоповешение, был тут же вынут из петли и доставлен в больницу. Уже на следующий день он весело рассказывал о происшедшем, с аппетитом завтракал и обедал, травил анекдоты в курилке, охотно помогал санитарам умирять разбушевавшихся психов, а в беседе со мной признался, что вовсе и не собирался уходить из жизни:

— Надо было бабу приструнить — вот и подшутил...

Вся его могучая фигура, крупное лицо, басовитый голос — всё излучало завидную энергию и оптимизм. Я смотрел на него с завистью. Звали его Фролов.

Постепенно мы разговорились, и я сам не заметил, как начал вдруг жаловаться своему пациенту на всевозможные тяготы жизни: и зарплата нищенская, и цены грабительские, и вообще, чем так жить, лучше и впрямь повеситься.

— Да что вы, доктор! — замахал руками мой собеседник. — Чтобы с вашим дипломом — да не прожить?.. Будь у меня диплом врача — уж я бы...

— Ну и что бы вы сделали?

— Я бы стал экстрасенсом! Можно, конечно, и без диплома, но с дипломом — надёжнее... Я давал бы сеансы не хуже Кашпировского! Я бы деньги грёб лопатой!..

— Но ведь это — нечестно...

— Да бросьте, доктор. Люди — дураки. Вы оглянитесь вокруг: сплошь идиоты, дебилы, кретины. Внушаемые, как дети! Разве не так?

— Ну, вообще-то... — замялся я. — В чём-то вы правы, конечно. Люди доверчивы, их легко обмануть...

— Доверчивы? — усмехнулся он. — Они *хотят*, чтобы их обманывали! Они жаждут этого! И будь у меня врачебный диплом, уж я бы им распорядился... уж я бы развернулся!

Через несколько дней я его выписал из больницы. А потом, как уже было сказано, он явился ко мне домой и нагло выкрал все мои документы.

Спустя некоторое время мне выдали новый паспорт, а копия диплома у меня, слава Богу, имелась, — и вот, чтобы отдышаться, развеяться от всех этих переживаний, я отправился летом в отпуск, в Сочи.

В первый же день, прогуливаясь по набережной возле Морского вокзала, я увидел огромную афишу, на которой метровыми буквами было написано:

«Только один сеанс!  
Юрий Малахов!  
Знаменитый экстрасенс, врач-кудесник!  
Билеты продаются в кассе Зелёного театра».

Между прочим, Юрий Малахов — это я.

И вот я пришёл на сеанс. Зал был битком набит. В первых рядах — экзальтированные дамы со стеклянными банками, наполненными водой. А вот и сам маг-исцелитель вышел на сцену. Разумеется, это был Фролов, мой недавний пациент. Сеанс представлял собой грубую пародию одновременно на Кашпиrowsкого и на Чумака. Те же пассы, те же заклинания, тот же магнетический взгляд, та же колдовская, умело подобранная музыка, льющаяся из двух стереоколонок. Да ещё полумрак в зале... Эффект был потрясающий: многие тут же заснули, некоторые раскачивались, словно китайские болванчики, мотали головами, а кто-то застыл в кататоническом ступоре... Бог ты мой, сколько ещё дураков на белом свете...

—Люди, одумайтесь! — воскликнул я, вскакивая с места. — Как вы можете верить этому шарлатану?!

Зал недовольно загудел, но самозванец Фролов ничуть не сконфузился.

—А, это вы... — и он крикнул мне: — Добро пожаловать на сцену! Прошу, прошу вас!..

И я, как последний дурак, вышел на сцену, продолжая не очень уверенно выкрикивать:

—Мошенник! Вор! Шарлатан! Верни мои документы!..

Но лучше бы я не высовывался. Потому что этот негодяй устался на меня своими чёрными немигающими глазами — и погрузил меня в такой глубокий сон, что потом, после пробуждения, я не мог ничего припомнить. От кого-то из зрителей я позднее уже узнал, что Фролов внушал мне различные галлюцинации, а потом сделал так, что я впал в детство и отвечал на его вопросы тоненьким мальчишеским голоском, так что публика покатывалась со смеху.

—О чём ты мечтаешь, мальчик? — спрашивал этот подлец.

—Я хочу стать космонавтом, — отвечал я на радость публике, — а ещё я мечтаю жениться на Ритке из пятого подъезда...

Ну и так далее.

После сеанса я, как лунатик, подчиняясь воле авантюриста, вышел из парка и направился к дому, где снимал комнату. Наутро я проснулся с жуткой головной болью. А проснувшись, помчался в ближайшее отделение милиции и потребовал задержать самозванца. Меня выслушали весьма недоверчиво, но всё же решили проверить — и вот я поехал на милицейском «газике» в ту самую гостиницу, где проживал мой двойник.

Мы застали его в компании двух прекрасных дам за бутылкой шампанского. Негодяй был корректен и убедителен, и лейтенант милиции стал на меня коситься совсем уж сердито.

— Не верьте ему! — крикнул я. — Он же всё врёт!

Самозванец вздохнул как бы сочувственно и задушевым голосом произнёс:

— Вероятно, гражданин перегрелся на солнце. Это бывает.

— Ты вор! — завопил я. — Ты украл у меня диплом и паспорт!

— Это какое-то недоразумение, — сказал Фролов, вытащил из кармана паспорт и протянул лейтенанту. — Пожалуйста, можете проверить.

— Всё в порядке, — сказал лейтенант, возвращая ему паспорт. — Извините за беспокойство, гражданин Малахов.

— Это я — Малахов! — крикнул я, чуть не плача. — Он украл моё доброе имя! Арестуйте его немедленно!

Фролов горестно вздохнул и развёл руками: мол, ну что тут скажешь? — Мне кажется, следует вызвать скорую помощь, — посоветовал он лейтенанту. — Вы же видите: гражданин совсем не в себе... Уж поверьте моему опыту. Если, не дай Бог, что случится — вам же потом отвечать.

Лейтенант струхнул и вызвал психобригаду.

И вот я лежу в сочинской психбольнице. Тоска. Невозможно никому ничего доказать. Местные психиатры убеждены, что я сошёл с ума. И чем дольше я тут нахожусь, тем больше становлюсь и впрямь похож на сумасшедшего. Вчера, например, я в отчаянии бился головой об стену. А сегодня накинулся на лечащего врача. Санитары еле оттащили.

Лечат меня активно — тизерцином и трифтазином, планируют провести шоковую инсулинотерапию, после которой я стану, скорее всего, окончательным идиотом. А что будет дальше? Об этом я боюсь и подумать. Не вижу просвета. Кромешный мрак.

Сегодня этот подлец явился в больницу. Мой врач разрешил нам свидание. И вот мы беседуем в маленьком кабинете.

— Я зашёл проститься, — сказал самозванец. — Завтра уезжаю. Не поминайте лихом...

— Верни мой диплом! Вор!

— Чудак... Разве дело в дипломе? Судьба — вот кто нами распоряжается. Рано или поздно ты непременно оказался бы на больничной койке. А я — рано или поздно — занял бы твоё место. Так что, если судить по большому счёту, всё справедливо...

— Словоблуд! Мошенник! Ты меня погубил!

Он нахмурился, не сразу ответил.

— А хочешь — спасу? — вкрадчиво спросил после паузы.

— Подлец! Шарлатан!

— Ну, тихо, тихо... Успокойся. Закрой глаза... Глаза закрой, кому говорят! Вот так... А теперь слушай внимательно. Ты слышишь только

мой голос! Только мой голос! Я даю тебе установку: будь счастлив! Сейчас ты пойдёшь в палату, ляжешь и хорошенько выспишься. А когда проснёшься, душа твоя будет чиста и свободна от дурных мыслей, от злобы и зависти. Ты будешь доволен тем, что есть. Ты вернёшься в родной город, к жене и мамочке... У тебя будет отныне бодрое, жизнерадостное настроение... Я так хочу! Я тебе приказываю! И до конца своей жизни ты будешь счастлив. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо!

И всё ведь сбылось, как предсказал, вернее, как приказал этот мерзавец. Я вернулся домой, к жене и маме... И больше я ни о чём не мечтаю... я счастлив... я счастлив... Всё прекрасно в этой жизни — и солнце, и снег, и дождь, и любящая жена, и заботливая старушка-мама, и верные друзья-приятели, и добрые соседи, и звери, и птицы, и насекомые... И я ни на что, абсолютно ни на что не претендую. Главное — трижды в день принимать по зелёной таблетке, и всё будет хорошо.

### **Плебей и аристократка**

Меня никто не любит и не любил никогда. Даже покойная мама — царство ей небесное — не хотела меня рожать, я это знаю совершенно точно. Она мне сама об этом рассказывала неоднократно. В детстве товарищи не хотели со мной играть, в юности девушки меня сторонились. Когда я после окончания мединститута стал работать в поликлинике, мои пациенты почему-то не хотели идти ко мне, упрашивали в регистратуре, чтобы их карточки перекинули врачу другого участка. Жена не любила меня — и недавно бросила окончательно, уехала на Сахалин, лишь бы от меня подальше. Вообще никто меня не любит, не уважает, не принимает всерьёз, никто не прислушивается к моему мнению. Иногда на планёрке я что-нибудь произнесу — все врачи только отмахиваются. Иду ли по улице, еду ли в трамвае — все на меня смотрят с явным пренебрежением. И я привык, не обижаюсь.

После ухода жены жить стало скучно — и я решил завести собаку. Вскоре подвернулся подходящий вариант. Володя Петруньков, наш рентгенолог, как только услышал про моё желание скрасить домашнее одиночество — подскочил с конкретным предложением:

— Купи у меня! Английский коккер-спаниель, сука, Дианой зовут. Купи, не пожалеешь.

— А ты сам — как же?

— Отрываю от сердца! — закатил Петруньков бараньи глаза. — Жена второго ребёнка родила, дома и так тесно, пелёнки-распашонки, не до собаки... А ты один. Собака породистая, родословная — как у английской королевы... Бери, пока я не передумал.

— Почём?

— Тебе, по дружбе, отдам за полторы тыщи.

Полторы тысячи за хорошую собаку — и впрямь недорого. Подумал я, поразмышлял — и решил взять. Привёл эту Диану домой.

Сажу на диване, читаю её родословную, а Диана лежит на полу и смотрит на меня печальным вишнёвым взглядом. Красивая псина, ничего не скажешь: уши большие, пушистые, чёрные, грудка белая, лоб тоже белый, выражение морды грустное. И глаза, глаза... Смотрит на меня, не отрываясь. Насмотреться не может. Никто в жизни никогда не смотрел на меня так долго и неотрывно, обычно все отворачивались, а тут...

— Ну, иди сюда, — говорю. — Чего уставилась?

Подошла, положила голову мне на колени, закрутила коротким хвостом.

Родословная у Дианы и впрямь оказалась аристократической: отец — Мунлайт Тэдди, мать — Хэппи Хэвенли, оба россияне; а вот начиная с дедушки — идут иноземцы: дед — голландец Идус ван де Брабостад, прадед — из Бельгии — Гинго ван де Брабостад, другой прадед — англичанин Скай Лорд, третий — Ритолан Дали из Финляндии; ну и прочие там прабабушки и прапрадедушки — тоже сплошь голубая кровь.

Мне даже завидно стало: вот ведь, думаю, тварь бессловесная, сука — и может гордиться своей родословной. А я, человек, царь природы — жалкий плебей по сравнению с ней, дальше бабушки никого из своей родовой и не знаю. Да и кто там на моём генеалогическом древе? Мелкие служащие, мещане, из крепостных, лакеи... И даже имя моё показалось мне банальным и пошлым: Бантиков Алексей Иванович... Бантиков... тьфу! Половой из трактира! Приказчик из лавки! Конторский писарь! Рабская, холуйская кровь... То ли дело — Диана. У неё ведь и полное имя имелось — вот оно, в родословной записано, звучит как музыка: Диана Вайд Пингвинз Софт Мелоди!..

Вот она, рядом сидит, смотрит вишнёвым взглядом, чуть наклонив ушастую голову, и мне кажется вдруг, что она читает мои мысли и мне даже сочувствует. Немигающий взгляд собаки действует на меня гипнотически: я закрываю глаза, собачья родословная выпадает из моих рук, отяжелевшая моя голова откидывается на спинку дивана, и я засыпаю, засыпаю...

А когда глаза мои открываются, я с изумлением обнаруживаю себя сидящим на белой скамейке в чудесном тенистом парке, разморённым полуденным жарким солнцем, пробивающимся сквозь изумрудную листву. На жёлтый песок аллеи, порхая, садится большая перламутровая бабочка, по моему рукаву лениво ползёт божья коровка. Я с удивлением обнаруживаю, что на мне светло-кремовый лёгкий костюм, сиреневая шелковая рубашка... Очень странно: когда и где я успел переодеться? И как вообще я попал в этот парк, на эту аллею? Я оглядываюсь и вижу аккуратно подстриженные газоны,

кусты цветущих роз, вековые дубы, липы, стройные кипарисы... Да что ж это за райское место такое?

— Где я? — восклицаю, обращаясь в пространство.

И слышу девичий смех. Передо мной возникает прелестное создание: темноволосая девушка в белой блузке и светло-серой короткой юбочке. Она смотрит на меня тёмно-вишневыми глазами и смеётся:

— Проснулся наконец?

— Кто вы? — шепчу я.

— Да неужто не узнаёшь? — всплёскивает она руками. — Ну и кавалер!

Я всматриваюсь, всматриваюсь в неё — и с каждой секундой лицо этой девушки кажется мне всё более знакомым и близким.

— Да кто же вы?.. Как ваше имя?

— Какой ты, Алёша, беспамятный, — укоризненно произносит она и протягивает свою нежную узкую руку. — Я — Диана... Неужто и впрямь не узнал?

— Диана? — я поднимаюсь со скамейки, послушно следую за ней, слушаю её волшебный воркующий голос, подчиняюсь её нежной воле. — Да, разумеется, Диана... теперь я всё вспомнил... Конечно, мы с вами знакомы...

— Ещё бы! — смеётся она. — Уговаривал меня поехать с ним на край света, а теперь даже и узнавать не хочет... Хорош!

— Диана, стойте... я вот что хочу спросить... Вы только не обижайтесь!

— Да, я слушаю, — она останавливается и смотрит на меня пристально, без улыбки. — Я слушаю, слушаю тебя, Алёша.

Тот ужасный вопрос, который я хочу ей задать, так и не может сорваться с моего онемевшего языка — и я спрашиваю совсем другое:

— Значит, я вам не противен, Диана?

— Нет, — говорит она просто, — более того... я хотела тебе признаться, Алёша...

— В чём? Ради Бога — в чём?

— ...нет, ты сам догадайся, — еле слышно заканчивает она и отводит глаза. — Я тебе после скажу...

Она ласково улыбается и настойчиво тянет меня за собой. Мы идём по хрустящим золотым аллеям мимо благоухающих розовых кустов, приближаемся к огромному светлому зданию, поднимаемся по беломраморным ступеням — и оказываемся в просторном помещении, состоящем из множества комнат и коридоров, и эти бесконечные анфилады кажутся мне чрезвычайно знакомыми, узнаваемыми, хотя в то же время я чётко осознаю, что впервые оказался в этом сказочном дворце. Всё окружающее может быть только сном, только подсознательным воспоминанием о забытой, ушедшей, исчезнувшей жизни... но горячая живая реальность — вот же она! — зажата в моей руке — вот они, нежные девичьи пальчики, вспотевшие от волнения... — Проснись, Алёша, — говорит Диана.

И я просыпаюсь.

Я сижу на своём старом продавленном пыльном диване в драных синих трикотажных штанах и домашних тапочках, а передо мной сидит, чуть склонив набок брыластую морду с лохматыми чёрными ушами, моя верная собака и смотрит на меня печальным тёмно-вишнёвым взглядом.

— Ну, чего тебе? — спрашиваю.

Диана, разумеется, молчит.

Я протягиваю руку — она подходит, прижимается ко мне, лижет мою ладонь, кладёт мне голову на колени, вздыхает прерывисто — и закрывает глаза.

— Ах, Дианочка, — говорю я ласково, и вдруг моё горло перехватывает необъяснимое волнение: вот наконец-то нашлось и для меня живое любящее существо...

Я раздеваюсь, укладываюсь в постель — и всю ночь напролёт вижу романтические сны с авантурными приключениями, с погонями и похищениями, с перестрелками и воздушными полётами. И непрерывной участницей каждого сновидения является вишнёвоглазая красавица Диана...

— Ну и как? — спросил меня на работе рентгенолог Володя Петруньков. — Как там моя Диана?

— Замечательная собака, — ответил я.

— Значит, доволен? Ну и слава Богу. Я рад за тебя, — потом откашлялся и осторожно спросил: — А ничего странного ты не заметил?

— То есть?

— Ну... может, что-нибудь в её поведении...

— Вроде всё нормально. А что ты имеешь в виду?

Я догадывался, к чему он клонит.

— А ночью тебе ничего особенного не снилось? — продолжал допытываться Петруньков.

Я пожал плечами, отрицательно покачал головой.

Так я тебе и признаюсь!

— Всю ночь спал как убитый, — сказал я. — А в чём дело?

— Да нет, ничего особенного... — и он притворно рассмеялся. — Очень рад, дружище, что собака пришлась тебе по вкусу! Значит — судьба!

Тут он был абсолютно прав.

И на этом закончился наш разговор, и мы разошлись по своим врачебным кабинетам.

Но я догадывался, чувствовал, знал, что в моей неприкаянной сиротливой жизни произошли грандиозные перемены. Я твёрдо знал, что отныне меня поджидает возле порога верное любящее существо. Я знал, что теперь-то и я кому-то нужен. И мне есть с кем побеседовать по душам в одинокие зимние вечера. А можно и за город прогуляться, и в лес, и куда угодно. И теперь я уверен, что моя верная вишнёвоглазая

спутница никогда меня не бросит и не разлюбит. И каждую ночь она будет засыпать со мной рядом и своей нежной собачьей волей будет внушать-навевать мне изысканные романтические сновидения — и моя плебейская загнанная душа будет постепенно оттаивать, оживать, возрождаться, и сновидения эти будут такими прекрасными, яркими и насыщенными, что по утрам не захочется просыпаться.

## Крапива

Волков не был на этом кладбище лет двадцать. С того дня, как похоронил мать, — ни разу. Сразу после поминок уехал в длительную командировку, потом, после возвращения, развёлся с женой, оставил её с двумя детьми и вскоре надолго покинул родной город. Про мать старался не вспоминать. Она его сильно обидела — завещала свою однокомнатную квартиру не ему, а его брату, своему младшему сыну. Хотя при жизни, да и незадолго до смерти недвусмысленно намекала, что оставит приватизированную квартиру ему, Волкову. И это было бы вполне логично и справедливо: ведь он один ухаживал за матерью в последние месяцы её жизни, на него одного легли все тяготы. А где был в это время младший брат? То учился в университете, то бросал его, то где-то работал, то тунеядствовал, пьянствовал, пребывая на содержании у сомнительных женщин. Разве можно было такому отдавать квартиру? И больную мать он почти не навещал, заходил только, чтобы выклянчить десятку из её скудной пенсии. И ни разу ведь не помог, не принёс ни лекарств, ни хлеба, ни разу не поинтересовался: нужна ли помощь? А ведь он-то, Волков, он так рассчитывал на эту квартиру — ведь он давно собирался (и мать это знала) развестись с женой и начать новую жизнь. И вот — сюрприз: мамочка завещала квартиру не ему, а беспутному Славке! Волков был оскорблён, шокирован. И за все эти годы ни разу не пришёл на могилу матери.

Несколько лет он прожил во Владивостоке, вторично женился, но вскоре развёлся снова, счастье напрочь отвернулось от него, всё рушилось — и карьера, и здоровье, и вся жизнь пошла под откос. Гипертония, бессонница, геморрой. Волков вернулся в родной город, где его никто не ждал, долго не мог устроиться на работу, инженеры его профиля не были нигде нужны; наконец, его взяли менеджером в одну мелкую коммерческую фирму. Он снимал комнату в домике на окраине. Узнал, что брат давно умер, а квартиру матери успел продать и пропить. Псу под хвост — и квартира, и семейное счастье, и работа. Вся жизнь — псу под хвост.

Заглушая тоску, Волков пил каждый вечер, закрывшись в своей комнатёнке. Выпивал бутылку водки, разговаривал сам с собой, бурно плакал, раскачивался взад-вперёд, сидя за столом и потрясая сжатыми кулаками. Иногда вставал, подходил к зеркалу, грозил сам себе пальцем, снова плакал. Потом падал в кровать, разбросав одежду по полу. Засыпал как убитый и спал без снов.



Но в последние ночи ему вдруг стала сниться покойная мать. Она виделась ему во сне совсем как живая, как будто и не умирала совсем. В одном из таких сновидений мать явилась пред ним поразительно молодой, какой была в его давние детские годы, о которых он не только давно уж не вспоминал, но даже совсем и не помнил. И вот надо же — в этом ярком сне она была такая живая, красивая, молодая... в крепдешиновом сиреневом платье... и протягивала к нему руки, и звала, и смеялась, и брала его, малыша, на руки, прижимала его к груди... и он просыпался весь в слезах, с отчаянно бьющимся сердцем, и долго не мог отдышаться, прийти в себя. И, конечно же, после этого он уж больше заснуть был не в силах.

Эти мучительные, душераздирающие сны стали повторяться каждую ночь. Мать являлась ему в разных возрастных обликах и разных ситуациях, но в покое его она не оставляла. Волков боялся ложиться спать — неизбежно появляющаяся мать истерзала его, измучила. Последний раз она ему приснилась больной, умирающей, совсем такой, как двадцать лет назад, исхудавшей, бледной, в одной рубашке — она медленно подошла к нему и с упреком произнесла: «Почему ты не хочешь меня навестить? Я соскучилась... Приходи, сыночек!»

Проснувшись, он понял, что с этим надо кончать. Жить так дальше было невыносимо. Надо срочно проведать могилу матери — и тогда эти сны прекратятся, и она оставит его в покое.

В тот же день, ближе к вечеру, после работы, он поехал на старое кладбище. Сунул в сумку бутылку водки, стакан, батон, два помидора. Возле кладбищенских ворот купил дешёвый веночек из искусственных ромашек. Долго искал могилу. На этом кладбище уже более десяти лет были запрещены новые захоронения, многие могилы пребывали в запустении, никем не посещались. За всё лето (а стоял уже август) на кладбище бурно разрослись полынь и крапива. Могила матери находилась в самом дальнем, самом заброшенном и забытом конце кладбища, и чтобы приблизиться к ней, Волкову долго пришлось продирааться сквозь густые и жгучие заросли пыльной крапивы, вымахавшей в рост человека. Размахивая подобранной на дороге палкой, Волков крушил налево и направо толстые и колючие стебли, но они лишь пригибались и тут же распрямлялись вновь. Запыхавшийся, красный, потный, он наконец пробился к могиле. Постоял, прислонившись к оградке, унимая одышку. Потом долго распутывал ржавую проволоку на дверце. Могила тоже вся заросла бурьяном. Волков притоптал траву, слегка очистил могильный холмик от мусора, потом присел на скамейку возле железного столика. Удивительно, как он ещё отыскал могилу. Ведь столько лет прошло! Не менее был удивлён он и тем, что на железной пирамидке, под звёздочкой, сохранился керамический овальный портрет матери. На этом портрете, потускневшем, но вполне различимом, мать была не очень старой, улыбающейся, её светлые глаза лучились любовью и добротой.

Посмотрев на лицо матери, Волков нахмурился и отвёл глаза. Потом достал из сумки бутылку и скудную закусь. Налил полный стакан, ещё раз глянул на улыбающееся лицо матери, глубоко вздохнул — и залпом выпил.

— Со свиданьем, — буркнул он, закусывая водку батоном и помидором. — Ты уж, мать, не сердись, что я так долго не появлялся... Сама виновата. Не надо было меня обижать. Я ж просил тебя — помнишь? — оставь мне квартиру, и я бы наладил всю свою жизнь, у меня ж было всё продумано... Если б ты сделала, как я просил, я бы... Да я бы сейчас жил как король! Мне в ту пору всё удавалось, всё плыло в руки. А ты своим завещанием — как нож в спину! Зачем ты так, мама?!.. Славка продал и пропил твою квартиру и сам загнулся. А я? И моя жизнь сломалась, пошла наперекосяк!.. Ты этого, что ли, хотела? Ну, чего молчишь? Ты ж хотела, чтобы я сюда пришёл, обижалась, что не хожу... Ну, вот я пришёл! И что дальше? Ты — в могиле, брат — тоже, я — живой труп... и ты рада, мама?

Волков налил ещё и жадно выпил. Когда шёл сюда, думал, что посидит возле могилы — и ему полегчает. Но покоя в душе как не было, так и нет, грудь сжимается от тоски, саднит, сердце ноет...

— Почему мы так мало любили друг друга, мама? — прошептал он, глядя на овальный её портрет. — Почему брат Славка, пьянь и бич, был дороже тебе, чем я? А ведь я так заботился о тебе, ухаживал за тобой, помогал во всём... Это нынче я опустил, а тогда я был мужик что надо, крепкий и трезвый, удачливый и весёлый. Я стоял на пороге новой жизни, я уже собирался перешагнуть этот порог, но ты подставила мне подножку... Ну, чего ты так смотришь? Разве я не прав? Или ты хочешь сказать, что я тоже недостаточно тебя любил? Да, наверное, это так... но я никогда не уклонялся от выполнения сыновнего долга... Правда, если уж честно, в последние твои дни я мысленно тебя подгонял, поторапливал... твою затянувшуюся агония, мама, могла бы быть и покороче... Ты измучила меня, я изнемог от усталости... А в последний день, когда участковый врач сказал, что смерть наступит с минуты на минуту, я, оставшись с тобой наедине, помню, даже шептал: «Ну же, мамочка, хватит тянуть, сколько можно?..» И ещё. Пусть всё это звучит и ужасно, но я знал, что если ты умрёшь позднее пяти часов вечера, (а была пятница), то я уже не успею оформить в тот же день медицинские документы, и вся волокита затянется надолго. А был июль, дикая жара... ну, ты понимаешь, мама, что затягивать это дело было совсем ни к чему... И вот, когда на часах было уже около пяти, а ты хоть и находилась в глубокой коме, но ещё жила, я осмелился ускорить процесс: взял вторую подушку и положил её на твоё лицо... Нет-нет-нет! Ты не мучилась, не страдала! Ведь ты была без сознания, в коме, ты ничего не чувствовала... Так что я, выходит, избавил тебя от дальнейших ненужных страданий... ты отмучилась! Разве не так? И я успел в тот же день оформить все

документы, и успел поместить тебя в морг, и быстро договорился насчёт похорон... Я всё сделал как надо, я всё успел!

Он выплеснул в стакан остатки водки, выпил. Долго сидел молча. — Лучше бы ты меня не рожала, мама, — сказал он вдруг. — Мне нечем тебя порадовать и утешить. Я, наверное, не люблю тебя. И никогда не любил. Я вообще не знаю, что такое любовь. А ты знаешь, мама? Мне так кажется, что на этом свете вообще никто никого не любит... И я больше не приду к тебе, никогда не приду. А ты больше не снись мне, пожалуйста, ни к чему всё это... Договорились? Ну всё, прощай.

Он встал, покачиваясь, помахал вялой ладонью, вышел из оградки и направился было к центральной аллее. Но густые заросли крапивы тут же преградили ему дорогу, и все попытки прорваться сквозь эти жгучие джунгли были тщетными.

— Что за чёрт! — раздражённо выкрикнул Волков, топча и ломая негнущиеся стебли, обжигаясь и дико бранясь от боли и нетерпения. — Да пусти же, в конце концов!..

Но крапива казалась непроходимой, она застила ему свет, обжигала лицо и руки, оплетала ноги густыми и цепкими, как ядовитые щупальца, стеблями...

Завязнув в крапивной чащобе, он испугался, запаниковал, заметался, тщетно пытаясь вырваться, с отчаянным криком рванулся прочь, но, споткнувшись, упал лицом вниз, в какую-то яму, особенно густо заросшую крапивой. Издав рыдающий вопль, он судорожно задёргался — и затих, обессиленный, изнемогший.

Там его и нашли через два дня — мёртвого, неузнаваемого, с искажённым от ужаса серым лицом, покрытым фиолетовыми волдырями.

Евгения Захарчук

## Зимним вечером

Победитель краевого литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза» среди детей

Каждый закат — особенный, неповторимый. Каждый закат — это тонкая граница между днём и ночью, прекрасная и неотразимая. Каждый закат проходит быстро, но достаточно долго, чтобы успеть полюбить получившийся пейзаж. Закаты в степи, закаты в городе, закаты на море — все закаты разные. Закаты в нашем городе тоже необычные. Фасад городского Дворца творчества наблюдает эту картину последним, пока солнце не село за тайгу. И устало смотрит ему вслед застывший Андреевский ручей.

Зимним вечером сумерки ложатся на глубокие краски тайги и заволакивают небосвод, пропуская вперёд себя лёгкий морозец. Внизу снуют пешеходы и машины, спеша домой, к теплу и горячему чаю. Лиственницы у дороги ещё не сняли свои пожелтевшие иголки, сквозь которые просвечивает бархатный багровый закат. Стоит недвижно величественная колоннада, гордясь своим чистым белым светом, способным отразить заходящее солнце. И только вздыхает розовый снег, скромно блестя в такт переливам лучей. Солнце ласково коснулось красного замочка на синем мосту и продолжило свой путь за горизонтом. Замки засмутились и начали колыхаться на подвесном мосту, и можно было расслышать лёгкий звон металла, на котором только на этой неделе появилась первая ржавчина. Застывший под толстым слоем снега ручей казался большой ледяной горкой. Ещё большую схожесть со знаменитым зимним развлечением ему придавали скатывающиеся с радостным криком по наклонной плоскости вниз дети, вооружившиеся ледянками и картонками, которые когда-то были большой коробкой. Раскрашенные в пастельные тона и затемнённые грядущей ночью дома искоса поглядывали на величественное здание с белыми колоннами. Загорелась первая звезда, и все посмотрели на неё. Посмотрели дети, расходящиеся по домам. Посмотрели лиственницы, мост, замочки на нём, снег. Посмотрел ручей сквозь толщу снега. И даже колоннада посмотрела вверх. Наступила ночь.

Николай Гайдук

## Блистательный почерк

И радостно, и горько смотреть на пламя иных талантов; чей-то сердечный огонь золотой с годами прищурился, а потом, глядишь, совсем зажмурился, растаявши дымками последних лирических строк; а чей-то огонёк ещё трепещет мотыльками на ветру, но тоже вот-вот улетит в небытие. И только поэтическое пламя Анатолия Третьякова продолжает весело и молодо блистать, не сдаваясь ни личному возрасту, ни тем буреломным ветрам, которые в последнее время нещадно корчуют духовное пространство нашего Отечества.

И в этой подборке нельзя не заметить блистательный почерк поэта. Взять, например (прошу прощения за тавтологию), «Взятие снежного городка» — стихотворение, в котором задорно, морозно искрится духом крепкий юмор сибиряка Третьякова, через века перекликающегося с другим Третьяковым, под своим крылом пригревшим картины Сурикова. Или взять другое стихотворение из подборки, сверкающее уже не улыбками, а, скорей, слезами, — «Прощайте! Нечего прощать...»; здесь видна работа поэта-ювелира, обострённо осязающего огранку Слова — где его нужно тронуть инструментом, а где можно поставить слово так, что оно и само по себе зазвонит, заиграет.

Давно уже знакомый с творчеством поэта, я сегодня думаю: должно быть, великий запас от рождения почерпнул А. Третьяков из тех потаённых запасников, из тех кладовых, которые зовутся душой народа, языком народа. Неприметная вроде бы, скромная сила духа стихов Анатолия Третьякова способна творить чудеса, вот почему сегодняшний русский читатель, заметно поредевший, к сожалению, но не измельчавший, безошибочно угадывает его искренний голос и безоглядно принимает в сердце — это видно по отзывам, разбросанным по тенётам Всемирной паутины, это слышно в разговорах за столом, где ещё могут вести толковище не только политическое, но и поэтическое.

Возраст поэта — возраст его стихов. Можно и в юности душой надломиться, притомиться и начать свою немудрёную зауспокойную мессу. А можно дерзко и отчаянно наплевать на возраст — «пусть серебро годов вызванивает уймою!» — и самозабвенно, упрямо делать своё дело, как будто за спиной всего лишь двадцать или тридцать вёсен, осыпанных цветом черёмухи и угарным перезвоном соловьёв... Примерно так, мне кажется, живёт и пишет Анатолий Третьяков.

Хотя, конечно, это — только кажется. Время печали и время потерь не обошли его стороной. И это неудивительно — за плечами громоздятся горы прожитого. Удивительно другое. Молодость его поэзии, его постоянная связь, почти рубцовская, мучительная связь «с каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть».

В документальном кино, да и не только в документальном, есть такое выражение: «уходящая натура». Я знаю, насколько печально это может сейчас прозвучать, но всё-таки скажу: такие поэты, как А. Третьяков,— это уходящая натура. И это, к сожалению, далеко не тот счастливый случай, когда можно было бы воскликнуть: свято место пусто не бывает. Очень даже бывает. И мы уже видим эти пробоины в нашем искусстве, чёрные зияющие дыры, свистящие вселенскими ветрами,— там, где прежде творили мастера литературы, кино и театра. Да, на смену приходят другие. Да, небесталанные. Только никогда они не смогут заменить ту уходящую природу, которую невозможно заменить по определению. Просто воздух уже над планетой — другой; раньше этот воздух буянил ароматами, а теперь же этот воздух почти не пахнет — потому что в нём витают деньги. И течение крови по веткам кровеносных сосудов — другое, менее жаркое, но более деловое, меркантильное. И течение мысли — другое, в суете и в томлении духа. И всё меньше и меньше в поэзии, да и в искусстве вообще, людей, способных несуетно, мудро построить свой собственный дом и населить его своими лирическими героями. А вот у него, Анатолия Третьякова, была и, слава Богу, есть ещё нехитрая своя, скромная крестьянская изба — в самом высоком поэтическом смысле. Изба, которую он топил и топил золотыми поленьями строчек и строф. И так же, как прежде, как полвека назад, он пытается обогреть не столько себя самого, сколько людей, находящихся рядом. И что уж совсем поразительно, что присуще только большим поэтам — Анатолий Третьяков пытается обогреть Вселенную, прекрасно понимая, что этого сделать нельзя, невозможно, и в то же время твёрдо осознавая, что жить по-другому у него не получится. «Осуждён я на каторге чувств вертеть жернова поэм», как сказал великий русский лирик. Но осуждение такого рода — я в этом больше чем уверен — это осуждение на успех.

Стихи — это дети поэта, и счастлив тот лирический отец, дети которого шагнут за горизонт, в день завтрашний и послезавтрашний. И в этой связи мне охота сказать: стихи Анатолия Третьякова обладают загадочною силой долгожителей, которые неспешно и несуетно много ходили горами, долами, собирали волшебные травы, коренья, вели разговоры с дождями, с метелью-княжной, глубоко дышали лунным и звёздным воздухом, пили вино, песни пели и умывались чистой росой. И дай-то Бог здоровья этим детям! И дай-то Бог здоровья их отцу, земному, утомлённому, но всё-таки огонь в душе хранящему творцу!

*Дивногорск, 15 мая 2014*

Анатолий Третьяков

## Там, где даль перешла в бесконечность

### Крест

На снежной вершине,  
Где ветры свистящие стынут  
И после летят они вниз  
На долины разбойно,—  
Лишь крест почерневший,  
И вечная неба пустыня  
Сияет над ним.  
И гора вознеслась колокольней!  
Отсюда до Бога рукою подать...  
И, наверно,  
На суд Его явится тот,  
Кто в камнях похоронен,  
Быстрее, чем другие...  
Пред Богом предстанет он первым,  
И голову молча опустит,  
И руки уронит.  
И скажет Господь...  
Он помилует иль покарает?  
И кто под крестом на вершине...  
Святой или грешник?  
И скажет Господь...  
Что он скажет,  
Никто не узнает.  
Лишь ветры рыдают  
Над чёрным крестом безутешно.  
...И кто мне поведал  
Об этом кресте безымянном?  
Легенды, былины,  
Сказанья ли в том виноваты?..  
Но крест этот чёрный  
Всё видится мне постоянно.  
Мне кажется: сам я под ним  
Похоронен когда-то  
На снежной вершине,  
Где ветры свистят ледяные,  
Где вмёрзло распятье.

Никто его с места не стронет!  
Что я похоронен —  
Об этом не знают родные.  
Но я похоронен,  
Под чёрным крестом похоронен.  
Не мной вознесён он  
Под самое небо в страданиях.  
На этой вершине  
И раза единого даже  
Я не был.  
За что мне  
Такое дано наказание?  
И скажет Господь...  
Одному мне когда-нибудь скажет.  
И я отступлю.  
Опущу только голову молча.  
И скажет Господь...  
Что он скажет — никто не узнает.  
Но голос Его, словно гром,  
Прогремит среди ночи.  
Над чёрным крестом  
Золотая заря воссияет.  
И ветры в последнюю ночь  
Над крестом прорыдают.  
И снег затвердеет,  
И воздух замрёт, неподвижен.  
И кончится тут же  
Моё наважденье — я знаю.  
И крест на горе  
Я уже никогда не увижу.

## **Крик**

Вот роддом — начало всех начал...  
В нём новорождённый закричал,  
Объявляя всем, что он родился,  
Чтоб смеялась мать, отец гордился!  
И в ночи услышал этот крик  
Из окна открытого старик.  
Головой седую покачал:  
«Я, наверно, тоже так кричал...»  
Он себя представил голышом —  
Тем новорождённым малышом.  
Усмехнулся и приободрился —  
Будто бы и вправду вновь родился!



## **У картины В. И. Сурикова «Взятие снежного городка»**

Вряд ли такое из памяти выбросишь:  
Удаль сибирская, вишни-глаза!  
Нынче и снега такого не выпросишь,  
Как на холсте,— видно, Бог наказал!

Смех и азарт. И никто не в обиде.  
Конь, хоть лохмат, не подвёл казака.  
Словно и вправду я сам это видел —  
Взятие снежного городка.

Даже к девахам подкатывал дуриком,  
А краснорочки — кровь с молоком!  
Кстати, Василий Иванович Суриков  
Был с Третьяковым прекрасно знаком.

Брать городок. Всех конём опрокидывать.—  
Жаль, не вернуть нам старинных утех!  
Однофамильцу не грех позавидовать.  
И земляком похвалиться не грех!

## **Карета прошлого**

В карете прошлого, где не нужны и кони,  
Уехать можно далеко едва ли...  
Но я сажусь в карету, чтобы вспомнить  
Все горки те, что Сивку укатали.  
Кровавым потом тянет от оглобель.  
Колёса вертятся назад с тяжёлым скрипом.  
И в материнской маюсь я утробе,  
Чтобы родиться под созвездьем Рыбы.  
Вот за окошком детство золотое,  
Где вместо хлеба — лебеда... Но выжил!  
Вот юность быстротечная. Зато я  
Таким счастливым это время вижу!  
А вот и зрелость, а за нею — старость,  
Где лишь одни болезни и потери.  
Но и от счастья что-то да осталось!  
Любовь свои мне открывала двери.  
Карета прошлого. Зачем в неё садиться?  
Там никого не призовёшь к ответу.  
И сколько жизнь моя ещё продлится?  
Жаль, что кареты будущего нету!

## Вид из окна

Утром день был прекрасным обещан.  
На высоких деревьях в саду  
В синеве всё же листья трепещут,  
Словно мелкие рыбки в пруду.  
Засмотрюсь. Обо всём позабуду —  
Ни побед не считая, ни бед.  
Ждать не стану грозы ниоткуда —  
И бояться мне вовсе не след...  
Почему вдруг подступит тревога,  
Боль вернётся от прошлых обид?  
Просто память не следует трогать,  
А смотреть на открывшийся вид  
Из окна в день погожего лета,  
В это синее небо и даль!  
И представить себе, что всё это  
До сих пор никогда не видал!

## Памяти Алитета Немтушкина

Эвенк Немтушкин Алитет  
Был непростого нрава,  
При жизни — признанный поэт  
И Эвенкии слава!  
«И ныне дикий», — так писал  
Наш Пушкин о тунгусе.  
Тунгус водил машину сам  
И встреч с ГАИ не трусил.  
Машина — всё же не олень,  
Сдать на права непросто.  
Поэт всё смог преодолеть,  
Он с новым веком сросся.  
Как будто космос космонавт,  
Освоил Красноярск он.  
И поэтический талант  
Здесь разгорелся ярко.  
Я ездил ночью с ним и днём.  
Поэт любил дорогу.  
Тунгус как бог был за рулём,  
Ничуть не лгу. Ей-богу!  
Ушёл он рано в Нижний мир...  
О нём в журналах пишут.  
А я в бряцанье сотни лир  
Его лишь лиру слышу.

\* \* \*

Какие я травинки не покусывал.  
И на каких полянах не лежал!  
В России небо я смотрел без усталы —  
Другого неба в жизни не желал!

А вот туда, где блага обещали,  
Опаздывал на год, на полчаса.  
И возвращался. И меня прощали  
И встать просили эти небеса!

Мне солнце облака не заслоняли,  
И жар земли я чувствовал спиной.  
Как золотые лебеди, склонялись  
Пшеницы спелой стебли надо мной.

Спешили птицы звоном день наполнить.  
И если я в последний раз споткнусь,  
Лицом к родному небу — чтоб запомнить —  
Я даже после смерти повернусь!

\* \* \*

Друг другу нечего прощать:  
Ни в чём, друзья, мы не повинны.  
Но время на две половины  
Нам жизнь привыкло разобщать.  
И то, что связывало нас,  
Что долго было общим делом,  
Куда-то словно улетело,  
Огонь горел — и вдруг погас!  
Но как же можно позабыть  
И всё в единый миг разрушить?  
Расстаться — словно вынуть душу!  
Тут вправду: «Быть или не быть?»  
Прощайте! Всё простим друг другу...  
А «здравствуй!» — это новый круг,  
И в нём сойдётся всё не вдруг,  
Но после всё пойдёт по кругу.  
Неужто всё навеки канет?  
Зачем свиданья обещать?  
Прощай! — Не слово, а праща!  
И не с души, а в душу камень!

\* \* \*

И, как всегда, в предчувствии беды,  
Но, как всегда, без видимой печали,  
Я оставляю на земле следы  
Не для того, чтоб вы их замечали.  
И не тотчас пушусь я босиком  
По этим тропам и по этим травам,  
Где гуси, как бутылки с молоком,  
Издалека видны по переправам.  
Где по утрам — такая благодать!  
Как будто перепутал явь и сон ты...  
И всё кому-то хочется отдать:  
Возы, и облака, и горизонты.  
И, как всегда, в предчувствии беды  
Хотел бы... Но не в силах изменить я  
Покой небес, и холодность воды,  
И неизбежность близкого события.

\* \* \*

Там, где даль перешла в бесконечность,  
Там, где небо с землёй заодно,  
Протекает река... Беспечность —  
Имя этой реке дано.  
Жизнь моя, почему ты ладонями  
Из реки этой воду пьёшь?  
Никого мы с тобой не догоним,  
Только будет марева дрожь.  
Да над нами одно и то же  
Это небо на целый век.  
Я тебя ещё, жизнь, не прожил.  
Разве мало на свете рек?!  
Нам Беспечность-река — погибель.  
Нам другой бы водораздел.  
Жизнь моя! Мы с тобой смогли бы  
Много сделать прекрасных дел.  
Столько рек мы с тобой переплыли.  
Вот встречаем ещё одну.  
Но, Беспечность, опять не ты ли  
Посылаешь свою волну?

Наталья Наливайко

## Алмаз

### Просто слово

Моя Россия — капли с крыш  
 И рек бурлящие пороги.  
 И та земля, где ты стоишь,  
 И все пути, и все дороги.

Горячий крепкий чёрный чай  
 (Пусть выпью только половину)...  
 И тот укрытый снегом край,  
 Где слёзы на морозе стыннут.

Леса (куда же без лесов?),  
 Ну и поля, конечно, тоже.  
 И те места, где колесо  
 Вгрызается в асфальта кожу.

И вяжущий мне душу сок  
 Кроваво-праздничной рябины,  
 И сладкий воздуха глоток.  
 И все мечты, и все былины.

В своей безумной красоте  
 Она принять в себя готова  
 И ад, и рай. И даже тех,  
 Кому Россия — просто слово.

### Книги

Наука в объятьях прогресса  
 И сонмы различных религий  
 Имели б хоть толику веса  
 Без толстого томика книги?

И, падая с жизни обрыва,  
 Мы если и станем крылаты,  
 То ради того, что открыла  
 В нас добрая книга когда-то.

## Время

Время зудит надоедливym комаром,  
Копит вагоны обид и тряпья завалы.  
Мысли у времени только лишь об одном:  
«Ну покорми... Ты же видишь, меня так мало!

Ну покорми, ну пожалуйста. Дай чуть-чуть  
Книг, разговоров, желаний и впечатлений».   
Время кричит, по ночам не даёт уснуть,  
Память съедает, взамен оставляя тени.

То вдруг окатит холодной речной волной.  
Времени воды быстры и бедны уловом.  
Если проплыл свой причал, не проси: «Постой!»  
Время, гребни — не гребни, не вернёт былого.

И хорошо, что нельзя повернуться вспять —  
Тиканье стрелок живительней сердца стука.  
Время уходит. И мало не отставать.  
Нужно идти впереди, вот такая штука.

Время — твой горький нектар и сладчайший яд,  
Лодка Харона, тоннель, уводящий к свету...  
Больше всего ты боишься смотреть назад:  
Вдруг обернёшься —

*а времени  
больше нету?*

**\* \* \***

А солнце луч бросает в нашу сторону.  
Но нет, не жарче нам,  
и холодеют тени.  
Кому-то золото даёт червонное,  
кому-то ржавчину  
подарит дождь осенний.

Пускай на улице погода та ещё,  
пускай обрящем  
лишь стенание воробье...  
Не улечу. Останусь в окрыляющем,  
до трепета томящем  
межсезонье.

## Горошина

А жизнь не кажется тебе хорошою,  
И ты катаешься сухой горошиной  
По стенке в сторону наклона баночки,  
В еженедельнике рисуя галочки.

В жилетку плачешься: уже не сложится.  
Ведь слишком грубая на сердце кожица.  
Тоской зелёною ты припорошена...  
В любую сторону катись, горошина!

## Алмаз

Это правда, что в дебрях души  
Сказки детства надёжно зарыты.  
Помнишь, портили карандаши,  
Добывая алмаз из графита?

Но смешно: через несколько лет,  
Через том недописанных строчек  
Я всё тот же играю сюжет,  
Тех же самых полна заморочек.

Я, хватаясь за веры клочок,  
Выплавляю желанья в поступки.  
Знаешь, как мне сейчас горячо  
Там, на дне кимберлитовой трубки?

Когда чувств раскалённый поток  
Через стержень наружу выходит,  
Я ищу свежей мысли глоток  
В мягкой тёмной безликой породе.

И в ночной тишине (сколько раз!)  
Я на грифель давила до хруста...  
Боль графита рождает алмаз,  
Боль души порождает искусство.

Евгения Зуева

## Не слышно из-за тишины

\* \* \*

Небо пыльное, степное  
 Ночью снилось неспроста.  
 Тело жалкое, больное  
 Я опять сниму с креста  
 Тех дорог, что мне чужие,  
 Но к родной ведут земле.  
 На колёсах не впервые  
 Я качусь, как на нуле.

Солнце мусором янтарным  
 Откупилось от меня.  
 Словом грубым и бездарным  
 Врачевать дыханье дня.  
 Быть растерянным, негодным...  
 Штопать пару старых крыл.  
 И в падении свободном  
 Потерять остатки сил.

Травы гривами густыми  
 Выметают тропы строк,  
 Между мыслями простыми  
 Сложный мается виток.  
 Сердце слабое, дурное  
 Чахнет в ритме скучных тем.  
 Небо пыльное, степное  
 Снова снилось... А зачем?

\* \* \*

— Дочка, послушай, как птицы поют —  
 Как в книжках-раскрасках  
 В начале весны.  
 — Папа, я ничего не слышу —  
 Из-за тишины...



## Девушка, которая не я

Беру полцарства не деньгами,  
Сверкаю спицей в колесе.  
Босыми топаю ногами  
По свежевыжатой росе.  
Умею ладить с грязью, с синью.  
И в смехе вашего нытья  
Я стала девушкой-полянью,  
Я та, которая не я.

Не отбирайте лук и стрелы,  
Дианой проданные мне.  
От сих до сих мои пределы —  
От двери до весны в окне.  
Я безнадёжно не умею  
Играть на струнах бытия,  
Я стала девушкой-психеей,  
Я та, которая не я.

Схватив полжизни, как добычу,  
Согласно опытности пса,  
Бегу, не спорю и не хнычу,  
Не проклиная небеса.  
Привал. Я пачкаю бумагу  
Одною правдой, без вранья.  
Я стала девушкой-бродягой,  
Я та, которая не я...

\* \* \*

Колеблются клёны: бросать ли кармин  
Румянцем, стыдом и ожогом на щёки?  
Оргазмом цветным разорвавшихся мин  
Кружится листва. И в дождливом потоке  
Всё мечется белкой шальной в колесе,  
Кидается в пасти пройдох-подворотен.  
Все листья погибнут? Неужто все-все?  
Изменится цвет у осенних полотен.  
Ноябрьным станет и серым, как мышь.  
Скулить будем в неба сырую жилетку.  
Эй, ветер, скажи мне: зачем беребишь  
Без листьев замёрзшую слабую ветку?

\* \* \*

Опять дураком в дорогу —  
Потёмки в душе, натошак  
Тащиться с мечтой убогой,  
Чтоб где-то сменить на пятак.  
Обещано быть счастливым?  
В попытке не помнить сей бред  
Гоню себя в хвост и в гриву  
С того да на этот свет...

Юлит во мне суть Незнайки  
Тропинкою в тмутаракань.  
Свои, чужие клондайки  
Мерещатся в свежую рань.  
Бреду от себя степями,  
Костёр погаснет вот-вот.  
Вся жизнь петляет путями  
С этого света на тот...

\* \* \*

Не чета я тебе, не чета.  
Надо мною смеётся толпа.  
Тихо лето читаю с листа  
И порой, как кирпич, глупа.  
Не светла я лицом, не светла,  
Не умею сидеть в тиши.  
Часто слушаю звон стекла  
И как море волной шуршит.  
Не сладка я, увы, не сладка,  
А горчу, как полынь-трава.  
Оправданья беру с потолка  
И калечу твои слова.  
Не нужна я тебе, не нужна —  
Капля мутной речной воды.  
Я исчезну ещё дотемна,  
Помелом замету следы.  
Не горю я с тобой, не горю,  
Даже если в руке рука.  
Отпусти ты меня, говорю,  
Пока жизнью дышит строка...

\* \* \*

Окрасилась осень в оттенки стыда,  
В фужерах окна дожди расплескались.  
Обманчивый ветер приносит сюда  
Крупницы тепла, что от лета остались.

Разорвано небо на сотни полос,  
Заплатами луж дорога укрылась.  
На ржавчину листьев повисился спрос,  
А в стаях зонтов толпа растворилась.

Заверил прогноз, что придут холода,  
Простывшее горло опять разболелось.  
Окрасилась осень в оттенки стыда,  
И жизнь той же краской зарделась...

Анна Чеботарёва

## Наша родина — Сибирь!!!

Победитель краевого литературного  
конкурса на соискание премии имени  
Игнатия Рождественского в номинации  
«Я себя не мыслю без Сибири» среди детей

### Сибирячка я

Есть домик на окраине,  
Берёзка у ворот  
И палисадник маленький,  
Смородина растёт.  
Там тополя на улице  
Листовою шелестят  
И в прошлое недавнее  
Вернуть меня хотят.  
Пускай я деревенская,  
Здесь родина моя,  
В Москве чтобы устроиться,  
Нет блага у меня,  
Сосёнка на пригорочке,  
А на горе — завод,  
И бабушка на лавочке  
Меня из школы ждёт.  
Расскажет мне истории  
На речке пережат  
Про кедры, что на берегах,  
Как рыцари, стоят,  
И звёзды те, что моются  
Рассветною росой.  
А я прошу у Боженки:  
«Живи, посёлок мой».  
Есть океаны разные  
И тёплые моря,  
Но этого не надо мне,  
Ведь сибирячка я!!!

## **Наша родина — Сибирь!!!**

У нас снега и холода,  
И воет по ночам пурга,  
Пушистый снег, как белый зонт,  
Укутал даже горизонт.  
Вокруг на много вёрст тайга,  
И в лёд закована река.  
От вьюг мы милости не ждём,  
Мы просто здесь с тобой живём,  
И нам по нраву эта жизнь,  
Ведь наша родина — Сибирь!  
И где бы ни был наш земляк,  
В далёких и чужих краях,  
Спроси его: «Где начал жизнь?» —  
Он скажет: «Родина — Сибирь!!!»

## **Ночи сибирские!**

Ночи сибирские, тихие, лунные  
Звёзды качают на кронах тайги.  
Росы студёные, будто хрустальные,  
С белым туманом приходят они.  
Лишь за окошками зорька засветится,  
Первую песню птаха поёт,  
Утренний ветер с рекою зашепчется,  
Свежим дыханием лес встрепенёт.

Сергей Кузнечихин

## Его поленья в наш общий костёр

Чаще бывает, что у писателя главенствует фамилия. Имя как бы уходит в тень, иногда почти вытирается. Фет! Блок! Твардовский!.. Но случается и обратное. Имя становится самодостаточным и оттесняет фамилию. Вспомните: Джамбул, Булат, Белла, Фазиль. Разумеется, экзотичность имени играет определённую роль, хотя и русское имя Марина способно существовать самостоятельно; но, мне кажется, немаловажна и другая причина. Для того чтобы имя «заиграло» и стало обходиться без фамилии, необходимо, чтобы творчество и поведение автора максимально приблизились к народу, заслужили его особое доверие. По имени называют только своего. Родного и близкого. Подобной чести был удостоен и Алитет. И уже несущественно, что в паспорте он назван Альбертом. Алитет — всего лишь псевдоним. Читатель смотрит в книги, а не в паспорт.

Около пяти лет мы жили в соседних домах на улице Копылова. Не раз приходилось видеть из окна, как он возвращается домой. Стоишь на балконе, куришь, и вдруг рассеянный взгляд помимо воли цепляется именно за него, не похожего на других прохожих. Можно, конечно, написать, что его отличала походка потомственного таёжника. Может быть, и так. Но мне запомнилось не это. Он шёл по городскому тротуару совершенно обособленно. Идущих рядом или навстречу как бы не существовало для него. Обходил людей, как деревья в лесу. Шёл вроде и самоутлublённо, но не рассеянно, автоматически замечая всё, что может ему помешать.

Но это вовсе не значит, что он замыкался только на себе. В отличие от большинства из нас, он находил время читать тех, с кем живёт рядом. Частенько сразу же после публикации, не только журнальной, но и газетной, звонил, поздравлял и цитировал строчки, которые понравились. А на встречах с читателями после греющих его самолюбие пушкинских строк:

...И назовёт меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  
Тунгус, и друг степей калмык...—

он не пускался в рассуждения, какие они, например, друзья с Астафьевым, понимая, что желающих похвастаться дружбой с живым классиком и без него предостаточно; Алитет читал стихи изгоя Коли Рябеченкова. И читал без шпаргалки.

Иногда он звонил и спрашивал, не прочь ли я посидеть, поговорить. В ту пору у меня всегда была северная рыба, грибки, папоротник, черемша — настоящая таёжная пища. Алитет её любил, но поварчивал, что мы, русские, всегда пересаливаем рыбу. Я объяснял, что иначе не доведёшь; северяне-то ловят вовремя и сразу морозят, а у нас выбора нет: или пересоленная, или тухлая. Он соглашался, но, мне кажется, только из вежливости. Водку пить он избегал; если была возможность, приходил с пивом. Доставая из карманов бутылки, говорил: «А вот и мои полешки к вашему костру». Как-то раз возник весьма актуальный для русского и тунгуса (он сам себя так называл) разговор: кто как пьёт. Я вспомнил нашего общего знакомого и говорю: «Валера Ковязин пьёт по-еврейски — не допьяна, но каждый день». Алитет подумал и сказал: «У нас это называется — пить по-русски».

Лучше всего человек познаётся, наверное, на войне. Но некоторые поездки на Север, пусть и не в полной мере, можно приравнять к военным рейдам. В декабре 2001 года в Норильске проводились Дни заполярной литературы. Из Красноярска были приглашены Алитет, Задереев и я. Праздник начался с задержки нашего рейса. Норильские любители словесности уже собрались во Дворце культуры для торжественного открытия, а наш самолёт ещё не вырулил на взлётную полосу. Но народ всё-таки дождался, и не только потому, что заполярный декабрь не располагает к бесполезным прогулкам. Не так часто бывают подобные праздники. И, кроме того, норильчане пока ещё читают и чтят даже своих авторов. Во Дворец нас привезли прямо из аэропорта, даже в гостиницу пришлось устраиваться только на следующий день. Потом были выступления в клубах и школах Норильска и Талнаха. Хорошие, тёплые встречи. Отзывчивые, щедрые слушатели... и равнодушные скуповатые чиновники. Сразу после заселения в гостиницу Алитет зашёл к нам в номер и с грустной усмешкой обрадовал: «Был в буфете. Пиво — семьдесят, салат — восемьдесят, а командировочные — пятьдесят пять. И ни копейки за выступления. Попробовали бы они на таких условиях московских поэтов пригласить, я не говорю уже про певичек. Несправедливо, однако. Не уважают». Обвинять Алитета в жадности ни у кого (из тех, кто его знал) язык не повернётся. Но он был профессионалом, и неуважение обижало его. Да и дочерям надо было помогать.

Завершение чтений совпало с юбилеем их вдохновителя Сергея Лузана, самобытного поэта, яркого прозаика, влюблённого в Север бывшего мужика. На банкете хорошо знающий себе цену (и не занижающий её) Лузан, приостанавливая славословия в свой адрес, то и дело кивал на Алитета и восхищался его мудростью. А гость, чтобы сгладить неловкость, решил сделать комплимент вдове нашего общего приятеля Юрия Бариева: «Если бы был свободен, обязательно на тебе женился». Красавица Соня всплеснула ручками и с деланным испугом

воскликнула: «Ну что за напасть! Опять поэт, и опять нерусский». Но и «поэт», и «нерусский» прозвучали весьма ласково.

Северяне встречают тепло, но северная погода постоянно напоминает, где вы находитесь, и расслабляться нельзя. За день до нашего отъезда в Норильске началась «чёрная пурга». Аэропорт никого не принимал и не выпускал. Даже машины туда не ходили. Дорогу переделало, и были случаи, когда резкие порывы ветра переворачивали легковые автомобили. Срок проплаченного пребывания в гостинице истёк, и друзья перевезли нас в пустующую квартиру, хозяева которой догуливали отпуск на «материке». Квартира находилась на верхнем этаже девятиэтажной «свечки». Порою чувствовалось, как дом раскачивается от ветра. Ключей у нас не было. Чтобы дверь с английским замком не захлопнулась и не оставила нас без жилья, кто-то должен был постоянно оставаться дома. Питались китайской лапшой и салом, которые на всякий случай положила в сумку моя жена. Задереев застрял где-то в гостях. Впору и нам было запить, но прежний опыт подсказывал, что аэропорт может неожиданно открыться на три-четыре часа и снова закрыться. Если не успеешь выскочить в это «окно», придётся ждать следующего. А когда оно соблаговолит повторить широкий жест ещё раз, никому неизвестно. Самое медленное и муторное время. Периодически поднимаешь трубку телефона и слышишь приятный женский голос, перечисляющий длинный список отложенных рейсов. Этой виртуальной «женщине» можно высказать всё, что ты думаешь об аэрофлоте, о небесной канцелярии и даже о ней самой — она не обидится. Ты её слышишь, она тебя — нет. Тоскуем, хотя и сознаём, что в квартире тосковать намного комфортнее, нежели в порту. Приходилось в нём сживать и мне, и ему. Особенно неудобно было в начале семидесятых, когда зал ожидания ютился в старом здании, тесном, без удобств. Выйдешь покурить, а твоё место уже занято. Алитет рассказал, как трое суток спал в нём на подоконнике. А здесь вроде все удобства, никто не мешает, и всё равно тоскливо, да и родные заждались, Новый год на носу.

День просидели, два, три... Выглянешь в окно — на улице ни души, только позёмка испуганно мечется от дома к дому. Теплосети в Норильске отлаженные. В квартире тепло. Более того — жарко. И ещё один плюс: у хозяев богатая и со вкусом подобранная библиотека. Я взял «Курсив мой» Нины Берберовой. Алитет — сборник стихов Бродского. Лежу, пытаюсь разобраться в хитросплетениях парижской жизни эмигрантов первой волны. Потом иду поделиться впечатлениями. Алитет сидит на полу и читает Бродского. Читает вдумчиво. Мне показалось, что он спит. Но окликать не стал. Дождался, когда он перевернёт страницу. Чтобы не отвлекать, потихоньку возвратился на свой диван. Сам я к Бродскому равнодушен и весьма удивлён интересом Алитета. Вспоминаю шутку Рябеченкова: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о непьющем Алитете». Через какое-то время снова иду



подсматривать. Сидит, читает. Почувствовал мой взгляд, захлопнул книжку и ворчит: «Ну и напутано. Ни хрена не понял». Вернул книгу на полку, а взамен взял том Есенина: «Вот великий поэт! Столько лет читаю — и всегда с интересом. Только вместо Нобелевской премии петлю получил». Подошёл к телефону, послушал сводку и уныло обругал «женщину-автомат». «Алитет, — спрашиваю, — а если в тундре такая пурга застанет, что делать?» — «Ждать, — говорит. — Если дров хватит — выживешь».

Образ костра для северянина — один из центральных. Прозу он писал по-русски. Но к очагу русской литературы пришёл со своими дровами. И вклад его был щедрым. Не пристало северянину скупиться.

Аэропорт открыли на пятый или шестой день, сейчас точно не помню. Мы успели вылететь, а потом порт снова закрылся. Я специально звонил, чтобы подтвердить предчувствие.

Алитет Немтушкин

## Метки на оленьем ухе

### Кумонда-луноход

Позже, если в район приезжал кто-нибудь из больших шишек и его нужно было свозить в тайгу, работники райкома сразу же, улыбаясь, вспоминали Кумонду Хорбо и говорили:

— Лунохода надо найти...

А в первый раз это произошло где-то в семидесятых годах ушедшего столетия. К нашему первому секретарю райкома партии Тасачи прилетело трое гостей из города, тоже, видимо, какие-то шишки. Их там же, в аэропорту, из самолёта пересадили в вертолёт лесоохранны, и они вместе с Тасачи полетели к славной и богатой рыбой речке Тэкчэки. Тасачи, хоть и эвенк, не рыбак и не охотник. Вырос в интернатах, пока учился где-то в городах, и это начисто отдалило его от родной тайги, и потому, чтобы быть с ухой, да и обезопаситься от всяких случаев, он прихватил с собой охотника Кумонду Хорбо.

— Наш старейший гвардеец промысла! — представил Тасачи его гостям.

— Луноход! — отвернувшись к уху соседа, сказал молодой гость.

Тот заулыбался и закивал головой.

Кумонда Хорбо действительно был древним стариком и имел довольно неприглядный вид: плоское лицо, широко расставленные глаза, смотрящие в разные стороны, лохматая седая голова и ноги колесом. Сзади, в меховой парке, он был очень похож на росомаху и ходил, переваливаясь с боку на бок, как гагара. Читать не умел, плохо понимал по-русски, отчего, разговаривая с русскими, постоянно улыбался, кивал головой в знак согласия, хотя многого не понимал. По натуре — безобиднейший старик.

— Уха сегодня за тобой! — под грохот вертолёта прокричал ему Тасачи.

— Э-э (то есть «да»), — закивал старичок.

Приземлились на широком травянистом берегу Тэкчэки. Пока возбуждённые начальники ставили палатку и разжигали костёр, Кумонда порылся в своём потакуе, нашел блёсны, сделанные из алюминиевых ложек и дюралевых осколков спутников, падавших в тайге, взял в руки спиннинг и скрылся за поворотом речки. Спустя полчаса вернулся, неся на ивовом прутике двух черноспинных ленков и таймешонка.

— О-о! — восторгу гостей не было предела. — Вот уха так уха будет!.. Сразу видно рыбака! Вы, Кумонда Иванович, где их на привязи держали?!..

Кумонда понял похвалу, улыбался. Он ловко и привычно на ивовых прутьях разделал таймешонка для уха, а ленков, не распарывая, насадил на тальниковые рожны, чтобы они пеклись в собственном соку, и воткнул в землю около огня.

— Сылан! (Шашлык!) — улыбаясь, сказал он.

Выпивки у гостей было море, и ужин получился на славу. Гости от души веселились, удивлялись нетронутой природе, орали нецензурные песни, не стесняясь, матерились. Хорбо тоже со всеми пил. С первой же кружки ему стало хорошо, начальники нравились, он всем улыбался, дивился, что начальники, оказывается, тоже такие же простые люди. После четвёртого тоста ему захотелось петь, и он, сидя на траве с поджатыми под себя ногами, закачался взад-вперёд и затянул протяжную песню, припевая: «Хэгэй-гэлой, хэгой-гэлой...» Впрочем, песня у него была хорошая. Он пел: о, какие хорошие начальники приехали в тайгу, к его любимой речке Тэкчэки, хорошо угостили его водкой, у него хоть и нет зубов, но водка не мясо, её жевать не надо, она сама катится вовнутрь, греет ему живот и грудь, как костёр... — Отец, а отец, давай тяпнем ещё по одной, — начал его тормошить молодой весёлый гость.

— Нет, всё, Кумонде Ивановичу больше ни капли! Хватит ему, — распорядился Тасачи.

Гости особо не настаивали; Тасачи — хозяин, он знает, что говорит. Кумонда обвёл всех пьяными глазами, опустил голову на грудь и, что-то помычав, отвалился набок и вскоре захрапел.

Гости продолжали веселиться.

Кумонда проснулся на восходе солнца. Костёр потух. Из палатки слышался храп начальников. Кумонда расшевелил огонь, подбросил сухих веток. Оглядев остатки пиршества, нашёл недопитую бутылку. Всё нутро обрадованно всколыхнулось, он налил себе в кружку и, морщась, выпил. Внутри приятно потеплело, и он, пока не захмелел, сходил на речку за водой и навесил на таган чайник. Проснутся начальники, а чай уже готов.

Кумонда сел на своё прежнее место, прислушиваясь к себе, и когда душа опять запросила добавки, не раздумывая, вылил в кружку остатки «мужской радости» и опрокинул в рот. Хорошо! Когда начальники зашевелились в палатке, закричали, он опять лежал на траве. Он не слышал, как его будили, как ушли на рыбалку. Очнулся — солнце уже припекало, и у костра никого не было. Голова трещала. Он еле поднялся на четвереньки, налил кружку остывшего чая и с жадностью выпил. Поднялся на ноги и, шатаясь, пошёл ополоснуться к речке. Подходя к ней, увидел след сапога, уходящий в кусты. «Что ему там нужно было?» — по охотничьей привычке решил проверить. Раздвинул заросший травой кустарник и не поверил глазам: лежали бутылки! «Хэ!» — снова пойманной рыбкой затрепыхалось сердце, и он, не раздумывая, взял одну из кучи...

К обеденному приходу рыбаков Кумонда снова валялся на траве, что-то бормоча и мыча.

— Ты где напился? — растормошил его Тасачи.

— Там, в кустах, — еле произнёс Кумонда.

Второй раз очнулся Кумонда во второй половине дня, когда солнышко уже переместилось на другую часть неба. Его разбудил свой будильник — надутый мочевого пузыря. Покряхтел, но поднялся. Двинулся в лес. Чуть отойдя, увидел свежую копанину во мху. «Не амикан ли тут бродил?» — озадачился старый охотник и стал разглядывать. «Непохоже, след вроде бы людской. А что он копался?» Разгрёб — бог ты мой, опять бутылки!.. Опять птичкой затрепыхалось сердце, и Кумонда снова, не раздумывая, схватил одну бутылку и тут же остатками зубов и толстым ногтем большого пальца сковырнул блестящую шапочку и забулькал в рот эту горькую, противную веселящую жидкость. Хух — он передохнул, и сразу посветлело в глазах, на душе — блаженство! Как хорошо жить на свете! Какие прекрасные начальники приехали к его речке Тэкчэки!..

Вечером, увидев еле живого, Тасачи, снисходительно улыбнувшись, сказал гостям:

— Снова нашёл. Да не прячьте вы эти бутылки. Не видите, что ли, с кем имеете дело? Здесь для него секретов нет. Оставьте их в палатке, он туда не зайдёт..

В третий раз Кумонда пришёл в себя ночью — продрог. Хоть и лето, а ночи холодные. Вчерашний день он почти не помнил. Ощупал себя — вроде бы нигде не болит; потрогал опухшее лицо — вспомнил: падал, хорошо погулял!.. Надо кончать, а то начальники обидятся.

Развёл костёр, навесил чайник. Осмотрел добычу рыбаков: в двух синих и красном канах было полно мелких хайрузков, ельчиков и всего пять средненьких ленков. Хэ, удивился охотник, стоило ли из-за такой мелочи лететь в такую даль? Её можно поймать и в посёлке. Выбрал покрупнее, почистил и поставил варить уху.

Кумонду заинтересовали рыбацкие снасти гостей. Никогда он не видел таких ярких и блестящих диковинок. Видимо, это и есть японские и немецкие крючочки, мушки, разноцветные бусинки, букашки, червячки, лески как паутинки, которыми хвалились гости друг перед другом. Ну и смешной же ум у этих русских! Как у детей. Разве добрая рыба будет кидаться на эти бисеринки? Вот и наловили малявок.

На рассвете поднялись рыбаки, и самый молодой весёлый парень сразу пристал к Кумонде:

— Кумонда Иванович, вы где отловили тех поросят? Мы вчера весь берег исхлестали спиннингами — хоть бы один дурак кинулся!..

— Берег смотри надо... Погода смотри... Шерсть оленя надо, петух, мышь... Эт-та ваш удочка таймень не поймай, таймень лягушка, мышь кушай, камень, утка глотай... Таймень — шайтан шамана.

Два тайменя спина держи плот-томулян, сила — медведь... Хитрый таймень, однако, обманывать его будем...

Кумонда помог выбрать молодому начальнику самые крупные крючки, мушки, потолще лески. Напялил на голову свою старенькую шляпу с накомарником, вразвалку двинулся к речке, к перекату. Молодой парень увязался за ним. Подошли к берегу.

— Сейчас майгу лови, вечером таймень на мышь, — сказал он напарнику, — у шивера таймень портянка хватай...

Кумонда ещё раз огляделся.

— Камень удочка кидай...

Молодой начальник размотал удочку и закинул за камень, где меньше крутило воду. Он повёл удочку, и крупные мушки, как шмели, побежали по воде. И тотчас неожиданно раздался громкий всплеск, и одна мушка исчезла в глубине. Леска натянулась, ленок свечкой выпрыгнул из воды, стараясь вырваться из цепкого тройника, но обрадованный рыбак тянул его к берегу.

— Хэ, вот, оказывается, где пасутся эти поросята, — радостно кричал молодой рыбак. — Теперь-то не уйдёшь!..

Рыбалка пошла...

Через неделю загоревшие, прокопчённые дымом, пахнущие костром и тайгой рыбаки вернулись в райцентр. Выгружать вроде бы было что...

Вечером, за дружеским ужином в отдельном зале ресторана, гости хлопали по плечу Кумонду Хорбо, хвалили его за таёжную житейскую смекалку, называли профессором своего дела, а молодой парень весело добавил:

— Наш Кумонда Иванович в тайге — как настоящий луноход! Везде проходит и всё находит, с ним можно рыбачить и на Луне!..

Сравнение всем понравилось и запомнилось, оно очень подходило к Кумонде; с тех пор за глаза его так и стали именовать.

### **Мальчик с гугарой...**

Я зашёл в большой торговый центр города, чтобы купить летние мужские босоножки, а то в кожаных ботинках в жару ноги горят, изнаывают. Стал смотреть вывески, пробираясь сквозь муравейник людей. И тут моё ухо, хоть и чуточку глуховат, уловило звон колокольчика, который раздавался где-то за ближайшим павильончиком, куда также устремились заинтересовавшиеся покупатели. Я протиснулся между людьми и увидел маленького черноголового мальчишку, явно моего землячка, весело крутящегося возле витрины с игрушками. Все с интересом осматривали его. На его шее висел, как крестик, маленький медный колокольчик — гугара. От его прыжков и дёрганий он звонко звенел.

— Чей ребёнок? — громко объявила женщина с добрым материнским лицом. — Чей мальчик?..

Она склонилась к малышу, пальцем зацепила за кожаный шнурок и, улыбаясь, побрякала колокольчиком. Раздался мелодичный звон. Мальчишка от неожиданности отпрянул от неё. И тут сквозь толпу протиснулась встревоженная черноволосая женщина и, тоже улыбаясь, заговорила мальчику:

— Би эду!.. Би эду!.. (Я здесь!.. Я здесь!..)

Женщина — зовут её Нина Ялогир — оказалась моей землячкой из Эвенкии, с фактории Эконда. А мальчишка — её внук.

— Поехали в отпуск,— рассказывает Нина Максимовна,— а мальчишка вертлявый, не сидит на месте. Боюсь, убежит куда-нибудь... Взрослые теряются, как в лесу, а от него только отвернись... У нас народ никогда в городах не бывает. В Туре раньше некоторые охотники хотели на домах затеси делать, чтобы знать дорогу к знакомым. Кто куда съездит, дак потом на всю зиму разговоров, прозвища приобретают... Недавно двум оленеводам, известным людям, грамотным, приобрели путёвки в санаторий «Полтава», и они укатили в город Полтава; представляешь: как дети, перепутали санаторий с городом, там и начались их приключения. Рассказывать начнут, так смех и грех над солидными людьми. Поэтому нас и считают недотёпами... Теперь, говорят, мы никуда из Эконды, новый мир с его машинами и телевизорами не для нас, наше время ушло... Мне тоже любопытно было, с детства мечтала поглядеть на города, на новых людей, а то обо всём, действительно, узнаём только из телевизора. А там всякое показывают... Одни какие-то визги и кривлянья... Хочется своими глазами посмотреть на жизнь других людей. А чтобы Юрка не потерялся, я долго не гадала: на неимких оленей, на новорождённых телят у нас всегда был способ — привязывали колокольчики, чтобы они не потерялись... Вот Юрка и звонил...

— Ну и городская как жизнь?..

— Ты лучше расскажи, тебе-то видней,— улыбнулась она.

— Не забывайте про наши колокольчики, тогда переживём как-нибудь...

### **Хоть молись!..**

В чуме, поджав ноги под себя и скрестив руки на животе, сидит измождённый пастух Юрка Боягир. Ему нет и сорока лет, но принять можно за старика: сгорбленная спина, измождённое морщинистое лицо, лохматая пепельная голова. Видно, что он очень болен: натужно кашляет, отхаркивает противные гадости, плюя в пепел возле костра и зарывая землёй, хрипло, задыхаясь, тяжело дышит. Смотреть на беднягу жалко.

— Лёгкие кончаются, нечем дышать,— тихо произносит его бабушка Ноно — Христина Христофоровна.

Порывшись в своей «кухне», из серенького обшарпанного чемоданчика достаёт кусочек плавленого оленьего жира, веточки багульника,

ягеля и чихрицы, бросает на сковородку, стоящую на двух кирпичках возле огня. Сковородка уже горячая, и через минуту всё снадобье зашипело, зачало и наполнило чум пахучим дымом. Помешав ложкой, бабушка Ноно подхватила сковородку ухватом, делает шаг к Юрке и подносит к его лицу своё лекарство, обмахивает рукой, окуривает, выгоняет из него болезнь:

— Дыши!

Тот ещё пуще заходится в кашле, мотает лохматой головой, руками отпихивается от бабки и с зажмуренными мокрыми глазами откидывается навзничь на оленью шкуру.

— Хэ-э-эй! — вырывается у него изнутри.

— Полежи, сейчас налью попить...

— А почему не в больнице-то? — спрашиваю я.

— Был там! В туббольнице лежал... Как весна приходит, сбегает оттуда, ничем там не удержишь... Скучает по тайге, да потом, говорит: не верю врачам... Они, говорит, накупили дипломов, а теперь не лечат, а калечат больных... В снегах-то напростывал, вот и развился у него, как его, та-ба... ту-ба... э, выговорить не могу... бер-ку-лѐс. А раньше-то, в старину, моя мама говорила, эта болезнь — червяк, он вырастает внутри и ест лёгкие... Юрке в больнице хуже стало, скелет скелетом приехал. Я ободрала щенка, потом, когда разлилась вода на болотах, настреляла ондатров, их мясом кормлю. Сделала настойки, как делала мама, из осины, листьев толокнянки, мхов — может, легче станет; шаманы говорили, что всякие злые духи, болезни вроде червяков, осину не любят; может, она поможет выгнать болезнь...

— В школе-то вы учились?..

— Конечно, училась!.. Толку-то от этих школ; лучше бы, как мама, всю жизнь в тайге прожила, дети бы нормальными были... В интернатах читать учат, а жить и работать — по-русски, на машинах, а это чужое, не наше, оттуда все наши беды... Доживём, Бог даст, до ягод, шишек, спелых кореньев — может, вылечу... У меня у самой внутри одна сплошная боль... Не знаю, что делать. Была бы, как моя мама, крещёная, молила бы русского Бога, наших духов, кого угодно, лишь бы дали нормальную жизнь...

Юрка Боягир опять закашлялся, согнулся, перевернулся на живот и вроде успокоился.

— Пусть отдыхает, бедненький, — шепчет бабушка Ноно...

Я вышел из чума. Кроме сочувствия, ничем я не мог им помочь. Хоть молись!..

## **Заметки из дневников**

У эвенков характерное отношение к словам: считается, с ними необходимо обращаться очень осторожно.

«Слово — как нож без ножен, будь с ним очень осторожен».

«Как олень волка боится, так и люди болтливого человека боятся».

«Меньше слов — сладко, много слов — горько».

«В многословии много и ошибок».

«Сказанное слово не бывает не услышанным».

Слова и мысли человека могут материализовываться и даже становиться живыми существами, которые приносят добро, если слова добрые, и убивают, если слова злые. Поэтому ни в коем случае нельзя проклинать людей, особенно детей — беда в этом случае неизбежна. Считалось, что сказанное слово обязательно будет услышано, причём не только людьми, но и духами, и животными, способными понимать человеческую речь. Чтобы посторонние не узнали секретов, их не следовало произносить при собаке. Нельзя было называть имя волка — он мог тотчас же появиться вблизи жилья. И о медведе нельзя было говорить насмешливым тоном, за это он мог задрать человека.

Оленевод, как только выходит из чума, прежде всего смотрит на небо. Какая погода? Где искать оленей? Если ветер, то надо идти навстречу ему. Олень в непогоду идёт навстречу ветру, чтобы под шерсть не попадал снег, так теплее. Оленеводы говорят: у нас один глаз на земле, другой на небе. По звёздам узнаётся дорога к чуму.

Набродился по извилинам земли...

Сжѐг амулет — корень своего рода...

Между человеком, птицей и мышью нет большой разницы...

Сходства между человеком и животным гораздо больше, нежели предполагает человек...

Плевков под ноги — признак высочайшего презрения у эвенков...

Человек — часть космоса, и он должен подчиняться законам мироздания...

Космонавты не видели на небе Бога... Это то же самое, что человек бегаёт по берегу моря, черпает ложкой воду и говорит: «Видите, китов нет...»

В 1937 году в Эвенкию хлынула волна ссыльных. Это были не раскулаченные крестьяне или «враги народа», нет, это были самые отъявленные уголовники, отсидевшие свой срок в тюрьмах и лагерях. Здесь, на Севере, по замыслу наркома Ежова, труд и холод должны были «перековать» их, сделать законопослушными гражданами.

В 1937 году стране срочно потребовались тюрьмы и лагеря для репрессированных, чтобы засадить туда политзаключённых, кулаков, подкулачников, врагов народа. Но все эти «заведения» были до отказа забиты всякой воровской нечистью.

И вот, в основном молодых, освобождённых уголовников привезли на благородную, чистую и порядочную красивую эвенкийскую землю, где проживали добрые и доверчивые люди — эвенки. Ссыльные жили



без охраны и без присмотра. Их даже расквартировали, и, таким образом, в каждой семье жил кто-нибудь из этой шальной братии.

Костя Сапожник верховодил среди воров. Между собой уголовники были очень организованны, беспрекословно подчинялись Косте. И вот однажды, как сказано у Пушкина, «не стая воронов слеталась на груды тлеющих костей... удалых шайка собиралась». В один из редких тёплых дней со всего района и наша «шайка удалых» слетелась в Байкит, чтобы отметить годовщину своей жизни в Эвенкии. Все пододелись как «фраера». Днём группами ходили по посёлку. Тихо, как паиньки. Заглянули в клуб и жадно набросились на книги, которые прислал О. Ю. Шмидт — начальник Главсевморпути, играли в бильярд, в шашки, шахматы.

Костя Сапожник. Да, Эвенкия его воспитала... Он любил Пушкина... Ушёл на фронт, защищал Ленинград, повторил подвиг Матросова. Погиб как герой...

Писанины эвенков выражали всё: бытующее небытие легко описывать. Бытие же подвластно только их обозначению — странным знакам, чёрточкам на скале, затесям на сосновой коре, рисункам на берёсте.

Пучок мха на суку дерева говорил о том, что рядом добыты и спрятаны от хищника мясо и рыба.

Положенная поперёк порога колода на месте оставленного чума предостерегала от болезни или какой-нибудь другой смертельной опасности: «Прочь отсюда, скорей уноси ноги — не то их здесь протянешь!»

Лоскут сукна на месте чума означал веру в то, что добрый дух не минует это место: «Он даст тебе доброе здоровье, толстую невесту и хорошую добычу. Если он тебе принесёт беду — стало быть, у тебя много лишнего».

Птица с человеческим туловищем означала переселение душ. «Если птица-человек на восток, на восход солнца смотрит — человек родится, если на запад, на закат смотрит — старый человек умрёт».

Рисунок на утёсе — две встречные стрелы: «Плохое место для стоянки, для беседы — ссора, драка будет». Да мало ли о чём преждемало рисованное письмо?

Эвенк в посёлке — плохой эвенк.

Толстый эвенк — плохой эвенк.

Эвенк со сберкнижкой — плохой эвенк.

Последнее признание, пожалуй, лучше всего раскрывало своеобразие эвенков, их ощущения, непременным условием которых был отказ от жизненных излишков.

Лишь одинокие, презревшие жизнь, как и смерть, старики грезили на берегу реки, словно дремлющие птицы. Давние вожди племён, герои

эпоса — сонинги, ведуньи и ведуны, невесты старозаветных времён, ловящие последние мгновения ускользающей жизни. Природа не различает сословий, не ведаёт титулов, она лишь делит на уходящих и остающихся. Они пока оставались — это река покидала их.

Чутью теперь доверяю больше, чем знаниям. Стал догадливее. В минуты прозрения вижу вещи, которые выше понимания. Люди тайги должны жить не по писаным законам, а следуя письменам, увиденным в зеркале своих истоков.

Какие скрытые в природе образцы помогают эвенкам сохранять невозмутимое спокойствие в вопросах жизни и смерти? В случае невозможной жизни и возможной смерти? Как они достигают внутреннего равновесия и откуда черпают чувство меры? Откуда знают, что не самые талантливые делают погоду, а самые нормальные? Когда мы выбираем вождей и следуем за ними? Как им удаётся воспитать детей честными и послушными без видимой педагогики, почти не повышая голоса?

И, пожалуй, самое главное: почему они не творят с природой такого, что мешало бы её самовосполнению? Что ими при этом движет?

Бог говори — есть, а человек решай — честь...

Дети мгновения все мы на этой земле. Но язык лесов, морей, камней мы должны понимать. Умение — это что-то другое, это когда шпарят по-русски, по-французски. Но к ясности и согласию нельзя прийти ни на одном языке. В тайге всюду можно найти ясность и согласие.

2000

Мне, Алитету-тунгусу,  
Поставьте памятник в лесу,  
Окружите всё корьём  
И водите «Ёхорьё».

Эвенкия дала мне денег на операцию. Это ещё больше будет связывать с родным краем. Могу объяснить это и по нашим старинным обычаям, привязанностям, на генной связи с Катангой, с которой открылся для меня этот огромный и прекрасный мир. Моя тётка Сынкоик шаманила, ставила Тагу — защитников вокруг себя от злых духов Харги, чтобы они не проникали в меня, чтобы они не украли у меня удачу и счастье. Эвенкия помогла мне поставить эту защиту, чтобы я и здесь был кровно связан со своей землёй. Второе событие я связываю с историей жизни В. Удыгира. У него умерла жена Ольга, у них десять детей. Он снова женился на одной женщине, лучшей охотнице Христине Филипповне Хирогир, бывшей жене Бургуми — Владимира Елдогира. Говорят, они спросили у своих детей, согласны ли те, если сойдутся. Дети не стали возражать. Теперь Владимир Яковлевич

Удыгир снова в тайге, в своей бригаде, с оленями,— в тайге нельзя жить без хозяйки в чуме. Сошлись по нашим старинным обычаям, несмотря на то, что на дворе XXI век.

У меня ощущение, что этот год — начало какого-то прекрасного будущего. Когда кто-то поёт: «Моя родина, как свинья, жрёт своих сыновей», — я страшно оскорбляюсь. Хочется покончить с собой. Но депрессия кончается, снова светит солнце. Я раздуваюсь от гордости за наше северное искусство! Жаль, не стало достойных исполнителей. Их не стало. Другие — как медведи в спячке! Песня сама себя объясняет, это же не шарада. Я учусь сейчас слова по-новому составлять, освобождаюсь от советского в себе.

Если Всевышний начнёт меня учить писать стихи, я Ему скажу: отдохни. Высшие силы могут дать импульс. А ещё я прошу здоровья, сил. Больше ничего не надо.

Мне необходимо бывать в родных краях. Только там я чувствую свою связь с родной землёй, с которой связан пуповиной. Только там я ощущаю согласие с ритмом Вселенной. Я дышу в такт шуму ветра и деревьев, обретаю равновесие, необходимое для творчества. Здесь становлюсь центром мироздания. Написать повесть о своей фамилии — Немтушкины: мой дядя Моисей, родственники — Немтушкин Василий, его жена, дети. Расспросить, что они помнят.

2005

Беда эвенкийских учёных, учителей: изучая родной язык, они думают на русском.

Хотя, если бы мне запретили говорить и думать по-русски, я бы заболел.

У меня два крыла: одно — эвенкийское, другое — русское. Я не представляю себя без русского языка. Я вижу сны на русском языке. Но когда приезжаю в оленеводческую бригаду, в тайгу, я начинаю думать на родном языке. Мой родной язык — эвенкийский, но именно русский дал мне возможность стать личностью.

2006

Раиса Сакова

## «Благодарю вас за то, что жил среди вас...»

«На голубых хребтах Саян голос пел чудную песню-улигер, а певец, тунгус, услышал её и поведал миру». В этой эвенкийской легенде выражено всё: и небесное, божественное происхождение улигера, и небесное, божественное происхождение певческого Дара. Слово — начало и венец эвенкийской культуры. Народ, не имевший письменности, воплотил себя в песне. В этом большой смысл: поведение эвенка определялось Словом. Песня здесь становилась Судьбой.

Умение слагать песню — это не только личная талантливость, но и единственно возможный способ общественного диалога. Кочевник-эвенк был вечным странником, оттого в песне передать песню — это был обычай, исключавший случайность, с непреложностью закона Слово передавалось из уст в уста, с уха на ухо. Этикет предписывал в «песне о песне» описать и автора песни. Это обычай всех кочевых народов мира. Эвенкийская культура в этом случае не только эвенкийская, но и общечеловеческая. Подчас описание обстоятельств, породивших песню, по значимости было равным самой песне.

Согласно известной мудрости, венец жизни может оправдать всю жизнь человека. В своё время великий рапсод малого народа Николай Гермогенович Трофимов (1915–1971) подтвердил это. Он был из эвенкийского рода Бута, упоминаемого ещё в письменных источниках XVII века. Когда Н. Трофимову шёл десятый год, он впервые услышал нимнгакан (главный эпический жанр), а в тринадцать лет пел его родителям и родственникам, с которыми в это время кочевал и охотился. Его последнее кочевье — Божья тайна. Он был пастухом в оленеводческой бригаде. В северную метель в беспмятстве на оленьей упряжке примчался в больницу посёлка Кутана и, не приходя в сознание, почил, а в вещмешке было найдено только одно — рукопись сказания «Храбрый Содани-богатырь», с адресом научно-исследовательского института города Якутска. В последнем жесте Н. Г. Трофимова явлена вся святая простота эвенка.

Слово для эвенка было силой сакральной. Это ясно понималось поэтом Алитетом Немтушкиным, в поэтическом творчестве которого впервые было явлено слово художественное.

Выбор был осознанным:  
Родись я чуть раньше,  
Наверно, бы стал я шаманом,

Заставил бы бубен  
Над чьей-то могилой греметь...  
Я плакал бы кровью  
Священной птицы — гагары,  
Летающие стрелы и копья  
Бесстрашно глотал...  
.....  
Я не знаю, на радость ли, на беду  
Из эвенков первым задумал я  
Разводить костры на бумажном льду,  
Чтобы песни, как искры, пронзали тьму...

Расул Гамзатов в романе «Мой Дагестан» заметил: «Мы малый народ, поэтому должны быть великим народом». Эта фраза была и на устах А. Н. Немтушкина. Под величием понималось только одно — мера ответственности поэта за судьбу и жизнь своего народа.

А. Н. Немтушкин — автор более тридцати книг на русском и эвенкийском языках. Он был Первым. Литературоведы, говоря о поэтике книг, могущих быть в составе мировой литературы, главным критерием выдвигают воплощение в тексте исторического бытия нации. Вся мера бытия эвенка во всей полноте стала событием произведений А. Немтушкина. Он был Единственным.

Фраза, ставшая названием моей статьи, А. Н. Немтушкином продолжена так: «...благодарю за то, что жил с вами и многих любил. Эту любовь и уношу с собою, а вам оставляю навечно свою любовь» («Из записных книжек»). Уход человека — это Божья тайна. Оттого всякое рассуждение здесь неуместно, а иногда нравственно бестактно. И всё-таки осмелюсь предположить: «Оставить свою любовь» — это максима христианская, Божеская, достойно венчающая жизнь. А начало этого пути: «Шаманка Сыркоик, сестра отца, менялась на глазах, она чувствовала, как в неё входит Дух умерших шаманов Хэйкогирского рода. А сотрясала она землю и воду двенадцатизубчатым бубном. «Двенадцать» означало количество земель у Хэрги, сумрачного Духа, властелина Нижнего мира». Описание этой дороги стало сутью поэзии и прозы Немтушкина. Неспроста он сравнивает своё писательское зрение с видением оленевода-пастуха. Оленеводы говорят: «У нас один глаз на земле, другой на небе. Дорогу к чуму и оленям определяют по звёздам». Самое подходящее определение творчества писателя, несмотря на его тривиальность, — энциклопедичность. Черта эта — коренное свойство всех младописьменных литератур. Письменный текст здесь становится естественным воплощением всех архетипов, живущих в мировой литературе. Оттого творчество Немтушкина, воплотившее эвенкийское слово, — неотъемлемая часть мирового литературного процесса. Это не комплимент, а констатация закономерности возникновения письменной литературы.

Архетипический образ — ядро системы образов младописьменной культуры. И творчество Немтушкина — не исключение, а подтверждение означенного процесса. Один из главных архетипов мировой литературы — образ слепого певца, эвенкийское имя его — Бали. Неспроста документальное описание слепца, одарённого эпическим тайновидением, заставило В. М. Жирмунского лапидарно и навсегда решить гомеровский вопрос: «Гомер был!» (*Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974. С. 641.*)

Бали — основополагающий образ всех литературных текстов, посвящённых эвенкам, начиная с повести М. Ошарова «Последний аргиш» и заканчивая романом Ж. Трошева «Большой Ошар».

Слепец в словесной культуре эвенков — образ, определяющий начала и концы литературного произведения и соединяющий сюжет текста в единое повествование. В прозе и поэзии Немтушкина Бали — сотворец текста. Рассказы, сказки, мифы, в конечном итоге — песня рапсода-слепца становятся естественной частью повествования. Более того — вся житейская философия эвенка выражена в Слове Бали.

Столь же основополагающим, определяющим матрицу мышления эвенка в творчестве Немтушкина стал образ бабушки.

Вообще, образ бабушки — это единый вздох русской и эвенкийской литературы. В повести Алитета Немтушкина «Мне снятся небесные олени» говорится, как в первое же лето семейной жизни юная невестка Огдо обновила «своими родовыми узорами суконные зипуны, летние унты. Всеми цветами радуги засияла одежда мужчин. <...> „Э, какая у тебя красивая душа“, — хвалили её старики. И верно: в умелых руках — душа человека». Известное выражение о спасительности красоты — это о душе бабушки Эки. Жизненный путь её — это лестница, восходящая к Небу: «Огдо-Эки одну за другой получила бумажки. Страшные, как выстрелы в сердце... упала она на шкуру, как неживая. Долго лежала молча». И потом возглас — вся душа её в этом крике «Зачем ты ушёл в Нижний мир раньше меня? Солнышко моё, зачем ты закатилось так рано?»

Осиротевший внук, осиротевшая бабушка — они друг для друга были всем. Великой была душа Эки: она внуку не только плач о погибшем сыне передала, но и песню его. В последний день отъезда на фронт Кинкэ взял в руки пэнггиквэкун, зажал во рту металлический язычок инструмента. «И вдруг — печально заготовали гуси, заплакали лебеди и журавли, тревожно прошелестел по листьям деревьев ветер... а потом снова душу опалил плач лебедей. <...> Кинкэ играл песню „Прощание птиц с Родиной“». По сути, с Родиной он попрощался сам. И заключает этот эпизод Алитет Немтушкин так: «И не изо рта Кинкэ, а словно оттуда, с вышины, доносились щемящие душу звуки».

Вот она, эпическая ситуация улигера: голос, поющий чудесную песню на вершинах Саянских хребтов... А плакала Эки всегда

незаметно — внук не должен в слезах расти. Последний аргиш бабушка предприняла тоже ради него, внука. «Скорчившись, она сидела на тропе, за спиной — поняга с двумя зайчишками, рядом — посох, и чуть в стороне — сухостоина. Её бабушка несла для костра». Спасая внука от голода, она, как Н. Г. Трофимов, спасла Слово эвенкийское.

Повесть «Мне снятся небесные олени» — это «последний поклон» ушедшей бабушке Эки, погибшему отцу Кинкэ, рано умершей матери... Эмоционально-духовный смысл повести А. Н. Немтушкина, как и повести В. П. Астафьева, один — Бабушка.

Мне нравится эвенкийская пословица: «Чем меньше человек, тем больше он счастлив». Всякая пословица — философский концепт, а особенно эта. Уменьшение своего эго — путь к счастью. Только маленькое «Я», по интуиции эвенка, способно любить мир ради него самого, а ближнего любить ради самого ближнего. Отсюда уж совсем рядом мысль о блаженстве нищего. Но это духовное утешение не было найдено. Этнос оказался в духовной пустоте, что во всей полноте трагедии описал А. Немтушкин. Национальный космос эвенка определялся Словом, песней. Был трогательный обычай, когда девушка на выданье выходила и пела о себе, слагая рифму из описания своих навыков и достоинств. И тот, кому предназначалась эта детская простота и чистота помысла, обязан был услышать эту песню. Наивность мышления аборигена, не подозревающего в Слове изощрённой двойственности. Отсюда — доверчивость как национальная черта. Оттого «по слову твоему» складывалась судьба.

...Машу называли Дылачакан, Солнышко («Метки на оленьем ухе»). Прозвище подходило к ней, личико у неё действительно было кругленькое, как солнышко. С радостью мамино Солнышко поехала в школу, но запах интерната, скопление детей (и вправду как муравьи), а главное — воспитательница, для которой Маша — дикий тунгусёнок, Машина одежда, расшитая старшей матерью, — «вшивое барахло», ошеломили ребёнка. Глаза закрылись, не понимая происходящего. Маша говорила себе: «Уеду в тайгу, к маме с папой, там буду видеть». Старик-шаман Хоролькон и вправду глаза вылечил, но спасти девочку от новой жизни Духи шамана не в силах. Соблазн приняла за чувства — и опять темнота. Маленький рыженький сын Юрка, пьяненький сожигатель Серёга и веселящая вода. Мамин Солнышко... Самое страшное — осознанный выбор Маши: налила бормотухи и в ключья разорвала письмо, приглашающее на операцию. Здесь нет места высокой трагедии («мира вашего не приемлю!»), здесь иное — пенсия по инвалидности, льготы, веселящая вода...

Эвенкийский мир был рукотворен. «Эки с детства умела держать в руках иглу, скребок для выделки кожи; коли нужно, брала и топор, и ружьё, шила унты, зипуны, драла бересту для посуды, для летнего чума». Исчезла надобность в рукоделии — стала исчезать нация. Горестные «метки на оленьем ухе»: всю войну прошёл — сгорел от

спирта; пьяненькая мать забыла о грудной дочке, вспомнила, когда у той слёзки стали ледышками; матери с радостью стали отдавать детей в интернат...

— Ну какой ты охотник? — ветер вздохнёт.

— Ну какой ты эвенк? — упрекнёт тайга.

Писатель гибель эвенков сравнивал с гибелью китов, которые по неведомой причине выбрасываются на берег. Известная фраза «Мы хвоинки нашей земли» — это самоопределение эвенка. Фраза выражает философию этноса. Согласно старинному обычаю эвенков, пуповина новорождённого обязательно погребалась. Земля, хранившая пуповину, называлась шамондяк. Земля, мать, ребёнок — единый живой пульс. Оттого признание Немтушкина: «Я связан с родной землёй пуповиной», — это не метафора...

Сегодня эта поговорка переосмыслена. Нет теперь у эвенка земли-шамондяк, хвоинка он теперь. Трагедия «уходящего эвенка» проследживается во всём творчестве Немтушкина. И если верно, что мы все родом из детства, то верно и другое: интернат уродовал маленького эвенка. Система отняла бабушку Эки. Вся культура эвенка была сосредоточена в Слове. Без Эки Слово умерло. Красота души, согласно эвенкийской пословице, в умелых руках видна. Рука, не умеющая держать олений маут, неспособна выразить эвенкийскую душу. Оттого разрывает мамино Солнышко бумагу — приглашение на операцию, она ведь ничего не умеет... Сотворение бытия стало смыслом жизни эвенка. Сила рационального духа была направлена на осмысление воли Природы: «дышать в такт шуму ветра и деревьев», достигнуть «одного дыхания с ритмом Вселенной», и только этот «единый вдох давал, — продолжает Немтушкин, — внутреннее равновесие эвенку». Все составные части эвенкийского Бытия были рукотворными: от Чума-Дома до охотничьих троп. Интернат в масштабах нации лишил её необходимости рукотворения. Эвенк перестал быть эвенком, но ведь и русским не стал. Неспроста ведь эвенкийский мальчик рассказывает «Колобок» на свой лад: «Лепёска, лепёска, куда катися?» («Самэлкил. Метки на оленье ухе».) И здесь же ещё один самэлкил: «Столетний старик в тонком сне увидел, как русский мужик предложил свой овчинный тулуп поменять на парку. Ушёл мужик с паркой и предрёк: „Долго ходить тебе по Земле. Детей своих детей увидишь, и у тех будут дети, и у тех тоже народятся дети, но понимать их уже не будешь, будут они разговаривать по-русски и одежду будут носить русскую, ради бутылки водки продавать они будут унты, шапки...“» (расшитые бабушкой родовыми узорами. — Р. С.).

Герой не равен автору. Беды эвенков Немтушкин видит в ином: «Главный мой Бог — совесть; как жалко, что, лишённый веры в Бога, я уже не смогу её вернуть до конца, безверие много наделало и ещё наделает бед нашему народу».



«Метки на оленьем ухе» — это, по сути, жанр астафьевских «Затесей». Здесь главный герой — автор. Это слёзное вздыхание: «Духи покинули эвенков, не научив их молиться Богу!» Мысль поэта о Боге пробивает купол национального космоса. Приближение к божественной тайне усиливалось осознанием своего близкого ухода: «Аргиш мой заканчивается. И главное, что я понял: начало моего пути — любовь. И конец моего пути — тоже любовь». В этом завещании любви для поэта сомкнулось всё: и любовь бабушки Огдо, и любовь рано отнятых судьбой родителей, и любовь старика-эвенка, утратившего парк, и безвестного друга-читателя...

Эсхатологическую гибель эвенков Немтушкин описал, а завещал любовь, в согласии с известным православным выражением: «Всё покроется Любовью». От осмысления себя «последним шаманом» до слёзного понимания Любви как Истины — вот начало и венец духовного пути поэта. В раннем творчестве писателя «Старик Бали» и «Мужик в тулупе», особенно в публицистике, — оппоненты. Аргиши их не совпадают. Заключительный этап — сочувствование стариков; и тот, и другой стали родным внукам чужими, зато у внуков, в отличие от них, язык одинаков: «„Блин. Держись меня, узкоглазой Азии, у моих предков оленей — хоть жопой ешь“. Матерились. Русские матерные слова изредка перемежались эвенкийскими».

В раннем творчестве поэта была константа: «Я тунгус!» Иногда она была выражена метафорой, а чаще — без затей, прямо, особенно в публицистике. Но чем глубже писатель постигал философию Бали, его эпическое Слово, тем дальше отходило утверждение: «Я тунгус!» Появилось новое — объяснение в любви к русскому языку. В этом парадоксе, на мой взгляд, таится глубинная закономерность развития личности писателя как представителя малого народа России. Может быть, изменения происходили неосознанно. О человеке судить трудно, а тем более о сокровенном в нём. Но есть Слово поэта, и оно свидетельствует.

Тема «Русская литература и литературы народов Сибири» требует специального исследования. В творчестве эвенкийского писателя Алитета Немтушкина она явлена столь очевидно, что и в кратком слове моём о поэте нельзя её миновать. Изначально она освящена пушкинским «Памятником».

«Метки на оленьем ухе», «Из записных книжек» — это и человеческое, и творческое влияние В. П. Астафьева. В метажанре «затесей-заметок» выражен весь Немтушкин — писатель и эвенк. «Метки» появляются в последний период творчества писателя. Это итог. Мера жанра и мера писателя соединились. «Метки» — жанр открытый, как и эвенкийская импровизация («пою о том, что вижу»). Импровизация не может быть закончена, она может быть только оборвана... Как это и случилось в творчестве А. Немтушкина. В «Метках» явлена житейская философия Немтушкина. Поэтому «Самэлкил. Метки на

оленьем ухе» одновременно сокровенны и публицистичны, здесь выражены и нация, и личность.

Влияние литературы Пушкина и других русских писателей не только очевидное, но и глубинное — это тургеневское утешение русским языком: «Деревенские песни русских крестьян, в чьих селениях находились наши интернаты, стали моими родными песнями, при исполнении которых у меня щемит сердце и выступают слёзы от любви к родимой стороне и её прекрасным людям».

Алитета Немтушкина называли поэтом-билингвом. Термин верен, но он неспособен выразить истинного значения русского языка в судьбе малого народа. Сам поэт видит это так: «...если бы мне запретили говорить и думать по-русски, я бы заболел». И одновременно писатель А. Немтушкин — творец и собиратель слов родного языка:

Как я могу поверить во вздор,  
Будто слаб мой язык и мал,  
Если матери смертный вздох  
Эвенкийским словом звучал?

«Два крепких крыла было у меня в творчестве — родной, эвенкийский, и русский языки...» Постижение русского языка для Немтушкина стало постижением русской литературы, а отсюда — непреложное: русский стал языком осмысления Бога. Оттого в последний период творчества «мужик, унёсший парку» перестал противопоставляться эвенку. Одна беда у того и другого:

Что сегодня — пятница? —  
Думал я, — четверг?..  
Эх, пьяница, пьяница,  
Пропавший человек.

Победу дарует осознание беды, мужеству, по слову Немтушкина, можно учиться и у оленя: «Он всегда в непогоду идёт навстречу ветру, чтобы под шерсть не попадал снег, так теплее...»

«Дороги скрещиваются на вершинах», — так говорил Жан-Поль Сартр. Встреча с русским языком для поэта Немтушкина была «утешительной». Но русский язык утешением для нации не стал. Отсюда ощущение «вечной виноватости» пред своим народом.

«Роды, кочевавшие по речкам и озёрам, — Мукто, Лапуко, Момоли, Кордуи, Панкагиры, Хукочары, Курматовы... Где вы? Кончились эвенки...»

«Эвенки уходят», но остаются книги А. Н. Немтушкина. Слово поэта может стать «утешением» народа.

Эдвард Вашгерд

## О белых, бурых, классных...

— Не тот медведь, чо мы едим... А тот медведь, что нас съест!!! — заметил многозначительно Главбич, уверенными движениями пластая долганским северным ножом жир с туши пестуна, распластанного на здоровенном столе в артельном котлопункте.

«Чо» стопроцентно указывало на его сибирское, не чернолапотное, а кондовое происхождение.

— Т-точно, т-точно, Кузьмич, так оно и есть! — немного, а больше по привычке, заикаясь, поддержал разговор Кощей — худющий до полной невозможности, многоопытный, закодированный от алкоголизма бульдозерист.

Он, как вентилятором, наярывал рукояткой маленькой, древней, как сама матушка Сибирь, мясорубки.

Крутили мясорубку они по очереди, всей честной компанией. В столовой орудовал практически весь костяк артели-мамы: Главбич-Кузьмич, Танкист-Кощей, Геолог-Спелеолог, Маркшейдер — Хитрый Глаз, Горняк-Старальщик, Сварной-Лепила и Лотошник — он же Доводошник. Всего семеро по лавкам. На котлопункте артели толпой обрабатывали жир и мясо пестуна, добытого давеча по первопутку в соседнем распадке, неподалёку от участка. Найти его было делом техники — по следам на снегу и отметинам когтей на стволе осины белой, на которой он временно и был прописан... Шкуру его медвежью, которую прибили на зиму на соседний балок, уже облюбовали, обживали и выделявали большие синицы и поползни. Семеро мужиков крутилось на кухне, и никто никому не мешал! Не бабы, однако, тем и двоим было б тесно... Мясо внимательно — не дай Бог, просмотрели — на предмет трихинеллёза даже в бинокляр у Спелеолога разглядывали для верности. Бог миловал, вроде бы как обошлось. Как будто не видно этой заразы... Приготовили фарш: колбаса медвежья жареная и котлеты — чего же ещё возжелать мужику, после сезона под добрую компанию закусывающему при пузыре запотевшем?... Котлетки, да не те, которые готовят упорные хозяйки — трём штукам во рту не тесно, а нормальные, таёжные, в ладонь величиной, лепил Горняк, Геолог жарил и переворачивал, Маркшейдер складывал, а остальные прибирались да на стол собирали — вечерять. Первая партия котлет и колбасы уже не шкворчала, а доходила на двух больших довоенных чугунных старательских сковородах. Мужики, размеренно, без суеты, хозяйничающие на кухне, с пристрастием поглядывали на

Геолога с Горняком: все наверняка знали, что у них есть... Припасено! Вслух спросить никого и не пришлось, все всё знали и понимали без слов. Ещё бы: дым и Крым, огни и воды, «алямс-тралямс» и всё им, «золотым», ничоём — вот такая компания собралась. По двадцать промывочных сезонов за хребтом по всей стране нашей необъятной — не шутка. Горняк без бушлата — рукой подать — выскользнул «незаметно» в свой балок, у него как раз был нынче день рождения, это давало ему право и обязывало проставиться.

Впустив в столовую клуб пара, вернулся со двора Горняк, дверь пнул ногой, так как руки были заняты: к груди он, как дрова, прижимал водку. Семь по ноль семь бутылок, вычисленных им по давно известной универсальной формуле культурной пьянки:  $N + 1$ , всегда ведь чего-то не хватает, и обычно самой малости... Формула жизни — что хочешь под неё подгонишь! Даже гитара для специалиста не шестиструнная, а  $N + 1$ . Семь мужиков — семь пузырей: Кошей уже лет восемь как не употреблял, посему в эту формулу и была внесена поправка «на ветер».

Прибрали всё, как и положено на камбузе, чтоб блестело, как... Убрали, спрятали подальше медвежий жир золотой. Отдельно его занькали, как лекарство особое, от холода и болезней спасающее. Собрали, накрыли в столовой на стол артельный тесовый — не шелохнётся. Скатёркой его немудрящей сначала покрыли. Стаканчики. Тарелочки. Вилочки. Салфеточки. Праздник, одним словом. Именины. Покров... Всё как положено: сперва холодный стол с пирогами съестными. Посередь стола места побольше оставили, с досочкой в центре, для главного блюда — сковородищи котлет и колбасы с молодой медвежатины, а также картошки со сметаной и укропом. Преют котлеты под крышечкой на плите, своего часа звёздного дожидаются. Из приправ в котлетах, кроме лука-чеснока, только ягода можжевеловая, свежая, с налётом, голубая, а для шика особого, таёжного — взвар брусничный да орех кедровый свежий понаготовлены в сотейничках отдельно. Вот и всё, пожалуй, кроме «родимой» запотевшей водочки сибирской, выставляемой из угла с образáми на стол в последний момент. Чинно расселись семеро по лавкам, а именинник — во главу стола, на кресло резное председательское. Разлили по первой, за именинника, за окончание работ, за Покров — пузыря нет. На зуб, на закуску, так сказать, каждый понавздевал на свою вилку по собственному вкусу: кто рыжичек солёный, в сметану обмакнутый, кто капустки квашеной, кто кусок пирога с потрохами заячьими, по первому снегу добытыми, с яйцами, кто рыбки провесной... Чокнулись со словами:

— Быть добру! Конец сезону!

*Захорошело.* Между первой и второй редкая тёща доплывает до середины... Начислили на помин пестуна, плеснул каждый в сторонку, как положено на жертву. Выпили не чокаясь. *Разлилось тепло.* А уж

раз такая пьянка... то и по третьей не грех. Поздравили Горняка-Старальщика. Замахнули. *Подобрили*. Разговор своим чередом пошёл. Среди мужчин...

— А подавай уж и котлеты сюды, Кощей,— закусывать, однако, пора!

— С-сей момент, Кузьмич, сей момент...— засуетился с края стола Кощей.

Шило не спрячешь. Не «употреблят» — как в Сибири говорят!

На стол с большим трудом и упорством Кощеем, вдвоём с Лепилой, была взгромождена сковородища пицци сытнейшей да кастрюля картошки. Запах еды доносился до небес. В запахе яств была вся воля и свежесть матушки-Сибири. Хотелось жить. А когда хочется жить, то должно и творить. Такова уж суть вещей...

Жар голода волчьего, побеждённый холодным столом, уже догорал. Подоспело время основного действия. С чувством, с толком, с расстановкой, да не по бестолковке, а степенно, Кузьмич поднял свой наполовину полный стакан:

— Ну! За хозяина! За прокурора тайги! В тайге и медведь не прокурор, а токмо добытчик да старатель!

За хозяина пили мелкими глотками, как и положено... Счастлив по-своему человек, который скажет: «Не встречал»,— имея в виду встречу с медведем в живой природе, нос к носу. И то правда — от греха подальше.

Сегодня, с безумным уже распространением контролирующей видеотехники по планете, никакой медведь уже никуда не спрячется, это только террористам и бомбистам под силу... Интересно наблюдать на Таймыре, к примеру, как убегает белая медведица-мамка с двумя «умками», преследуемая залётным диким геологом с видеокамерой. Ещё забавнее глядеть на ораву человек в пять на вездеходе, снимающую этот увлекательный процесс на собственное видео...

Раз уж о белых, по старшинству, медведях вспомнили, то о них, красавцах голодных да сырых, и заговорили, бурым закусывая... Почти у всех ребят, что за столом собрались, были с ними встречи на просторах любимой Родины. У кого на Большевики, у кого в Якутии, на Чаун-Чукотке, в Анадыре, на Диксоне, да мало ли...

Начал разговор о них Горняк-Старатель, прошедший от Магадана до Тувы через Якутию, Чукотку и Таймыр:

— Белому в природе бояться ващце некого. Он самый крупный и добрый хыщщик Земли. Он и человекка-то, до зубов вооружённого, до сих пор в Арктике не воспринимает всерьёз. Разве что из интереса потрогает. Не пицца ему человек. *Не пицца!*

— Т-точно — встрял в разговор «пресноводный» Кощей, налегающий всё больше на котлеты и купеческий, чёрный, чай.— Разве что помойка человеческая или сортир — совсем же другое дело для него. Но сортир ему вкуснее и полезнее, с него медведь и начинает свою трапезу.

— Ab ovo! — выказал свою начитанность Горняк, от не хрен делать изучающий латынь. — Кымгыт и копальхен! — показал он также свою осведомлённость в жизни коренных и малочисленных...

Бывалый начальник участка Главбич-Кузьмич, как хороший боксёр, уловивший малейшую паузу в разговоре, перехватил инициативу: — А человек-то, напротив, боится его, родимого, страшится и со страху может начать вытворять неизвестно что и стрелять по чём попало. Хладнокровие при этом монстре сохранить дано не всем. Он под тонну весом, красавец, бывает! Вспоминается мне такой вот чудный, а может, и чудной пример из жизни нашего любимого центрального сектора Арктики. На острове Большевик, однако, архипелага Северная Земля, или на мысе Челюскина, сейчас уж и не упомяну, да и не важно это, зимовали как-то геологи цагрэшные... Зимовка на Крайнем Севере — дело-то, вообще, привычное: там за-всегда зима. Жилой балок — это зимовье такое на санях, а равно он же и командирский, как правило, — занесён там снегом по самое не могу, в смысле — и не балуйся, так теплее. Вход в балок входом я и не назову, язык не повернётся. Скорее, это нора такая или лаз в него обустроен. По всем правилам горняцкого искусства: сверху вниз шурф слабонаклонный прорыт и поддерживается в «рабочем состоянии». Крутой и узкий. На Севере Крайнем снегу-то не накопаешься — его ж там уйма! Лаз, бывает, метров до шести...

— А то и поболее, бывает, Кузьмич, намечает снежку-то над ним, — встрял вездесущий Кощей.

Кузьмич бесстрастно продолжал, но все всё и так знали, потому как повидали немало. Не перебивали его, закусывали неспешно.

— Для удобства в узкой щели этого лаза были сооружены перильца нехитрые: длинная жлыга такая по стенке, да и всё тут, а также были вырублены в плотном снегу ступени крутые, ногами до чистого льда уже отполированные. Снег в Арктике совсем ведь другой, нежели на юге, в Сибири... — Кузьмич задумчиво посмотрел в окошко и продолжал: — Он больше на песок пустынный походит. Пустынь арктическая, одно слово! Двери, естественно, все открываются только вовнутрь, а то мало ли чо: в жись не откопаешься. Только в кино о Севере можно увидеть двери, открывающиеся наружу. Не знают кинодеятели жизни Севера: заметёт — не вылезешь! А так наломал, нарубил снегу в дом — и выходи на свободу с чистой совестью! В высоких широтах снежок пушистым не бывает!

— Nota bene! — вновь проявил эрудицию Горняк, подняв перст, чем показал, что уже дошёл до латинской буквы «N».

Могутный полуторацентнеровый Кузьмич невозмутимо глаголил: — В помещении командирского балка всё, как правило, устроено без затей: по углам, наскрозь промороженным, — нары, в центре стол неструганый дощатый, покрытый древними секретными топоматериалами. На столе ящик радиостанции и журнал с карандашом,

привязанным к рации намертво, вусмерть, — они на центральном месте! Также, куды ж без него, спирт и закуска немудрящая — сахарок или ещё чего где придётся. Два гранчака — стаканы такие, гранёные под двадцать одну грань, но чаще кружки алюминиевые по четыреста граммов, кто не знает. Чай, чего-то ещё... Да и всё, пожалуй. По стенам одежда, тубусы, схемы, карты и прочее барахло охочее. Вроде бы точно всё. Да, забыл же про карабин Симонова, семь шестьдесят два миллиметра, в углу. Бывает. А ещё, конечно, геологический молоток в том же углу валяется, да ревнаган семизарядный на столе. Вроде всё... — А революция здесь ни при чём! Револьвер семь шестьдесят два миллиметра, системы бельгийца Леона Нагана, тысяча восемьсот девяносто пятого года образца, офицерский, а не солдатский, короткий, — выдал справку именинник, — непременный атрибут вольной жизни!

— А пули нужны спортивные, чистого свинца, — лениво, от не хрен делать, поддержал справочку Хитрый Глаз. — Если и завалишь кого, мусора ни в жись не докажут, что твоя работа: пуля об башку смята, и гильза в барабане! Шабаш!

Сбить с темы Кузьмича провокаторам было не под силу — ему всё нипочём, живописует картину далее:

— Двое на связи. Неспешный и плавный разговор у них под спиртяшку, и предсмертные, потусторонние эфирные хрипы радиостанции «Ангара». Связи давно уж — три недели, не меньше, — нет как нет. «Непрохождение» непроходимое у самой макушки планеты. Такое бывает гораздо чаще, чем связь сносная — «да-да», «нет-нет», не говоря уже о хорошей. Всем ребятам, кто на связи «888», — поднял свой гранчак Кузьмич, подавая пример остальным посвящённым.

Остальных уговаривать и не нужно. Закон за столом простой, старательский: Наливай да пей, её ж не жевать. Приняли, кто хотел, ещё по соточке, а Кузьмич продолжал себе далее:

— Пуржит. Завывает наверху. В сугробе хорошо! Медведь неслышно ходит сверху где-то. Принюхивается, родимый.

— К слову сказать, он, собака, чует несравненно лучше собаки! — опять решил о своём Кошей. — Ему на бескрайнем Севере выживать приходится, так что нерпу он и под метровым льдом чует, а жильё, сортир, помойку — так за десятки километров. Вот так-то!

Главбич — на то и начальник, и все дополнения ему как медведю обстрел горохом! — заворачивает дальше:

— Короче, сунул неопытный, любопытный косолапый морду в лаз неудачно... да и соскользнул рыбкой в балок. Они скользить по льду с самой молодости шибко уважают: положит морду на лёд, передние лапы — по швам, а задними толкается... Упражнение такое спортивное — красота! — Кузьмич улыбнулся хитро, предвкушая концовочку своего рассказа. — Влетает белый в балок... Двое. Оба в сильном замешательстве. В смятении медведь и геолог, что помладше. Ступор

у молодого, паралич, коматоз, глаза по блюдцу! Геолог, что постарше, молча и деловито начинает бить непрошеного гостя по морде, по носу геологическим молотком. И даже ведь не сильно, а по-отечески: не лезь, мол, к столу, где старшие сидят! Молодой медведь, как котяра какой шебутной, на скользком, в снегу, линолеуме начинает пробуксовывать всеми своими четырьмя лапами, пытаясь увернуться от молотка. Со стороны кажется, что лап у него гораздо больше четырёх, как в мультике америкосовском у кота Тома. Лапы мельтешат в воздухе, а продвижения — никакого! Буксует малый уже всем телом! Со страху он умудряется-таки развернуться на пяточке размером не более полутора метров, провернувшись вокруг собственной оси. Надо заметить, что медведь был не пьяный, не дрессированный и в цирке не выступавший. Понасобирав когтистыми лапами в кучу под себя весь линолеум, медведь пулей вылетел назад вместе с дверью, разворотив наглухо лаз. Диалог в балке: «Чего ж не с-с-стрелял-то?» — спросил молодой геолог. «А хрен его знает», — отвечал матёрый полярник, наливая себе с полкружки неразведённого спирту. И, закусив принесённым белым медведем в балок снежком, добавил: «Патронов-то маловато, да и чем его из балка потом тащить?..»

Хохотнули, налили понемногу, чокнулись за рассказ Кузьмича, подумали каждый о своём... Севере. Захорошело.

Горняк продолжил рассказ о белых, вспомнив историю своего учителя, сына батюшки православного, венчавшего в минусинской церкви Ленина с Крупской, — Цаплина Николая Александровича: — Когда страна наша величайшая уран себе на бомбу искала, даже на остров Комсомолец забрались геологи, а это уже восьмидесятые широты, до полюса доплюнуть можно слюной, на лету замороженной. Партии номерные по всей стране пахали, а в Арктике работали они под чутким руководством Берии Лаврентия Палыча. Про «Рыбак»-то, наверное, слышали, Каменское проявление? — он окинул взглядом собравшихся и, отчего-то неожиданно заволновавшись, продолжал: — По всей стране нашей грандиозной, по шестой части суши нашей планеты, отряды геологов... — задохнулся от гордости за Родину именинник, но тотчас одыбался, взял себя в руки и продолжал: — Для припарка к обрыдлой уже всем, опротивевшей за вечную зимовку сухой и консервированной пище, на острове Комсомолец вохра, с разрешения начальника, из крупнокалиберного пулемёта часто стреляла белуху в море, а зэка кодрой трактором её вытаскивала из майны и волокла в лагерь на свежину. Не более чем через полчаса на следу тракторном показывался белый медведь, по запаху убиенной белухи. Нюх у него — закачаешься! С голодухи обоняние такое острое, что, народ свидетельствует, поболее чем на тридцать километров зверь берёт, — поддержал он Кощея. — Белого тоже стреляли, а шкуру под ноги в палатке начальника стелили — одну на одну. Множество медведей там нашли свой приют, под райским светом, как



наши северное сияние называют... Медведя белого тоже, конечно, ели, но с большой опаской: много его никак нельзя, траванёшься, в смысле отравишься,— закончил он и посмотрел внимательно на Кощея, наворачивавшего за обе щёки свеженину.

— На бухте Нордвик начальник-язвенник витаминизировался свежими куриными яйцами, для чего он завёз себе туды трёх курочек с петушком,— лениво вставил Хитрый Глаз.— С ума Петя этот на Севере Крайнем сошёл! Охрип и сдох, собака! Орал, сволочь, благим матом днём и ночью, в смысле весь день полярный и ночь от него покою не было! Солнце-то кругами, однако, ходит, а ночью его полгода нет... Попутал.

Вспомнили также ещё и не раз мыс Челюскина, самую северную точку нашего материка евразийского, на котором до ста двадцати человек в былые годы обреталось, а нынче и десяти человек погранцов не будет.

— Там, на Челюскина,— вспомнил другой случай Геолог,— молодые метеорологи и гидрографы показывали свою удаль молодецкую перед девушками, а там она и была-то... Была у них... Одна...— задумчиво вспомнил об этой снегурочке Геолог.— В хорошую погоду часто мóлодцы бегают на лыжах... по слабости своей холостяцкой: с утра двумя руками не согнуть. А в праздник добрый и хмельной — то и того, поди, чаще... взпуски́. И бывает даже, что очень и очень быстро... Человек свободно идёт на мировой рекорд, если вслед за ним по лыжне бежит толстый «тренер» — белый медведь. Батюшка! Батюшки!!! Ой, мама! Вы только представьте,— распаялся в своём повествовании Геолог,— представьте себе эту картину: на наружной стене балка́, естественно, висит ружьё. Начало весны. День Победы. Минус пятнадцать-двадцать всего. Ветра, что непривычно, почти нет за балка́ми. Тепло и солнечно в затишкё укромном. Комфортно на южном побережье двух морей. Хочешь — тебе вид на Карское море, а можешь и на Лаптевых, Харитона и Димитрия, море любоваться — художнику никто не указ. Он так видит. Не сходя с места, на оба моря арктических одновременно любуйся, не окосей только! Красотища!!! Циркумполярная область Земли. Самый центральный любимый сектор нашей Арктики — без малого семьдесят восемь градусов северной широты. Широко!!! Погода, как выражаются в полярной авиации, стоит «миллион на миллион». Полночь на мысе Челюскина. Солнце уже высоко над горизонтом. Гало на Севере, через пролив Вилькицкого, выстроилось как на парад. На импровизированных столах чего только нет: овощей нет, фруктов нет, пива, газводы нет, и прочего, «материковского», ничего нет. Есть шашлык из оленины. Есть сагудай из гольца — лосося арктического, пойманного на Гафнер-Фьорде. Кто не знает, дам историческую справку: это и не фьорд вовсе, а устье реки Ленинградской, одно из крайних крупных географических открытий прошлого века! Есть нарезанная ломтями

буханка знаменитого челюскинского пшеничного хлеба. Даже, на удивление, лимончик и чесночок припасли к случаю — от инопланетян полярных, видимо, достались. У шашлыка стоит виски-самогон именной — «Семён Челюскин». Четверть старинная — три литра, наполовину уже початая. Рецепт этого напитка прост: восемь банок сгущёнки на литр самогонки требуется, проверено многократно. Ароматизаторы — по вкусу автора, кто во что горазд. В смысле, сбразить надо ту сгущёнку и выгнать самогонку, добавить цедры или ещё чего, а то молодёжь может и не понять с разбегу. Натурпродукт! Горит она, родимая, зловещим синим пламенем, но это не синька какая! Градусов шестьдесят этот напиток, никак не меньше. Единственная девушка на метеостанции восседает Снежной королевой. Шутки-прибаутки друзей у костерка, что шáит себе спокойно в мангале, подёргиваясь пеплом. Все ухаживают за дамой, а один выделяется на лыжах. Молодой гидрограф, спортсмен-разрядник двухметровый Володя Гнилицкий на виду у всей честной компании идёт на рекорд, резво ускоряясь по дистанции... Кавалеры при даме незлобиво отпускают остроты и замечания по стилю бега и достоинствам лыжника. Нижнюю половину бегуна от трибуны зрителей скрывает невысокий длинный сугроб, вернее сказать, снежный надув, тянущийся к балкám метров на тридцать по розе ветров. Идущий на рекорд спортсмен, видимо разгорячённый накалом борьбы с самим собой перед дамой сердца, в последнем рывке сбрасывает рукавицы на лыжню. За ними следуют шапка и шарф. Во корень разбушлáтился, разыгрался, ретивый! Видно уж финиш. И тут вся компания замечает «тренера», останавливающегося всякий раз, чтобы изучить сброшенные бегуном спортивные трофеи. Таков закон у медведя — знать, что у него в Арктике нового! Ружьё, висевшее без толку на стене в первом акте, стреляет в воздух. Медведь уходит. Занавес. Аплодисменты.

— Привычка медведя изучать всё непривычное вошла даже в разговорки народов Севера, — заметил Горняк, — она вспоминается бывалым человеком в самом крайнем случае, из самых, так сказать, закоулков лихорадочных мыслей о спасении. При личной, так сказать, встрече. Часто для спасения собственной, со страху белой, шкуры... Должен заметить, кстати, что белые живут наособицу от бурых и рычать вовсе не умеют. Встретиться они, бурые с белыми, конечно, теоретически могут, где-нибудь на семьдесят четвёртой параллели, а это уже широта Диксона, и люди там нынче не живут — одни инопланетяне. «Палласов медведь» был ошибкой, байкой и до Туруханска не доходил, что справедливо отмечал ещё академик Миддендорф. А Диксон в советские времена имел самое культурное и образованное население в стране, на полголовы был он выше Москвы и Ленинграда. Были и школа искусств, и картинная галерея, и библиотека, и ещё всякого на каждого Якова. В девяностые годы дерьмократы во главе с двоечником Ельциным Борисом Николаевичем («ебээн» — он и есть

«ебээн») всё угробили... но это явление отдельно нужно поминать. Ярче всех охарактеризовал «ебээна» (я не ругаюсь) Ломаев Виктор Георгиевич, которого по случаю замело в Бутку, на малую родину этого ебээнного «героя». «*Эта земля героя родить не могла...*» — сказал он весьма задумчиво и плюнул в сердцах. О чём, бишь, я?.. — задумался на секунду именинник. — Ну да... Шёл мужичонка один по делам своим. От балка́ до бани. Баню на Севере, в отличие от сортира, — он снова глянул на Кощя, — гораздо лучше подальше от жилья устраивать. Причина простая: огонь. Бойся-бойся. Нынче-то сплошь электричество для отопления жилья и бани. Удумали «геолухи» или «геошизики», история о том молчит, даже баню микроволновую соорудить — я не шучу — якобы вовсе несгораемую и для здоровья невредную. Иные извратились и «криобаней» — минус сто десять градусов! Во как! Я не шучу!!! Для двух-то балков дизель гонять — соляру на ветер! Для удобства бездельного, что «видиком» обзывается, нынче гоняют и не стесняются, пустоплясы. Но безопаснее, конечно, электричество, ежели дизель подальше от жилья поставить. Но дизеля отечественные были немаленькие, минимум тридцать киловатт, и соляры жрали прорву, благо топлива в Арктике было рекой: арктическая соляра, зимняя, ТС, Б-70, конденсат... Не было на Севере только летней солярки — это была погибель верная... А в прежние то времена в каждом мало-мальски приличном балкэ или даже в сторожке какой шаила вполсилы печка-капельница: в железной бочке сосок такой с соляркой был устроен, на камень или кирпич горячий капающей. Буржуйка на солярке, одним словом. Штука весьма коварная, но легендарная и уважения к себе требующая. Панибратства капельница никому не прощала, о чём свидетельствуют весьма многочисленные печальные случаи и даже групповые, смертельные. В некрологах они, как правило, не прописанные. Но нельзя было на Севере необжитом без капельницы в прежние голодные времена прожить. Ну никак! — Уж это точно, Анатолич! Точно, — поддержал Старателя Главбич. — Без капельницы никак! Но и «пеплу», конечно, навозились: от человека, бывало, и не находили ничего, отдавали его родичам просто пригоршню пепла от балка́ в пробном мешочке, и всё. — Да уж, — согласился новорождённый и продолжал: — Метров сто — сто пятьдесят мужичку иди-то всего. Погоды вокруг стоять, — он сделал акцент на мягкое окончание слова «стоят», — аховые. Конец апреля — начало мая. Не больше двадцати градусов, при слабом, метров в пять всего, ветерке. Солнце арктическое по яркому девственному свежему весеннему снегу без очков ходить уже не позволяет. Эскимосы различают до сорока оттенков снега, а норильчане — всего два: чёрный и белый. Все на Крайнем чистом Севере летом ходят с обгорелыми на солнце рожами и в чёрных, желательно глухих, с ушами, очках. Курорт альпийский! Вертолётчики, лётчики полярные прилетают с мордами кирпичными, но с ушами анемичными. При

распахнутых настежь в полёте форточках не загорают только уши под гарнитурой с глухими наушниками, в смысле — плотно прижатыми к голове. Забавно смотреть на них весной — чисто обезьяны какие редкие. Тропочка меж балков за зиму натоптана хорошая. Снег вокруг уже осел — тропка торчит. Примерно на полпути сторожечка или ещё чего подобное стоит, капельницей своей дымит потихоньку в трубу буровую. Идёт себе мужичок, ведёрком отмахивает. Одет легко. Да и то: к чему ему одеваться-раздеваться, когда почти лето и идти недалёко? Свитер да штаны в валенки. Но шапка — обязательно, даже летом. Рукавицы и не нужны ему вовсе. И тут... Откуда ни возьмись — медведь. Как говорится: «Копец. Приплыли! Здравсте, девочки!» Самым близким строением от мужичка оказалась эта сторожечка-сарайчик на санях бульдозерных. Высота до плоской рубероидной её крыши не больше двух с половиной метров. Балочек этот, как трактор его оставил, так и стоял себе на полдороге. Вот на крыше этого балка мужичок и очутился махом, в прыжке тройном и самым что ни на есть волшебным образом. Даже не бросив своего ведра с болтами. Медведь, в недоумении полном, видно, от прыти его спортивной явившейся, поднялся на задние лапы и заглянул на крышу. Прыгун стоял там, как кремлёвский часовой, по стойке «смирно». У трубы печки-капельницы, точно посреди плаца. Заинтригованный медведь стал нащупывать мужичка этого лапами, по переменке: левой — правой, правой — левой. Кто ловит правой?!левой!левой! Ловко так нашаривает, обходя балок кругом, стоя на задних лапах. Часовой от него тоже начал двигаться по своему посту, пытаясь отодвинуться от медведя на противоположный край крыши, от греха подальше. Сделав круга три вокруг балка и так и не нащупав новую игрушку, белый полез зачем-то в балок и начал шарить там. Солнышко зашло за тучку. Поднялся ветерок. На крыше стало зябко. Шибко зябко. Да и мужичок там... трясётся весь, бьётся, колотится, как мёрзлый хрен об дорогу... Налегке. В одном свитерке. Медведь и сам на Севере давно уж мёрзнет. Перевернул-таки он капельницу, толстозадый! Мужичка, как видно, подогреть решил. Накал драмы нарастал в прямом смысле этой живописуемой картины: часовой по струнке смирно на посту застыл. Медведь — обходом вокруг балка. Снизу, под мужичком, разгоралось. Вечерело. Заметало. Подмораживало. И вот тут-то, — возвысил голос Горняк, — в самый канун драматической развязки, его и *осенило наконец!!!* Положил он шапчонку свою в ведёрко ржавое да и зафинтилил его как можно дальше от тропы, в сторонку. Медведь, в соответствии с законом своим медвежьим, пошёл изучать новый предмет. Тут-то мужичка медведи и видели... — А я вот лично наблюдал в Кырске из окна подобный же случай с котом, — заявил Геолог сотрапезникам. — Домашний здоровенный котяра вышел прогуляться по своим холостяцким делам, а тут, откуда ни возьмись, собачки. Хорошие такие две лаечки, хвостики

колечком, на лапках белые носочки... К котейке уважения нет. Загнали они котика этого на тополь, на высокую толстую ветку. Да на его беду — ну не задался у усатого денёк — на тополе том было свито гнездо воронье с птенцами. Вороны — птицы серьёзные, кто не знает! Картина — нарочно не придумаешь, да не до смеху кандэ этому: сверху его, толстопузого, вороны сбивают, бьют бедолагу смертным боем клювами бронебойными, а внизу собачки с ухмылочками гаденькими его поджидают, глазками поблёскивают и даже поскуливают в вожделии. Ужо хватили они kota поперёк живота, замотали — не отбился, сердешный. Не судьба ему была, не судьба... — Надо признаться, медведи белые — «немедведимы», так же как нелюдимые человеки в тундре, на точке, — нелюдимы, — отметил о своём давно назревшем и наболевшем и вернулся к теме Хитрый Глаз Браун, в корень осевший и обрусевший немец. — Редко можно встретить нескольких зверей вместе, ну если, конечно, это не мамаша с медвежатами. Медвежата беззащитны и бесправны. Медведь взрослый, любой, даже их родной папаша, готов с лёгкостью их убить и съесть. Случается редко, очень редко бывает увидеть в Арктике сразу нескольких белых, но для этого явления должны быть и обстоятельства особенные и вполне для Севера Крайнего чрезвычайные. В таких условиях, бывает, на Чаун-Чукотке, к примеру сказать, что сразу несколько белых медведей могут обжить поселковую помойку, где-нибудь на Валькумее. Берлоги свои, чтобы далёко не ходить, устраивают они среди «трудовых кубиков» — смёрзшихся пищевых и бытовых отходов в виде куба. Образуются эти «кубики» непосредственно возле жилья, в разборной деревянной опалубке, а затем их трактором на тросу вытаскивают за посёлок. На Чукотке всё измеряется в кубометрах, и мусор не исключение, — люди гор, «горняки», одним словом. Вот в таких условиях доводилось мне видеть хозяев Арктики, не приведи Аллах! Вся шерсть их была покрыта разной дрянью, от седёчных голов до презервативов, — пакость непотребная! — он зло выругался и плюнул. — Вообще, халявная еда многих развращает: медведи, чайки, вороны, крысы, америкосы... Но халявная еда даже из медведя белого может раба дармового сделать и в кучу нетрудового коллектива согнать! Зоосад я даже в виду не видал!

— А на чистом Севере, — ввернул своё Спелеолог, — даже на Челюскина, загаженном за сто лет так, что это уже притча во языцех, собаки местные на помойку ни ногой. Собаки для медведя, как и для волка полярного белого, — рахат-лукум, шербет и шоколад в одной шкуре. Надо у корейцев, кстати, узнать секреты их приготовления. Большой белый медведь (бэбээм) на заставе собаку заглотил вместе с будкой... Ха-ха, шучу, конечно. На Челюскина, в метео, белый сожрал так Мишку — здоровенного, добрейшего молодого пса, редкой, в смысле — не часто встречающейся, тундровой масти: чёрной шерсти с серым плотным подпушком, — так весь посёлок в трауре неделю ходил...

— Другое дело — в природе-матушке, — включился в разговор Кузьмич. — В Арктике труднодоступной, для рабства вовсе непригодной. Эрзацы и подделки цивилизации целые экспедиции губят себе на поживу. Тухлые консервы в полярную экспедицию поставить, на голод и погибель её героев, — это даже не подлость, а несравненно хуже. Даже в Библии такой смертный грех не прописан! Таймыр пустел напрочь, когда какая-нибудь «морская» экспедиция западная выживала и через него проход на восток искала! Людям нашим и так выживать приходилось на Севере в холоде и голоде, а тут им — работы казённые: судёнышки утлые их, по грамоте царской, спасать, из льдов вытаскивать. . . Вот и уходили местные подальше от греха, с мест насиженных в леса Эвенкии, где выжить весьма непросто, а чаще и вовсе невозможно. Много «западников» на нашем Севере загнуло. . .

Геолог поддержал мысль о сбережении людей на Севере:

— Попробуй-ка доставь их в целостности и сохранности — работы уйма, а людей не хватает! — выразился он, по-сибирски проглотив окончание. — Берегли, конечно, людей не все. Предупреждение ээка в Норильске какому-нибудь особо злобствующему оперу: «Жить тебе до первой пурги», — обозначало лишь то, что колонна ээков, верёвкой одной супротив свирепого ветра связанных, не подаст ему руки в пургу и в колонну, им же «конвоируемую», ни за что не пустит. Весной он «подснежником» вьтает из сугроба какого-нибудь огромного, над трупом наметённого. Весна завсегда вьтает и покажет, кто где зимой срал! Извините за скудность фразы, но из песни слов не выкинуть, даже из грустной.

— Смеею заметить, — также высказался по поводу сбережения людей Маркшейдер, — что ээков, а позже и бичей берегли. Они на Севере были силой созидательной, добывающей всю соль земли русской. «Бичарня», «бичевоз» и «бичелёт», «бичлагкомандировка» — всё сплошь слова на Севере не обидные, а суть вещей выражающие. . .

— Неподадёку от мыса Челюскина речушка небольшая есть, — продолжал вещать подобревший от обеда Главбич-Кузьмич, получивший своё прозвище в «лохматые» годы, ещё на «госдббыче», когда он был старшим, бригадиром над сезонниками в Якутии. — Ничем вроде бы речушка эта и не примечательная. Простенькая она с виду, это не Она в Хакасии, это Унга. Мало ли таких речушек на земле? Всего-то девятнадцать километров длиной. А ведь всё при ней есть: ледник, золото, птичий базар. Геологи и геологини, старатели, сайка, медведи. . . Унгой её топограф Петров со станции полярной в тысяча девятьсот тридцать шестом году назвал. Есть мнение «топонимиков» юных, что по названию реки, что в Чувашии протекает, её назвали, Заступенко Коля именно так и считает, но это мнение спорное. Унгой назвали реку явно под впечатлением рассказа Джека Лондона «Северная Одиссея». А что! Унга — дочь Алеутских островов, жадная до жизни, золота и фарта, красивая, дерзкая, с очень непростой, но яркой

историей жизни! Ну чем не память, оставленная в её честь в названии реки, что на северной оконечности полуострова Таймыр?! Тем более что история нынешней Унги, «правой» по-якутски, — реки золотой и месторождения россыпного особого — не менее интересна и ещё не очень собой закончена... Правота её ещё себя покажет! Птичий базар... В паре километров всего от эстуария Унги, впадающей в море братьев Лаптевых. На отвесном правом берегу притулилась к стене высотой метров до двадцати колония серебристой чайки. Над колонией особняком гнездятся бакланы или бургомистры, тоже что-то вроде огромных чаек, но человеком особо презиаемые эти птички, весом они килограммов по шесть, не меньше, — в хайло ихнее ненасытное на лету кусок рыбы пролазит точно в килограмм, испытывали, и не подавится же никак эта сволочь!!! — Кузьмич в сердцах плюнул. — Есть также «шилохвостые» заразы — поморники, и что-то ещё пернатое — три пера. Чайки прилетают весной на гнездовые группами и занимают свои места по некоему неписаному птичьему ранжиру и значимости. Не все уступы-выступы на базаре равнозначны. И не в удобстве площадочки гнездовой дело. Если над выступом, где уже сидит на гнезде чайка, есть хоть малейшая возможность зацепиться, то на этот приступок может запросто прилепиться запоздавшая в пути чайка. Ей-то «тоже ж надо»!!! И опоздавшая чайка начинает нещадно долбить наседку, сидящую на собственном гнезде. Долбит она её клювом, как те вороны котяру, целенаправленно, стараясь угодить в затылок. Как гнездовая птица ни уворачивайся, а смерть её пришла! С «удачным» ударом голова чайки на гнезде поникает, как цветок, заморозком убитый, а трупик сталкивается под борт базара птичьего. Счастье чайке-убийце, если больше «опоздавших» не будет. Вот так на берегу реки Унги, ещё по снегу, положено начало большому птичьему «кладбищу». Дальше — больше. Чайка в кладку откладывает три, реже — четыре-пять яичек. Если люди хотят свежей яичницы, то забрать можно не все яйца из гнезда, а то чайка бросит нестись. Одно яичко в гнезде надо оставить. Свежие чайчи яйца весьма полезны и вкусны, когда их на сальце да с лучком зажарить. Штучек тридцать под самогон «Семён» и компанию добрую, бывалую. Слюна писать не помогает... Человек, как правило, нанести большого урона колонии не может, даже целенаправленно: природа-мать его сильнее. Из четырёх птенцов их родители ставят на крыло только одного — самого сильного. Остальных — под откос. С базара! К середине августа валик из мёртвой птицы под уступом уже заметен издали. Что-то уже, наверное, и попахивает, хотя на Севере Крайнем с этим туго, бактерий маловато или вообще почти нет. Стерильно на Севере, поэтому медведю и нужен сортир или, на худой конец, помойка для восстановления флоры кишечника после голодовки его страшной — нуль-диета до полугода! — Главбич обратил внимание на Кошея, начинающего странно ёрзать. — Нужен так же,

как чукче копальхен! Август-сентябрь для белого медведя — бескормица, льда-кормильца нет, а тут птичий базар с его деликатесами. Вот и конец рассказа: на Унгу припёрлось *одинадцать белых медведей разом!!!* Нашествие это весьма впечатлило и геологов, и старателей, заканчивающих разведку одноимённой россыпи золота. Все по балка́м попрятались, не сговариваясь, и у окон при оружии сидели, как мыши. Обошлось, слава Богу, без эксцессов, не считая разграбленных помойки и сортира. Видео это редкое с хозяевами Арктики сняли все, кто имел видеокамеры. Рассказов в Хатанге и Норильске было немерено. И не на одну бутылку... Случай-то небывалый. Хотя в тысяча девятьсот тридцать третьем году на Челюскина по полосе припая шарахалось до четырёхсот белых, а в сорок восьмом — всего три. Это они собрались на «сабантуй» за счёт припая удобного в проливе Вилькицкого или льда прошлогоднего, который, бывает, что и на другой год остаётся на месте.

— А может, от фюрера они ломанулись?! — свернул Маркшейдер. — Вот по этой причине многие мореплаватели, и рейдер немецкий «Шеер» в том числе, этот пролив взять и не могли, а Сёма Челюскин на собачках добрался: самоедская и восточносибирская лайка — это вам не хаски какая новомодная! Понимать надо!

Кузьмич невозмутимо продолжал, не приняв во внимание предположение Хитроглазого:

— На Унгу ребятам старенький вертолёт Ми-8 подвозил и рыбки свежей, и мяса оленьего. Тем более что по пути всё — четыре часа лёту, а мяса летом свежего надо всем. Били оленей, намётом уходящих по тундре, с вертолёта картечью. От вертолёта не уйдёшь, даже волк полярный к листовке на задних лапах встаёт и к дереву прижимается, прячется. Да куда там — росомаха не уйдёт! Попробуй от «мессершмитта» уйди, — вспомнил он, как Рахнавец за один полёт взял *шесть* росомах. — В салон затаскивать добытых оленей — браконьерство чистой воды: кровь, грязь, шерсть — все улики налицо. Да и тяжеловато на пуп их, тёплых, обмякших, подымать. Способ один: на тросик их, гирляндой за колёса — ёлка новогодняя, да и только, когда оленей десять понавздёвано. Медведи белые этот вертолёт и расписание полётов знали лучше нашего. В половине пятого вечера, часы по ним можно было проверять, были они уже на «вертолётке», где оленей разделявали. Как «коральщики» с вертолётки — они тут как тут! Приберут весь б́утор так, что чистота первозданная на участке, порядок, — Главбич с удовлетворением вспомнил заведённые им порядки на участке: попробуй окурочить в неполюженном месте. — Все были довольны — и люди, и звери.

— На острове Большевик, аккурат на бухте Солнечной, было дело, году в две тысячи шестом, — поддержал тему Геолог. — На заставе бывшей пограничной, оставленной старателям по случаю сокращения присутствия погранцов в Арктике.



— А что? Шарахайся кому не лень, — поддержал его Главбич, — даже итальянский спецназ в районе мыса Косистого, где тоже была застава, может тренироваться. Мыс Стерлигова, Эклипс, бухта Зимовочная... да мало ли их, застав этих, брошено по всей арктической Руси — хоть кому мѳзги выноси.

— Приняли на базу Солнечную, на хозяйство, «москвача» одного, — продолжал Геолог, — «правильного» коменданта на сезон. А на дворе-то уже двадцать первый век стоял. Проверил он сроки годности продуктов на складе — и волосы у него встали дыбом на заливке его столичном могучем. Продуктишкам-то этим по тридцать-сорок лет. Подумаешь! — скажете вы. И не такое видали. Видали тушѳнку экспедиции тысяча девятьсот двенадцатого года, неплохую, кстати, на вкус, двуглавым орлом, как знаком качества, отмеченную. Есть на Севере запасы госрезерва, так что плов из двадцатилетней новозеландской баранины — не новость. Понять это несложно: капиталисты клейма на мясо ставят с датой — не ленись, высчитывай! Так вот, выбросил этот завхоз «просроченные» продукты на помойку. Недалеко от посѳлка, естественно, помойка была, «в черте», можно сказать. Халява!!! Налетай — подешевело! Дармовщина! На солнечную помойку, на пир дармовой, сбежалось уже *шестнадцать белых медведей разом!!!* Дошло до того, что и в сортир по нужде большой ребята на «Урале» ездили. Во всеоружии. По трое! Из дверки машины в дверку туалета скакали, как зайцы-засранцы: шасть в сортир — да назад мухой...

Кощей пулей вылетел из-за стола на двор. Жадность фраера погубит! Народ откровенно гоготал. Расслабились, развеселились, как дети... — Медведи белые отлично даже через жѳсть консервной банки чувуют и знают, в какой банке что находится, — заметил Маркшейдер. — Вскрывают они консервную банку, просто встав с подскока на задние лапы и наступив с усилием на неё своей лапищей, точно так же, как проламывают лёд они, добывая нерпу и лахтака — основную свою еду. И ни один медведь ведь не поранился. В отличие от жертвы какого-то «умника», который бросил медведице на «Валькѳ» в Норильске открытую им ножом банку сгущѳнки. Бурая медведица в клетке обрезала себе язык, изошла кровью и издохла, бедолага, пав от безмозглого вполне взрослого идиота — ни дна ему, ни покрывки, тупоголовому. — Белый медведь — не зверушка какая-нибудь домашняя, а самый крупный хищник на планете Земля, — вновь вспомнил Горняк-Старатель. — Даже маленький медвежонок опасен. Даже о трёх ногах, когда он по вертолѳту носится — глаз да глаз! Не поверишь! Что ты! Вывозили как-то геологи с Большевика трёхногого малыша на материк. Где медвежонок переднюю лапу потерял, сам он, поди, по малолетству и не упомнит, но вывозил его Генка Кальной, как сейчас помню. Единственно оправданная «выемка» из арктической пустыни — всё равно на трёх может не выжить! Хотя кто его знает, чего на Севере бывает! Кального мы ещё вспомним — естествоиспытателя. Когда белый

медведь пошёл по делам своим медвежьим, то мешать ему, мягко говоря, не стоит. Он в Арктике хозяин, а хозяину не перечь! У людей в семье и то отец, старшой любой запросто ложкой по лбу закатает неслуху и будет прав. Здесь, в циркумполярной сторонке, порядки те же: плелись как-то два «геолуха» из «Севморга» (это «Севморгеология») за белым медведем по «дороге», вернее — в направлении бухты. На вездеходе ГАЗ-71 ползли, не подумай чего, читатель. Ни вправо, ни влево им, бродягам, не свернуть. Путь-дорога промеж курумников проложена — неудобно страшно, гуски-то у семьдесят первого «не железные», не то что у ГТТ. А медведю хоть бы хны — трусит себе на бухту. Ему, бродяге без паспорта, тоже с путика сходить резона нет. Мир тесен, все по одному путику ходят! Вот водила молодой и решил легонько под зад медведя вездеходом подтолкнуть. Вполсилы, видимо, медведь, лапой мазанул по кабине вездехода, свернув её набок достаточно сильно — так, что все стёкла повывлетали, а геологи в перекошенной кабине, с такими же кривыми рожами, встали как вкопанные. Опять же они, цагрэшники из «Севморга», развозили как-то вертолётком по острову продукты, предназначенные для полевых отрядов, по Арктике в те времена активно работающих. В основном, конечно, тушёнку и сгущёнку — как «энергию в чистом виде». Упакованы, очень плотно уложены эти банки были в стальные трёхлитровые советские тяжеленные бочки, с заваренной электросваркой крышкой. Белый медведь, нашедший такую бочку, измял её всю, во корень изнахратил, но крышку заваренную вскрыть когтями не сумел. Поскольку все бочки выгружались с точными координатами, чтобы найти их можно было при любой погоде, то геологи смогли довольно точно определить расстояние, на которое медведь упёр более чем трёхсоткилограммовую бочку, — полкилометра. Как он её тащил — неизвестно, но бывает, что тащит медведь груз, как человек, на горбу. Вот такая у него, батюшки Бореюшки, силища. Медведица не намного отстаёт от хозяина, она — такая же полноправная хозяйка Арктики. На бухте Солнечной, при выгрузке грузов для старателей и геологов, можно было наблюдать процесс охоты на «глупую» нерпу самой хозяйки и двух её «школяров» мелкопузых. Метроном, конечно, у неё в голове точнейший устроен. Чётко считает она интервалы времени в конце жизни нерпы: когда ныряет, а когда выныривает к продушине; по несколько метров буквально подходит она к майне, или дыхательному отверстию, лазку во льду. Резко, чётко вынимает она нерпу из-под льда, одним ударом из-под воды снизу вверх лапой. Реакция у медведей почище, чем у кошек будет. Нерпа летит метров на пять вверх, а в ней килограммов семьдесят, а то и все восемьдесят. Медвежата учатся у мамы, им ещё жить и жить в пустыне арктической. С бухты Солнечной, кстати, ледокол «Вайгач» с «морковкой» — сухогрузом ледового класса «Кола» — отправились разгружаться на припай возле Унги. С того момента это место уже промерено, выверено

и нанесено на лоции Севморпути. На радость ли белым медведям? Все передвижения в бухте наблюдали на локаторе пограничники заставы мыса Челюскина, единственной нынче сохранившейся в этом секторе Арктики — честь и хвала тому генералу, который на вопрос о её судьбе в лихие девяностые годы отвечал: «Не я её здесь поставил, не я и закрывать буду!» И был прав: стоит эта застава до сих пор — уважать нас заставляет! Не может быть безлюдной самая северная точка Азии — она русская! Там служат восемь погранцов русских! И наши белые медведи... Русские!

Котлеты уже доедались сытой компанией довольно вяло, только в виде закуски. Вернулся зелёный Кощей, ему уже было не до еды. Принесли с кухни брусничный кисель с травами медовыми, таёжными, запашистыми. В самый раз было и кисельку испить, для здоровья, так сказать. Кисель — штука вкусная, здоровая: хочешь, пей его, или пей водку — запивай киселём, а хочешь — режь и ешь овсяный кисель. До чая далеко ещё. Долгане, например, когда им в гостях чай предлагают, начинают собираться. Примета у них такая: «Уж коли „хохлы“ чаю предлагают, то водки больше нет!» Хохлами они считают всех пришлых без исключения — будь ты русским, украинцем или татаринком... И, кстати, сильно удивляются, когда узнают количество народов нашей Родины.

— А вот котлетами с белого медведя или печёночкой его можно насмерть отравиться! — вспомнил вдруг Главбич рассказ Старателя, подняв для наглядности свою вилку с куском котлеты.

— Эт-то п-поч-чему же? — поинтересовался Кощей.

Остальные, кто с интересом, а кто из уважения к Кузьмичу, повернули головы.

— Витамина «А» в нём больше, чем в морковке: гип-пёр-авитаминоз! — с трудом выговорил он мудрёное слово. — Бывали случаи... А всё жадность. Вот ты, Кощей, сколько котлет умял? А?!

— Н-не-е считал, — замялся Кощей.

Народ за столом растянулся в ухмылках своих уже пьяненьких мордасов. Все знали слабость Кощея насчёт пожрать. Его, как беззобую курицу, накормить было невозможно — проглот, одно слово, прорва! — Так вот, Кощей! Не те черви, что мы едим, а те, чо нас едят! — повторил начальник свою мысль от начала застолья. — А вдруг этот медведь больной был?! А вдруг недоглядели? Ты же его водкой не дезинфицировал!!!

У Кощея вытянулось и без того продолговатое, лошадиное худющее лицо. Старальщики расхохотались и продолжали...

— Приспела пора нашему повествованию уже спускаться с высоких широт на землю грешную. Сначала в Норильск. Норильск — это самый «грязный север», который только можно вообразить извращённой фантазией, испоганенной донельзя шальным норильским баблом, разгильдяйством, равно как и целью государственной, всё на

необходимость списывающей. И тайга реликтовая под горой в Талнахе, северная, которую коренные норильчане навеличивают «тундрой», тому подтверждение. Выгоревшая от серных газов и пыли, полумёртвая тундра с выродившейся растительностью глаз никак не радует. Травушка-муравушка на хвощ кислотолюбивый переродилась километров на триста окрест. В Советском Союзе, смею заметить, было в нашем городе гораздо чище, причём за меньшие деньги. Норильчане гордились своим городом и на просторах величайшей державы выделялись своей «особостью» и значимостью: не дай Бог забастовать — генсек тут как тут. Для поддержания здоровья и духа норильчан были комбинатом устроены профилактории и санатории, в которых были зооуголки и медведи бурые, потому как белых держать конвенция не особо позволяла. В отличие от медведей заповедника «Столбы», медведи эти почему-то были малопьющие. И это в Норильске-то!!! Обезьян, макак Яшка на «Валькэ», и тот пил водку и курил. Пиво он презирал и, как правило, выплёскивал в рожу его предлагавшему на потеху присутствующим. С водки обезьян был пьян меньше, чем «с пятидесяти грамм и в хлам» алкоголик. То, что медведица Машка трагически погибла от сгущёнки, я уже вскользь сообщил. Сиротами остались безымянный медвежонок и Мишка — самец. Клетка в профилактории «Валёк» была оборудована по уму: двойная, в метр шириной, решётка плюс металлическая сетка, захочешь — не достанешь. Приспело же дураку открыть эту банку?!! Люди бывалые часто держат где-нибудь в гараже банку пустую, высосанную медведем: даже и не измята она вовсе, а дырочки от когтей как гвоздём пробиты... А случаи с медведем бурым бывают трагическими очень и очень часто. В Норильске Гена-моряк Кальной для целей, известных только ему одному, в черте города держал в балкэ, наглухо обитом листовым железом, молодого медведя. Условия содержания понятны — никаких: кусок пилёной оленины или кастрюля тухлой каши, и то не каждый день; вонь даже среди зимы норильской и полярной ночи невозможная, простор для медведя невообразимый. Две «юных натуралистки» — девочки лет двенадцати, — начитавшись, видимо, Сетон-Томпсона, Брема, Зверева или ещё кого-то, повадились прикармливать этого медведя через отогнутый ими же с большим трудом лист железа. Оно и понятно: родители сутками на работе, а сенсорных ощущений на «грязном севере» вообще нет — ночь, газ, грязь. Наиболее смелой девочке медведь вместе с кусочком колбасы оторвал руку и сосал с неё кровь, пока вторая девчонка бегала за подмогой. Вот такая печальная история. Девочка погибла. Не дай Бог никому. Одно дело, когда медведь тянет в маленькое окошечко корову, не сумев сломать сарай, и объедает ей всю морду, уши и рога, как она при этом ни сопротивляется. Другое дело — дети. Примерно с тех же мест в Норильске, а точнее — с улицы Хантайской, бродячая свора собак с городской свалки

задрала насмерть и уволокла другую девочку, такого же возраста. Мужик какой-то проходящий впрягся было за неё — да куда там, сам еле-еле ноги унёс. Выводы для родителей понятны: детей надо учить!!! Даже собака — это не друг человека, а зверь лютый, если на халяве помойной живёт, своей сворой, по своим законам, без присмотра, без глаза хозяйского. На «Столбах» в Красноярске своры бродячих собак вообще беспредельничают так, что волки просто отдыхают. Ну, хватит о грустном,— вспомнил вдруг Горняк о детстве своём беззаботном.— Раз уж помянул я сильно пьющих на халяву медведей, то грех мне не вспомнить медведя Мишку и медведицу Машку со «Столбов», а заодно и других запомнившихся ещё с советских времён персонажей животного мира этого заповедника: вёрона-матершинника и запойно куращего ишака. С медведями в зооуголке заповедника пришлось познакомиться в детстве, когда народ ещё жил дружно и двор хрущёвский пятиэтажный был семьёй общей, советской. Все знали всё про всех в подъезде, да и в каре целого двора, из четырёх пятиэтажек хрущёвских состоящего. Молодёжь не материлась на людях и курила в рукав. Чего дурного — ни-ни; сам я в пять лет угодил под собрание подъезда по поводу моего поведения — не приведи Господи! В центре двора была хоккейная коробка, с которой многие вышли в состав всемирно известной команды «Енисей». Отдыхали после шестидневной рабочей недели домами или, на худой конец, подъездами. Вот и меня с мамой угораздило. Пешкодралом, естественно, с соседями, со всем подъездом. В те времена приснопамятные ещё черничник, полный ягоды, морем синим покачивался у самой тропы, у Пыхтуна. Общий огонь с «кострированной» едой за единым, кто чего захватил, столом объединяет людей. Народ балагурит за трапезой, добреет. После перекуса всех понесло в зверинец заповедника «Столбы». Посмотреть там уже было чего гораздо, и надо отметить особо, что зверьё попадало в клетку чаще всего маленьким, больным или раненым. С этого, собственно, и начал свою историю этот зооуголок — с энтузиастов, с их доброты и любви к природе-матушке. И довольно много зверья за небольшой срок скопилось: медведи, маралы, рыси, соболя, белки, бурундуки разные, птички питательные и певчие и прочее. Были люди добрые — они и дали посыл движению. И не для начальства бесчинствующего старались, чтоб им охоты царские, как нынче, устраивать, а для людей простых, на природу стремящихся в свой единственный в неделю выходной день! Дурные привычки и наклонности животным привили тоже люди, но, по-видимому, не обременённые ни образованием, ни моралью. Особым вниманием у туристов, в том числе иногородних, пользовался аттракцион обучения ненормативной лексике: мастер-класс от здорового чёрного ворона. За умеренную плату натурой — кусочком колбасы, тушёнки или ещё чего-нибудь такого, потому что хлеба он не ел,— ворон с возвышения поливал млеющих в неформальном

общении собравшихся туристов отборной площадной бранью. Какой «филолог» его обучал, история умалчивает. Следующий номер для туристов исполнял довольно крупненький ишак с ушами, обмороженными в Сибири-матушке под самый корешок. Курил ишачина исключительно папиросы «Беломорканал», картонный мундштук которых не позволял обжечь ему ноздрю, куда туристы бережно вкладывали прикуренные папиросы. Не менее трёх-пяти штук за раз. Ишак зажимал всё курево ноздрей и начинал пыхтеть так, что, к великому удовольствию его самого и собравшихся вокруг туристов, образовывалось облако табачного дыму, как от КАМАЗа, прогреваемого в холодную погоду. Скалолазы красноярские пугали приезжих пролётом между «Перьев» с головокружительной высоты. «Шкуродёром» летели вниз головушкой с душераздирающими воплями. В самый что ни на есть последний момент они, очень эффектно притормаживая у самой земли и переворачиваясь на ноги, легко и невинно соскакивали на грешную землю заповедника, познающую грехи цивилизации — от алкоголя до магнитофона «Юность» и танцев при луне... На иногородних туристов этот «смертельный» номер производил неизгладимое впечатление. А секрет его был прост: нашитые наколенники и налокотники из велосипедных покрышек и обыкновенные советские галоши на тесёмках. «Сверху чёрно, внутри красно, как засунешь, так прекрасно!» — говорят, что такая детская загадка про галоши была в журнале «Мурзилка» пропечатана. Губановские галоши, по известной скалолазной легенде, хранятся в Британском музее. И вообще: красноярская школа скалолазанья — лучшая в мире! После предварительной «культурной программы» следовал «коронный номер» — бурый медведь Мишка. Медведь был очень крупный, сытый, лоснящийся своей красивой тёмно-бурой шкурой, перекатывающейся широкими волнами вслед за его иноходской морской походочкой. Вместе с ним «чалилась» его «маруха» Машка. Водка в то время была не каждому по карману, но два рубля восемьдесят семь копеек за пол-литру на компанию для Мишки находили — номер-то «коронный»! Протягивали пузырь медведю исключительно нераспечатанным, в «кепке» — пробке такой из алюминия с выступающим козырьком для облегчения открывания. «Жене передай от полочки привет, а сыну отдай бескозырку...» — так говорили об этой пробке пьянчужки, передавая «сувенир» какому-нибудь «интеллигенту», брезговавшему пить «с горла». Мишка пробку открывал без затей — одним когтем. Брал бутылку в одну лапищу, очень аккуратно, кстати, брал, а затем когтем другой лапы подцеплял и срывал довольно плотную пробку так, что она с авиационным жужжанием взлетала к потолку клетки, а часто и за её пределы. Затем уже двумя лапами бутылка подносилась в пасть зверя и выпивалась досуха. Всё действие повторялось раза три-четыре: народу в выходной было в досталь. Приняв свою привычную «дозу», медведь

демонстрировал пару минут публике «лыбу блаженную» и начинал... гонять Машку по просторной клетке на потеху собравшимся: куда там до него обезьяннику Московского зоопарка! Вот в такой кульминационный момент и подошла мама моя слишком близко к одинарной решётке клетки. Глазом никто и моргнуть не успел, как пьяный медведище ухватил когтями за свитер, слава Богу, не зацепив её саму. Как видно, реакция у опьяневшего медведя была уже не та, хотя это и странно... Еле-еле мужики оторвали маму от клетки, молодцы, но кусок свитера остался медведю на память. Вот такой это зверь: как говорится, самый опасный в нашем зоопарке.

— Охотник, решившийся добывать зверя, знает, — вспомнил к месту Геолог, воспользовавшись малейшей заминкой в застольной беседе, — что даже если после выстрела медведь лёг и лежит недвижимо — смотри на его уши: если прижаты, то жив и ждёт... тебя. Стреляй, не думай. Убьёт. И фамилию не спросит.

— У меня брат мой, Игорь, — дополнил это наблюдение Старатель, — в первый раз решил в одиночку стрелять медведя у привады на Жыстыке единственной пулей. Безумству храбрых поём мы песню. Картинка немудрящая: ружьишко с нехитрым боеприпасом — одна пуля, одна дробь, на руке пакет тухлых, до небес вонючих рыбьих голов для косолапого, ветер в харю — я гуляю. Выворачивается на приваду из-за угла — вот он, родимый. Медведь чавкает, не слышит! Видно, рыбка тухлая за ушами пищит, сторожиться ему мешает... За брата ничего не скажу: погранец! Красноярец! Боец! Но медведь-то первый! А поди ж ты! Стрелил пулей. Миша лёг. Брательник мой с ружьём, дробью на копалушку, в смысле — тетёрку, заряженным, за дерево встал. Мысль простая, последняя: «Ломанётся — дробью в ухо, а самому тикать...» Подождал. Нету... Тягу в избу, да быстро так. Зарядил. Патронташ с собой — дураков-то больше нет! Прибегает к приваде — лежит косолапый, не шелохнётся, уши свои развесил и не жужжит! Вот оно, счастье воровское! Дуракам и пьяницам везёт!!! Тут-то только осознание и пришло к нему: пакет, килограммов пять, с головами руку оттянул, и самого трясёт. В этот день не задалось у бурых что-то. Отказал тотем медвежий. Саня Зеленко припёр в эту избу ещё двух... Не шучу я! Было...

— В районе прииска Юльевского, что при Первой Синечаге, в верховьях Маны, расположен, — начал рассказ Главбич, — прямо на тропе положили медведя. Повезло браконьерам кутурчинским. Конец лета, жара последняя, мошки-комара-мокреца нет! Счастье неземное. Отдохновение!!! Всё бы хорошо, да с медведем-то возиться надо: обдирать, разделявать, таскать. Одного товарища в Кутурчин за лошадьё послали, а двое на хозяйстве остались. Рассупонились. Разложились. Расположились. Поставили палатку возле медведя, практически на тропе, чуть ли не у морды его самой, окровавленной, страшной. Перекуривают. К труду тяжёлому готовятся... Глядь — «турысты»

столичные! Да целая компания их по тропе в верховье Маны бредёт, на озеро любоваться, с рюкзаками своими дикими, неподъёмными. Подошли. Обступили они медведика, как цыплята. Молчат, одними глазами спрашивают... Отвечают мужички на вопросы немые неспешно, с расстановкой: что одолели нынче топтыгины, по палаткам уже шарят, балуют... Днём!!! Что-то ночью будет?! Туристам ещё неделю по тайге шататься, а из оружия у них только ножички швейцарские перочинные да котелки шанцевые. Тоже мне инструмент! Перспективы жизненные сузились у «москвачей» донельзя. Кто виноват? Что делать?! Просветлели очи у одного «ботаника», рванул он как заполошённый с тропы на речку, благо, что недалеко, а то бы, не дай Бог, убился бы, сердешный. Не снимая рюкзачка своего, неохватного, рванул, котелочком отзванивая. Вернулся. Сияет весь, как самовар медный, рожей своей загоревшей счастливой. Высыпал он на тропу пригоршню камней с косы, лыбу тянет, молчит в предвкушении. Что там у сотоварищей?! У мужичков лица отвисли. Молчат все, без слов спрашивают... «Ботаник» на тропе начинает первобытным движением танец живота, но бедром тощим всё больше норовит. Левым — правым, правым — левым. Бум, б-бац, бум-м, бац-ц-ц-ц!!! — погромыхивают гальки в его котелке, к рюкзаку притороченном... Так и двинулись они гуськом вверх по долине, в танце своём ритмическом, первобытном на Верхманское озеро знаменитое. *Охренели кутурчинские, охренели наглухо! Бум, б-ба-ац-ц, бум-м, бац-ц-ц-ц-ц!!!*

— Ха-ха-ха! Гы-гы-гы-ы-ы!!! — представили мужики себе эту картину. — Кого только в тайге не встретишь на тропе. Все ходят по тропам — и люди, и звери: будешь тише — увидишь больше.

— Медведица, хозяйка, тоже не подарок! — заметил Лепила-Сварной. — Порой и почище хозяина будет, особенно когда с медвежатами. Молодые на задние лапы встанут, как суслики, а мама их где-то рядом... Опасно очень, даже среди сытного лета. Тут даже рюкзак на голову не поможет! По хрен он ей. По барабану.

— Как-то раз, под осень уж дело было, на юге Таймыра, а точнее, на Кутарамакане-озере, — проникся молчавший больше Лотошник (такие люди в компании на вес золота), — четырёхлетняя мамаша забралась в дом порядок наводить. Наводила, наводила и полезла на второй этаж, а на лестнице зеркало в рост прибито. Увидела она себя, страшную, не окрашенную, да как врежет по зеркалу... Баба есть баба. А вообще, нечего на зеркало пенять, коли рожей ты не удалась! Котлеты зато с неё были на славу. Типа нонешних. Осенние. За год примерно до этого случая молодой медведь тоже решил осмотреть это хозяйство. Люди и собаки, Тунгус с Айкой, улетели в Норильск по делам, хата свободна — плюйте на пол, мать ушла! — вот медведь и решил зайти, поосмотреться... Распахнул он по-хозяйски дверь, зашёл, а тут дверь... немного постояла в распахнутом положении да и поддала ему, толстопятому, под зад. С перепугу медведь из дому



выскочил. Вместе с оконной рамой, что напротив была. След его медвежий метров на семь был. Со страху. А резину на дверь только накануне приколотили, когда лайка Айка весь фарш котлетный в одну харю слопала. Со щуки кутарамаканской фарш тот был, а это явление кулинарной науке не труднообъяснимое. Чем щука питается — такой у неё и вкус. Если питается карасями «материковскими» тинообразными, то и пахнет не пойми чем. Какая там рыба фиш или щука фаршированная?! — ничего не поможет! Уж лучше налима пьяного накрутить... На Таймыре же сижки и гольцы в пищу ей, щуке пятнистой, да водица знаменитая, вот люди приезжие, бывает, и гадают: что за рыба жареная на столе стоит? Кто говорит — чир, кто — муксун, а это щука северная... Особая!

— Следует, видимо, по случаю заметить, — решил сменить тему и высказаться высокопарно Маркшейдер, — что человек, питающийся после службы своей офисной телевизором и смс-сообщениями да общающийся с себе же подобным «планктоном», классикой даже пахнуть не будет — не такой у него тонкий будет вкус. Поговорить с таким «ерундитом» не о чём, а ЕГЭ в рабство пожизненное он сдаст, это и к бабке не ходи!

— *On croit que j'imagine — ce n'est pa vrai — je me souvien,* — заявил Горняк и тут же перевёл: — Полагают, что я выдумываю, — это неправда — я вспоминаю, — и как ни в чём ни бывало продолжал: — Медведь, как и щука, тоже вкус имеет разный. Одно дело — медведь на пúчке-борщевике или медвежьей дудке, саранке или черемше отъедается, а другое совершенно дело, когда на грибах-ягодах, лососе, муравьях, личинках, слизнях или кедровых орехах. Правда, смотреть надо мясо не одним глазом пьяным, как сегодня: тут в оба надо! — он хитро поглядел на Кощея, поддержав подначку Главбича. — Трихинеллёз, для танкистов худых особенно, да без спирта — зараза смертельно опасная. Зацепить её, конечно, можно и в свинине домашней, в кабане, барсуке и собаке, а в медвежатине — так, за здрастье, запросто. Кто же свежинú будет жарить три-четыре часа или варить больше пяти часов, слюной истекая? Да при спирте, уже в кружки разлитом? Мы-то уж никак не больше часу жарили, а, Кощей?!

Кощей уже откровенно страдал, свежина с непривычного мяса его уже пару раз на двор выгнала, а перспективы заражения не «продезифинцированным» водкой, «плохо прожаренным» мясом откровенно пугали.

За столом хохотнули по-доброму, да и стали дальше успокаивать мнительного Кощея.

— В тысяча девятьсот восемьдесят пятом году в Хатанге эпидемия, Кощей, случилась — сто двадцать пять человек с трёх бурых заразились, а трое приезжих у себя уже дома, по прилёте на «материк», умерли в страшных судорогах и мучениях неземных. Фашисты так людей не пытали, — «втирал» зашитому наглухо Кощею Главбич. — Не

разобрались врачи сразу, что почём! Бывает... Чем старше медведь, тем больше вероятность заразиться. Даже окорок медвежий, на кости копчённый, и тот может быть опасен так же, как и вкусен. Чего только не сожрёт косолапый с голодухи по весне. Как дитё малое — всё в рот тянет, на зуб пробует! По выходу из берлоги сразу тяжело ему, бедному, ходит и стонет, страдает, не к столу будет сказано, запором полугодовым: ух... ух-х-х... пух! пух! Потом травка, сразу им у берлоги сожранная, заработает, и звук меняется: бу-бух-х, как из ружья; а дальше — облегчение вселенское: ох... ох-х-х... И куда только нынешние фармацевты смотрят?!

Тема, разучиваемая Кошеем, была близка повествованию. Компания откровенно кайфовала, разыгрывая легковерного мужика.

Медведь, вообще, больше растениями и насекомыми питается, а на человека может напасть или шатун, или мамаша, что и происходит чаще всего, либо старый и больной, глистатый, без единой жиринки медведик. Шатун с одним шатающимся зубом...

— В тайге, на юге края, встретился нам на рекогносцировке россыпушки одной, Успенки, мужичок интересный: в тайге — и без оружия, — заговорил о случае известном Геолог. — Бродни его классные надо отметить особо: из собачьего хрома были они сшиты, лёгкие, прочные и не промокают вовсе в речке — собака-то языком потеет, поэтому в хrome собачьем пор не бывает, промокать не через что, да и пошиты они были на славу, промазаны. Мужичок тот в тайге, видно, неспроста был: райончик-то старый, приискательский, золотом богатый; двое моют — третий смотрит... в оптику карабина. На простой вопрос о безопасности мужичок вынул из кармана гранату РГД-5, которая легче карабина раз в двадцать. Вот такая эргономика: носи — не хочу! На наш вопрос о применении ответил он просто: «Да было дело, бросишь медведю „штуковину“, пока не обнюхает — не отойдёт, а граната на пару секунд... Мясо, шкура, жир». Вот такая защита на золоте, да и карабин ему почки прикладом не осаживает, не тянет и не отбивает.

Принесли кипятку в самоваре, на место сковороды на досочку его поставили, чтобы искра, не дай Бог... Придвинули заварник чаю крепкого цейлонского под «матрёшкой» стёганой. Подали к чаю два сладких сдобных пирога — брусничный и черёмуховый, сметанкой домашней промазанных да огнём зарумяненных. Запах — не передать. Мёд, варенье... Пили чай, вспоминали север и юг, восток и океан — праотца, мать его! Конец сезону! Начало Новой Жизни!!!

*Норильск, Покров, 14 октября 2014*

# Самородки медвежьих углов

От редакции

Геннадий Викторович Соловьёв — классический охотник-промысловик, мечтавший мальчишкой о тайге и охоте. Родился 6 марта 1949 года в Боготоле. Жил в Боготоле, потом под Канском. Видимо, крепкие и старинные люди попались ещё в юности Соловьёву на пути, раз так захватила и приворожила его таёжная и охотничья традиция. Коснувшись чуткой душой охотничьего мира, он уже любую возможность искал для охоты, а после армии уехал в Туруханский район, жил в разных местах, пока в конце концов не осел в Бахте, где были подходящий участок и школа для трёх его сыновей.

Более работающих людей не встретить. Пребывание в тайге было для него праздником, а охота — любимым делом, не мешавшим оставаться прекрасным плотником, столяром, жестянщиком, механиком, рыбаком, скотником, крестьянином и просто отличным товарищем. Мало того, что он всё умел, — он ощущал себя носителем этого умения и поэтому всегда охотно помогал советом, причём как бы с запасом, с избытком, и огорчался, если совет оказывался кому-то не по плечу. Был он всегда лучшим охотником района, гвардейцем промысла, не курил, почти не пил и не пьёт.

Держал двух коров, рыбачил, добывал больше всех пушнины, вырастил трёх сыновей, которых грозно называл «лоботрясами», и без конца переделывал печку в бане, добиваясь пара, никогда его не устраивающего. Он был вечно в работе, разрывался между хозяйством и тайгой, чувствовал хребтом каждый день уходящей жизни и свои года ощущал как некую нелепость, потому что здоровье у него отменное, мозги на месте и только напитывают знания да ясности. Кажется, наоборот, жить да жить такому человеку земле на пользу, а нет: волосы и редеют, и седеют, от глаз морщинки всё туже пучком стрелок собираются.

Геннадий Викторович от всех отличается, он другой породы, другого замеса, как бывают батарейки с усиленной ёмкостью или какие-нибудь спецмашины; всё в нём — наивысшей пробы, превосходной степени, даже своё занудство, и если большинство людей барахтается как попало в жизни — как выходит, лишь бы выжить, — то тот ещё и думать успевает.

Кроме рабочего, полезного, есть в Геннадии некая художественная, что ли, добавка, без которой его представить невозможно. Он пропитан промышленным, охотничьим, ушедшим, набранным из

старых баек, историй, слышанных от разных дедов да товарищей. Например: два мужика ещё давно решили промышлять в одном глухом углу тайги. Пришли, и почему-то остался один из них в избушке. Сидит он вечером, собаки под нарами. Слышит: скрип-скрип, шаги по снегу. Собаки — ноль внимания. Дверь открывается. Входит босой мужик в шинели. Говорит: «Уходи отсюда, из моей тайги. А то худо будет». Был сильный ветер ночью, и, конечно, никаких следов наутро не оказалось. Потом явился напарник, история повторилась, пришлось убраться. Историй таких полно.

Ещё есть в Соловьёве старина кулацкая, крепко-хозяйственная, причём если охотничко-старинное у него вроде обложки — рассказов, словечек, то кулацкая — нутряная, в движениях, убеждениях, ухватках. В раздражении к безалаберности, разгильдяйству, в бережливости, даже скупердяйстве своём. Природа этой скупости — не от жадности, а от жалости к затраченным силам, к выращенному, собранному и сохранённому хлебу, к добытому мясу, рыбе. От старинной купеческой тяги к копейке, сто раз описанной, да, есть кой-какой недостаток в доме, но не думайте, что просто так это всё, за этим труд стоит. И нечего добром разбрасываться — прокидываете. Аккуратность, бережливость и с инструментом, и с техникой. Этому дам рубанок, а тому нет. Никогда ничего на виду не валяется, чтоб не клянчили. Но зато, когда много чего-то вдруг, особенно дармового — кто-то, к примеру, подшипники подарил двести пятые, почти сотню, — тут наоборот, охота их раздать, чтобы не отсвечивали, в дело пошли, работали — уже жалко, что висят, бездельничают. А мотор какой-нибудь пылится в запасе — и пускай, ещё придёт ему время. На «Буране» по деревне не поедет — пешком пойдёт. Ещё свои секреты бережёт, чем-то делится, а чем-то нет: мол, вам скажи, дак вы всех соболей передавите. Это и игра, и правда.

В одежде тоже аккуратность: сам подошьёт где надо, подлатает, каждую вещь под себя переделает. Другой и сам так думал, всё собирался сделать, да поленился. Обычно Геннадий Викторович в таёжной одежде ходит, с ножом из рельсовой пилы, а то возьмёт вдруг — откуда-то яловые сапоги достанет, рубаху, портки в тёмно-синюю полосочку и белую кепку. Всё заправленное, чистое, плотное.

В тайгу кто поедет с ним — окажется, что всё не так делает: не так жарит, не так парит, не так крышкой накрывает, не так сеть смотрит, как здесь, на его речках, смотрят, — и всему свои объяснения, своя история. Так у каждого охотника, и порой кажется, что и тайга, и речки тоже именные, к хозяину приученные, и у каждого участка свой характер, выражение берегов, камней и лиственей. Сколько людей, столько и характеров.

Есть у Соловьёва и другое лицо, охотничье, но не баечное, не старинно-промысловое, а жизненное. Лихость своя: нож метнуть и попасть точно, чтоб воткнулся и замер, мелко дрогнув; через лесину

перемахнуть мягко и мощно; подъехать с шиком на лодке или снегоходе. Тут всё боевое, быстрое, горячее. И понятное. В тайге, на реке, если что не так, орёт, материт, главное — на это внимания не обращать. Охотничье не отделяется от рыбацкого, крестьянско-хозяйственного, сенокосного, плотницкого, столярного; все стороны мужицкой жизни изучены досконально, развиты и прилажены к себе. В компании, в дороге с незнакомыми может быть остроумным, обаятельным, знает вкус к общению — и здесь умелый.

Есть у Геннадия лицо товарищеское. Товаришшы... В старинном понимании слова. Как в Сечи или на миноносце. Почти армейская отзывчивость на приход друга, просьбу. Может и отказать, но понятно и необходимо. И главное — так честно, что за одно это спасибо скажут.

Сборищ охотников Геннадий Викторович никогда не пропускал, всегда сидел до утра, терпя и дым, и шум ради общения, и очень не любил, когда встреча превращается в бездумную, обычную пьянку. Однажды в городе в гостях Гена выпил непривычное количество коньяку и, раскрасневшись, блестя глазами, потребовал гитару. Перестроив её на семиструнный лад, запел грубоватым подрагивающим баском что-то старинно-сибирское — кабацкое и разбойничье, потом тюремное...

И из этой семиструнной гитары, из подрагивающего мужественного и даже канонического баска проступает ещё одно лицо Соловьёва — лицо лирическое. В нём сочинённые в тайге стихи-песни, которые он по выходе читал без всяких реверансов и стеснения и которые сначала не записывал, а потом по общему совету стал всё-таки записывать в тетрадь. В стихах этих безусловный талант, и достанься такой хоть кому из тех безликих, но профессиональных писчиков стихов, что берут крепкой задницей да неспособностью к другим занятиям, такой бы прославился за год.

Чайка уныло кричит над водой,  
Машет серпом крыла,  
И запоздалая баржа волной  
Стылые бьёт берега.

Это концовка стихотворения, написанного с первого раза и безо всякого редактирования. Что в последней строчке нет рифмы, ему не пришло в голову. Зато какой классический дольник, и как точно передано настроение енисейской осени — эта торопящаяся самоходка и волна, задумчиво окатывающая обледенелую гальку и опаздывающая из-за непомерной речной шири. Откуда Геннадий Викторович взял себя? Как скроил?

Предлагаем читателю первую попытку охотника записать свой таёжный опыт в прозе.

Геннадий Соловьёв

## СКОТИННИК

Охотничий рассказ

Лето выдалось жаркое, с июня по горизонту ходили тучки, вселяя надежду на ливни, но расплываясь небольшим тёплым дождиком и сухими грозами. Горели Иркутская область, Эвенкия. Туруханский район тоже не отставал. Старики говорили: «Ну, осенью зальёт, не может такого быть, чтоб так парило и не возвратилось».

Половина сентября прошла такой же сухой и жаркой, и так радовавшая в начале лета богатая завязь на ягоду и орех вся подгорела и засохла. Зато напарило как никогда гнуса, и от него не было спасения. Плохо помогали магазинные мази, и если люди ходили в сетках, то бедным животным оставалось только забиться в тёмное место. У собак были разведены в кровь глаза и уши, а скотина отказывалась пастись днём. Набивалась, и своя, и чужая, в какой-нибудь сенник или стайку. Но сибирский народ — неунывающий, и какая бы ни была неприятность, всегда найдёт в ней смешинку. Так и здесь говорили: «Ну и что, что мошки много? Зато приезжих далёко видать».

Подмечено точно, потому что местные, зная, что их ждёт на улице, надевали сетку или мазались какой-нибудь убойной мазью, намешанной с дегтём, и шли по улице спокойно. Сошедшие с судна люди сразу попадали в облако жадной живой пыли и начинали отчаянно отмахиваться.

По улице небольшой деревушки, стоявшей на берегу Енисея, не спеша шёл среднего роста бородатый мужик. Одет он был в камуфляжный костюм и военного образца фуражку, которая делала его похожим на кубинского лидера Фиделя Кастро, только борода русая. — Федя! Фё-о-одор! — послышался женский крик.

Мужик заозирался, но улица была пуста. Постояв немного, хотел продолжить свой путь, но голос, в котором уже появились командирские нетерпеливые нотки, повторил:

— Фёдор, подожди!

Из неприметной калитки вышла пожилая женщина.

— Фёдор, подойди сюда, — сказала она.

Фёдор постоял, что-то обдумывая, и нехотя побрёл навстречу. Они были давно знакомы, когда-то, лет двадцать назад, жили в другом, большом посёлке; не дружили — были просто соседями. В разное время и по разным причинам они уехали из того места и по воле судьбы осели в этом небольшом таёжном посёлке, стоявшем на красивейшем сливе двух рек. Дружить они так и не стали, а отношения

установились вроде как с дальней роднёй. Какая-то невидимая спайка получилась от их совместного проживания в те далёкие годы. Женщина встревоженно двинулась навстречу Фёдору.

— Федя, зайди, посмотри, кажется, нетель медведь задрал, так и трясётся, бедная!

Фёдор молча прошёл мимо хозяйки в ограду, хозяйка, идя следом, указывала:

— Вон там, под навесом, в загончике она.

Фёдор продолжал идти молча, он знал подворье. Рослая и отъевшаяся за лето тёлка стояла неподвижно, в основании правой лопатки была рана в виде белых полос. Фёдор взял валявшийся на земле прутик и легонько хлестанул её, заставляя пройтись по загону. Тёлка легко передвинулась, не хромя.

— Да, Дарья, это медведь, и медведь, который уже где-то охотился, опытный. Или тёлка у тебя сильно резвая, или что-то другое ему помешало, но удара у него не получилось.

Фёдор работал штатным охотником в совхозе и, будучи не новичком в таёжном деле, знал этот страшный удар когтистой лапы, который валил и лосей, и оленей. Пробивая в основании лопатки шкуру, зацепляя когтями за лопатку, зверь рвал у жертвы связки, лишая её резвости и изворотливости, а там... Как говорится, главное сделано, остаётся свалить и поесть.

— Ну, Дарья, ничем помочь не могу. Вокруг раны обмажь йодом или дёгтем да и держи в тёмном месте, чтоб мухи не досаждали,— и, повернувшись, пошёл к выходу.

— Фёдор. Я ведь не об этом! — сказала хозяйка.— Убить его надо.

— Конечно, надо. Но я здесь при чём? — буркнул Фёдор.

— Как при чём! — взвилась Дарья.— У тебя ж собаки, ружьё, ты ведь охотник!

— Дак у всей деревни ружья и собаки, и все охотники, даже кому и не надо,— отговаривался Фёдор, продолжая свой путь к выходу.

— Дак он же за ней в деревню зашёл! Аж до самой колонки! Утром след был на дороге,— употребила Дарья последний довод.

— Дарья, ну где я его буду искать? Посмотри, везде пожары, он, может, проходной и сейчас идёт километров за пятнадцать отсюда,— оправдывался Фёдор, который только вчера выехал из тайги (он завозил продукты на охотсезон), и ему хотелось отдохнуть, а не шариться неизвестно где в поисках неизвестно чего.

— Федя! Ты где живёшь-то? Ведь уж двух коров который день найти не могут! — воскликнула Дарья.

Скотина в деревне бродила на вольном выпасе, и, бывало, коровы уходили куда-нибудь на старые вырубki или вверх по реке дня на два-три и потом приходили домой сами, с разбухшими сосками и выменем, и, стоя рядом с домом, ревели, как дикие звери. Хозяйки, и матерясь, и жалея скотину, начинали осторожно их раздаивать.

Но случай с хохловской тёлкой занёс сомнения и тревогу: сами ли они удрали пастись, или уже лежат где-то, прикопанные хозяйственным косолапым? Случай взбудоражил деревню, сразу вспомнили и как собаки орут по ночам («Ну прямо на приступ, так орали, так орали, особенно под утро!» — говорили бабы), и собачий лай в тайге недалеко от деревни.

Всего этого Фёдор не знал и, дослушав Дарью, сказал:

— Ладно, что-нибудь придумаем.

Вечером почти вся молодёжь ходила с ружьями, встречались и договаривались, кто и где будет караулить и где самое надёжное место сделать засидку. Старший сын Фёдора тоже засобирался. Отец молча наблюдал, как он с деловым видом перебирал пули.

— С Петром пойдём за пилораму, — взглянув на отца, сказал парень. — Там старая помойка и медвежьи следы вокруг.

Фёдор, помолчав, сказал:

— Сильно много охотников. Спугнёте.

Подумав, добавил:

— Денис, не забывай золотое правило охотника: стреляй только тогда, когда точно увидишь, что это зверь. И сам пойдёшь домой — иди с включённым фонарём, а то много горячих и желающих отличиться.

Утром выяснилось, что медведь приходил, но, как и предполагал Фёдор, фыкнув пару раз в густом мелколесье, ушёл, еле потрескивая сухими ветками на земле. Погода вроде стала меняться, подул восток, который всегда приносил слякоть. «Хоть бы чуть-чуть полило, — подумал Фёдор. — Речки совсем обсохли, проблема будет заезжать в верхние избушки».

Речка, по которой охотился Фёдор, была вертлява и порожиста, и в мелкую воду заброска доставалась потом и кровью. Пока Фёдор был в тайге, завезли свежих продуктов, и он решил сходить в магазин, посмотреть и чего-нибудь прикупить. В прохладном и притемнённом помещении народу было мало. Фёдор поздоровался, стал изучать новые крупы, когда зашла ещё одна посетительница и сказала новость: Агашин Сергей нашёл свою корову и спугнул с неё медведя. Сергей жил рядом с магазином, и на обратном пути Фёдор к нему зашёл — тот как раз был во дворе. Поздоровавшись, спросил, правда ли то, что он услышал в магазине. Сергей рассказал, как было и как напугался, когда медведь кинулся бежать от него. Фёдор упрекнул мужика, что, зная обстановку, пошёл без ружья.

— Ведь ты, Серёга, мог рядом с кормилицей своей и лечь. Можно сказать, повезло тебе.

— Да я сегодня соберу мужиков! Мы его, суку, там и завалим.

Фёдор, терпеливо выслушав, какие кары ждут разбойника, сказал:

— У меня к тебе, Сергей, будет просьба. Если хочешь наказать обидчика, никому не говори — где и как, иначе всё испортят. А я сам им займусь.



Сергей сразу согласился. Фёдор, придя домой, быстро переоделся, взял двустволку и с кобелём на поводке пошёл в указанное Сергеем место. Оно было в пойме Енисея, где густо заросло черёмушником и высоким, толщиной в ногу, тальником. Дойдя до принесённой весенней водой коряги, которую упоминал Серёга, Фёдор отпустил рьяно нюхтящего кобеля с поводка. Тот на махах скрылся по тропе, тоннелем выделяющейся среди густого черёмушника и папоротника. Послышались грызня и собачий визг. Фёдор скинул ружьё и с ним наизготовку быстро пошёл к месту. Там шла настоящая битва. Фёдоров кобель дрался с двумя деревенскими псами. Схватив дрын, Фёдор сразу изменил картину боя, и противники бежали. Осмотрев кобеля и не обнаружив ран, он его привязал.

От коровы мало что осталось — видать, собаки помогли хорошо. По всему было видно, что у них с медведем негласный договор: «Ты ночью, мы — днём. Коров много — зачем ругаться?» Хорошего места для лабаз не было — везде тальник и черёмуха. Если сделать засидку на земле, то вообще ничего не увидишь. Как Фёдор ни мараковал, лучше трёх талин, расположенных совсем рядом с привадой, места не было. В стороне вырубив палки для перекладин, Фёдор полез на талину. К приваде было близко, и он хотел сделать лабаз повыше, но когда поднялся по стволу до середины, талина под его тяжестью стала клониться набок. Ничего не оставалось, как мастырить лабаз на этой высоте, другие талины были ещё тоньше. Привязав перекладины к трём талинам, он уселся на них и опробовал своё сооружение на удобство стрельбы. Закреплённый между талин лабаз стал жёстче, но всё равно, когда налетал ветер, его клонило в сторону, а ветер всё нагонял и нагонял небесной хмари и свежел. К вечеру погода вовсе поменялась, осень с опозданием, но принесла свои дожди и сырость.

Фёдор вышел из дому так, чтобы засветло быть на лабазе, но, не учтя, что погода пасмурная, подошёл к месту уже в сумерках. Постоял, напрягая слух, у тропы-тоннеля. Слышались только порывы ветра и шелест ветвей, и в зарослях было уже почти темно. Фёдор представил, как пойдёт по этому тёмному шелестящему коридору, и ему стало неуютно. Чуток постояв, он со взведённым ружьём, вслушиваясь и осторожно ступая, двинулся к лабазу. Забравшись на него, сразу почувствовал себя спокойнее и увереннее. Заморосила мелкая водная пыль. «Смочит траву — может подойти неслышно», — мелькнуло в голове, и тут же послышалось какое-то шуршание и движение под лабазом. Фёдор замер и, осторожно наклонив голову, глянул вниз. Прибежали две собаки; по белой расцветке он определил, что это те самые. Он хотел было их прогнать, но подумал, что все здесь (и медведь, и собаки) давно уже знакомы и что они, наоборот, помогут обнаружить подход зверя.

Фёдору было пятьдесят лет. Всю сознательную жизнь он охотился, жил и кормил семью охотой. Это был не первый его медведь,

передобывал он их немало и знал разные случаи. И с лабазов бил, но те были на крепких деревьях и хорошей высоте. Этот же качался от каждого порыва ветра, и когда стало темно, как в чулане, Фёдор потерял представление, где земля, где небо. Его качало, как в колыбели, и когда ветер дул в грудь, то клонило спиной к земле. Движение это казалось невыносимо долгим, было ощущение, что он сейчас коснётся спиной земли или тонкие деревья не выдержат и сломаются. В определённый момент движение замирало и начиналось в обратную сторону, так же долго и мучительно клоня Фёдора уже к другой точке земли. Он даже пробовал достать до неё ногой — так, казалось, низко склонялись деревья.

«Я же на него верхом сяду!» — мелькнуло в голове. Но рассудок говорил: «Это всё эмоции. Днём же сидел, видел, насколько качается лабаз, так что успокойся».

Медведя он обнаружил по фырканию, когда тот стал принимать, — как он подошёл, Фёдор не слышал. Собаки испарились, не гавкнув. «Сволочи, хлебоеды. Зверь, видать, привык к собакам, не стал осторожничать, а сразу подошёл и захрустел костями. И как не подавится?» — мелькнуло в голове.

Снизу раздавалось чавканье, сопение, какое-то хлюпанье, зверь разгребал мясо, встряхивал. Подождав ещё немного и успокоившись, Фёдор включил трёхбатареечный фонарь. Медведь был прямо под ним, но его голову с лопатками закрывали ветви, и мешала ещё и тень от листвы. Освещённым был только зад медведя. При всём напряжении, Фёдора удивил и даже развеселил медвежий куцый хвостик, который покруживался от удовольствия, как у поросёнка или козлёнка, сосущего титьку. Фёдор сразу выключил фонарь, не зная, как зверь отреагирует на свет. Посидев некоторое время в темноте, он понял, что зверь, закрытый листвой, света не видит, и снова включил фонарь. За годы охоты выработалась привычка стрелять только по ясной цели, а здесь приходилось брать куда-то в черноту, и хоть Фёдор рассчитал, где лопатки, заставить себя нажать на спуск пришлось усилием воли. С утробным выдохом, полурёвом зверь ломанулся в сторону, круша всё на своём пути, и метров через сто пятьдесят затих.

Весь напрягшись, Фёдор слушал. Было тихо. Так, напролом, уходит только смертельно раненый зверь, и Фёдор был почти уверен, что он лежит мёртвый. Фёдор не любил спешить и сейчас тоже решил посидеть, послушать: может, всё-таки зверь затаился и чем-нибудь себя выдаст? Рядом легонько хрустнула ветка. Собаки? Но по осторожному пофыркиванию он понял, что это другой, второй медведь! Видать, ждал в стороне, когда более сильный зверь нажрётся и отойдёт. Волнение и азарт вытеснили вернувшееся было спокойствие. Идя на засидку, заряжая ружьё, Фёдор вставил две пули, но стрелять из чока не планировал — зарядил так, для подстраховки. С этим ружьём он ходил за гусями, где важен кучный бой, и Фёдор боялся растянуть

пулями левый ствол. «Надо потихоньку перезарядить,— постукивало в голове.— Подойдёт, начнёт чавкать, тогда и заряджу».

Но зверь осторожничал и, стоя от привады метрах в десяти, нюхал воздух. «Уйдёт! Видать, выстрел вниз оставил запах сгоревшего пороха. Недалеко — выстрелю в голову», — стучало в мозгах. Он потихоньку стал переламывать бескурковку. Когда всё это делаешь днём и в азарте, не замечаешь мелочей, и сейчас, ночью, в напряжённейшей тишине, неожиданно громко прозвучал металлический щелчок. «Блин! Всё! Ну, хрен старый, совсем забыл! Надо же так». Фёдор сидел с раскрытым ружьём, боясь сделать хоть какое-то движение. Всё было тихо, но сколько он ни вслушивался в ночь — ничего не услышал, зверь ушёл. Закрыв ружьё и матеря себя, Фёдор решил: «Досижу до рассвета, потом пойду за собаками». Ночь стала отступать, засерело, стали проглядываться ветки и листья ближних деревьев. Внизу послышался шорох. Посмотрев, Фёдор увидел собаку, она показалась знакомой, с куцым хвостом.

— Бобка!

Собака подняла голову и, как флагом, замахала огрызком — это был кобель старшего сына. Хороший кобель, зверовой. Фёдор обрадованно спустился на землю, подозвав Бобку, взял его на верёвочку и, поуськивая, подвёл к следу стреляного зверя. Собака, принюхиваясь, пошла. Пройдя ещё немного и видя, что кобель уверенно тянет по следу, Фёдор отпустил собаку. Через короткое время послышался лай и тут же смолк. Выдерживая направление на лай, идя через чашу, скоро наткнулся он и на Бобку, и на мёртвого медведя. Тот лежал головой по ходу. «На бегу сдох». Это был средних размеров чёрный самец.

На следующий вечер Фёдор снова отправился к засидке. Подойдя засветло к приваде, он увидел, что от неё почти ничего не осталось. Всё было утоптанно, валялись растасканные собаками кости.

«Придёт проверить», — решил он и полез на лабаз, где просидел до часу ночи. Кроме собак, никто не подходил. Чтобы не возвращаться ночью по кустам, он решил идти домой берегом. Получался крюк, но путь был легче и суше. На пабереге по куртке и сапогам не шуршали кусты. Слегка моросил дождь. Фёдор шагал почти бесшумно, ориентируясь по свалу к реке. Его заинтересовал непонятный звук, который раздавался вроде бы отовсюду. Фёдор остановился, закрутив головой, стал вслушиваться. Сверху! Это сверху. В кромешной тьме шёл перелёт маленьких птичек. Это они тихонько щебетали, перекликаясь, и шумели крылышками! Фёдор был поражён, до чего природа совершенна и как далёк от неё человек.

Подходя к деревне, Фёдор увидел в окне своего товарища свет. Товарищ был неженатый, и он решил зайти в гости и поделиться пережитым. Поднимаясь на угор, он увидел стоящего человека. Это был Алексей, сосед Михаила. Алексей был хороший мужик, рыбак и охотник, но панически боялся медведя. Он работал дизелистом,

и когда проходил слух о медведях или, не дай Бог, он видел след зверя возле дизельной (а они почему-то любили туда подходить, что-то их интересовало — или запах соляры или ещё что-то), то Алексей уже с ружьём не расставался. Это было поводом для шуток. Фёдор поздоровался с Алексеем, спросил, почему он не спит. Алексей ответил, что провожает в Красноярск дочь и караулит теплоход. Потом, осмотрев Фёдора, помолчал и, смотря на ночную угрюмую тайгу, спросил: — Фёдор, на кой тебе это? Неужели тебе так нужен этот медведина? Что ты в такую ночь лазишь за ним чёрт-те знает где?

Фёдор был мужик с юмором. Помолчав для значительности, он с чувством сказал:

— Алексей! Знаешь, мне ведь он на хрен не нужен. Какая с него корысть? А как подумаю, что он единственного хорошего дизелиста съест — места прямо не нахожу!

Алексей молча смотрел на ночной Енисей. «Шутка осталась не оценённой», — подумал Фёдор. Но тут Алексей срывающимся голосом произнёс:

— Федя! Спасибо! — шагнул к нему, взяв его руку, крепко сжал, с дрожью в голосе ещё раз сказал: — Спасибо!

Фёдор быстро отвернулся от света, чтобы Алексей не увидел его весёлое лицо. К Михаилу Фёдор заходил под впечатлением произошедшего. «Вот так пошутил, называется!» — думал он. Рассказывая всё это, Фёдор сокрушался, что так неудачно подшутил над бесхитростным человеком и какая у того будет обида, если он поймёт, что это была просто шутка.

Осень решила доказать, что она не забывает свои обязанности, и с утра хлестал настоящий ливень, блестели лужи и грязь.

«Схожу сегодня ещё покараулю, и всё. Буду собираться в тайгу», — решил Фёдор.

День в хлопотах пролетел быстро. Придя засветло, Фёдор залез на лабаз, просидел до полночи, весь промок и, решив, что хватит, пошёл домой. По дороге спугнул лошадей, которые с громким топаньем ломанулись от него по кустам. «Видать, их тоже лохматый погонял, раз такие пуганые», — подумал он.

Вдоль совхозного огорода, который был в самом низу деревни, тянулась разбитая тракторная дорога. Ступив на неё, сразу почувствовал тяжесть на ногах: сапоги облипли и с трудом отрывались от земли. Фёдор шёл в темноте, осторожно переставляя ноги, боясь попасть в глубокую тракторную колею. В это время у крайнего дома засветились два карманных фонаря, и слышались возбуждённые голоса. Слов нельзя было разобрать, отдельно только доносилось: — Вон он! Вон там!

Постояв и понаблюдав, Фёдор потихоньку двинулся дальше. В это время по дороге слышались какие-то шлепки и фырганье. Конь? Но какая-то тревога заполнила грудь: «Если конь, то почему он бежит

ко мне, а не наоборот?» Выдернув из-за голенища сапога фонарь, направил луч света — и сразу судорожно стал сдёргивать ружье. На него неслась лохматая медвежья башка. Луч был узким и высвечивал только голову и мелькающие передние лапы. Качающаяся голова со светящимися зелёными глазами быстро приближалась. Слышалось тяжёлое дыхание с хлюпающим звуком лап по грязи; казалось, что всё это надвигается вместе с густою чернотой, которая обступала круговину света. Мысли в голове подталкивали одна другую: «Близко! С картечи! Пулей! Или сразу с двух!» Но тут до медведя дошло, что по дороге шлёпала совсем не корова, он резко, с поворотом в сторону, прыгнул и тормознул. Фёдор двинул за ним стволами, но фонарь стукнул о ружьё и погас. Фёдор его встряхнул, тот загорелся, но луч света шарил уже по пустоте. Так вот он! Настоящий-то охотник! А те, видать, были нахлебники и уже пришли на готовое.

Фёдора колотило, он стоял на дороге и бездумно смотрел в темноту. Больше в эту осень он не ходил караулить — пора было на промысел. А этого скотинника поймал в петлю лесник Василий.

Владимир Замышляев

## Православие и культура

На протяжении более тысячи лет в истории государства Российского сопрягаются понятия о православии и культуре. Но, может быть, они никогда не были в такой напряжённой антитезе, как в настоящее время. Для этого есть несколько причин и неограниченное (по выбору) количество проблем: религиозных, исторических, философских, культурологических и даже политических и экономических. А последние вопросы в этом ряду позиционируются даже как первостепенные. Сначала надо бы как-то упорядочить субординацию понятий и иерархию заключающихся в них истин. Вопрос о том, что возникло раньше — религия или культура, напоминает спор античных философов-софистов: что раньше — курица или яйцо? В итоге — бессмыслица! С возникновением в истории человека разумного возникло всё сразу. Современная антропология и генетика устанавливают возраст человеческого рода в миллионы лет.

А христианство насчитывает более двух тысяч лет, но есть ещё счёт по Ветхому Завету и по летоисчислению стран и верований Востока (Китай, Индии и др.), то есть жизнь людей до нашей эры. И всё же историко-научные утверждения кажутся относительными и релятивными. Наука вообще отличается слабостью концептуальных идей и кажущейся убедительностью аргументов.

В религии же наоборот: аргументы человечесны, а концепции утвердительно вечны. На этом основании можно заявлять, что религия была всегда, а культура (и входящая в неё наука) исходила из религии. И надо согласованно принять утверждение о Божественном Творении (концепция креационизма) и то, что в начале бытия было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога. В таком случае мы аксиоматично принимаем трансцендентальный Абсолют, установленный им вселенский порядок (иерархию), в какой-то мере доступный человеческому разумению, аргументированному в понятие «культура».

Только надо согласиться с научным представлением о том, что все понятия в истории развиваются, постепенно наполняются расширяющимся сознанием и познанием — в соответствии с эволюцией человека не по линии от обезьяны к человеку, а от него самого — к более совершенному существу по образу и подобию Создателя. Начало эволюции задано, а финал человечеству неизвестен, хотя и предсказан в Святом Писании как Апокалипсис, конец света и второе пришествие Христа. «Конец истории», «конец света» прогнозировались и наукой,

но их неосуществимость как раз и доказывает ущербность рационалистической аргументации. Определить завершение бытия человек не может, в противном случае он превзойдёт Бога, но это уже смешно, нелепо. Сие зовётся гордыней! Попытки самолюбования запечатлены в библейской притче о Вавилонской башне, в древнегреческом мифе о Сизифовом труде и прочем.

Развѣртывание понятий в истории касается и самой религии, но не с оправдания Абсолюта и его бытия, а из умозрительных представлений развивающегося человека, его физических способностей и духовно-нравственных ипостасей. Нельзя представлять первобытных людей как примитивных существ, в шкуре и с дубиной в руках или с камнем, летящим в мамонта, — убить его тот древний человек, скорее всего, не мог и обитал с ним вместе в пригодных климатических условиях, сосуществовал и также пострадал от ледникового периода. Первоначальный религиозный путь человека, мистического по рождению, был ограниченным, «вокруг себя и около», назывался анимизмом (психологически невнятным и беспокойным) или «минимумом религии». Над головой небо: «Открылась бездна, звѣзд полна; / Звездам числа нет, бездне дна» (Михаил Ломоносов), — а на земле постоянные страхи, немощь, болезни и самая непостижимая тайна — смерть.

Через неё устанавливается родовая связь: с предками, с поколениями, с природой, с тотемами, с идолами, с капищами. Обряд смерти — самый главный в истории человечества до сих пор. Это действие, закрепляющее и бессмертие, веру в потусторонний мир, путешествие в царство мѣртвых.

Самые выдающиеся памятники мировой культуры — это сочинения о хождении в смерть. Считается, что и в православии тема смерти Христа, его Креста более впечатлительна, чем воскресение из мѣртвых, возрождение. И русская культура по своим смыслам заметно печальна. И «во многом знании немалая печаль», и «горе злосчастное», и «доля-долюшка горькая» и так далее. Плачут и сказочная Алѣнушка, и Ярославна на стене Путивля, посылающая духовную энергию мужу Игорю, пленѣнному ордынцами, а в погребальных обрядах на Руси участвовали даровитые плакальщицы. В литературе девятнадцатого века немало строк о печали. У Лермонтова: «Печально я гляжу на наше поколенье». У Некрасова: «Кто живѣт без печали и гнева, / Тот не любит отчизны своей». У Иннокентия Анненского много стихотворений с мрачными названиями: «Моя Тоска» и даже «Печальная страна», где есть строки: «У нас и комедий / Финалы печальны...» У поэтов Серебряного века такие настроения нередки. В двадцатом веке гениальный русский композитор Георгий Свиридов дал обобщѣнную формулу: «Россия — страна простора, страна печали, страна Христа».

И всё же русский приоритет — это поклонение образу Пресвятой Богородицы. И её образ представлен в русском православии сильнее, чем в западном христианстве. Это тема земли, рода, материнства, любви.

Историческое накопление содержания в понятии «культура» привело к тому, что в настоящее время в науке о ней установлено около трёхсот определений, и все неудовлетворительны, потому что научная дисциплина «Культурология» формировалась с атеистических позиций, обозначивших разрыв в гуманитарном знании между «небом» и «землёй». В естественных науках можно говорить о «взрывах», о «расширении Вселенной», а куда «расширяется» человек без веры во Всевышнего? Может быть, не случайно в гуманитарном дисциплинарном знании России в девятнадцатом веке отсутствовала такая «наука» — при обязательном учении в школе Закону Божьему? Дисциплина «Культурология» войдёт в систему образования в атеистическом СССР и, при снижении христианства, на Западе, где в большей степени внедрена антропология, сведённая в «конце истории» к демонстративному индивидуализму и субъективизму.

Во второй половине девятнадцатого века в знаменитой книге «Россия и Европа» Н. Я. Данилевский считал «многослойной» и развитой ту культуру, в которой представлена мировая религия. И выдающийся основатель теории ноосферы В. И. Вернадский тоже так думал, поэтому, наверно, его замалчивали в советское время, вплоть до девяностых годов двадцатого века.

Своими рассуждениями о культуре мы подходим к предложению о возможном определении её в координатах жизни и смерти, изначально представленных в бытии, в становлении человека. И предлагаем дать дефиницию культуры как системы смыслов (жизни и смерти) человеческого бытия в единстве с религией. И тогда не надо трёхсот определений, функционально дифференцированных и запутанных. Именно в зависимости от того, как определяются смыслы жизни и смерти у разных народов, можно видеть и их национальные различия, и религиозные концепции: архаические, мифологические, буддийские, конфуцианские, христианские (православные и европейские), исламские, модернистские. Уже при понимании и употреблении в бытии Церкви Святой Троицы у русского православия и европейского католицизма есть различия. Отсюда и европейский субъективизм, права личности, свобода и демократия — до абсурда регистрации и венчания однополых браков. И дисциплина «Культурология» в науке и в образовании оказывается тощей по смыслам, космополитичной, «общечеловеческой». И ценности культуры функционируют в пространстве без ограничений, без опознавательных знаков народов, без их верования в историческом бытии. Известные концепции культуры («суммарная», «аксиологическая», «семиотическая», «игровая», «диалоговая») только описывают знаки или артефакты культуры, но не способны дать истину культуры, а она — в смыслах движения к совершенству, от жизни к смерти и снова к жизни в меняющихся условиях, в смене поколений, в движении народов. Это консерватизм новизны жизни и смерти.



Только в контексте исторических смыслов культуры можно признать в качестве отдельной учительскую «православную культуру», но, с нашей точки зрения, термин неудачный. Есть культура разных славянских народов с ориентацией в православии, но вера и этническая идентичность не тождественны, и нет универсальной православной культуры, а есть основы православия в русской культуре, в греческой, в сербской, в армянской, в грузинской. И есть православные церкви в Японии, в Корее, в США, а культура там другая. Православие как Божество интерпретируется разными народами во внешнем исполнении.

Не по этой ли причине возникли колебания и сомнения при выборе в школе курса «Основы православной культуры»? Мы усматриваем здесь даже упрощение православия, снижения его до «культуры». Объединение людей по интересам в культуре может быть юридически зарегистрировано как общественная организация (по желанию учредителей). Церковная община регистрируется по другому принципу. После распада СССР, в новом государстве с названием Россия, была попытка зарегистрировать религиозные конфессии как общественные организации наряду с НКО, но воспротивились главы церквей, мечетей, синагог и других. Это красноречивая попытка зарегулировать вероисповедание с помощью административно-государственных распоряжений. Но церковь отделена от государства и образования в СССР после 1917 года и преемственно в России с 1991 года. В европейском и исламском мире эти отношения имеют разные формы. За весь тысячелетний период развития российская государственность никогда не была теократической, но власть освящалась православием, царь (самодержец) считался помазанником Божиим. В народном сознании есть устоявшееся мнение, что власть — от Бога. Отношения церкви и государства очень противоречивы до сих пор. В современном бытии введено ещё и понятие о «гражданском обществе», о свободе и правах личности, что усложняет весь процесс взаимодействия между церковью, государством, обществом и культурой. Возникает вопрос о расстановке приоритетов и в отношениях, и в ценностном выборе.

Со времени принятия христианства на Руси прошло более тысячи лет. Считается большинством теологов и светских учёных, что с образом восточного православия от Византии восприняты и византийская государственность, и культура. Но куда девалась у русского народа дохристианская форма культуры? Или её вообще не существовало, и народ, называемый античными греческими историками «варварским», так легко и сразу шагнул в православие?! «Евроремонт в сознании» довлеет над умами светских и религиозных правителей в России до сих пор. А между тем надо бы обратиться к исследованиям истории культуры, особенно в области языка, появившимся в последние годы; в них убедительно опротестовывается уничижительное представление о славянах — «варварах». Большой интерес вызывает двухтомное сочинение писателя Сергея Алексеева «Сорок уроков русского» (2013).

Надо согласиться с его утверждением о языке как главном носителе исторической информации и корневом основании в культуре народа. Слово от Бога и слово от народа постоянно пересекаются, взаимодействуют, дышат и живут. Так вот, как считает С. Алексеев, слово «варвары» в античном изложении возникло из боевого восклицания славян: «Вар-вар!» Их походы в античный мир с уведомлением: «Иду на вы!» — пугали рабовладельческих правителей и их летописцев. Теперь уж доказано, что «отец истории» Геродот немало наврал в описании скифов и славян, живших по южным окраинам современной России и на землях Причерноморья. И Александр Македонский, славянин по происхождению, захватил во время похода на Восток и в Азию огромное количество пергаментных скифских рукописей с золотыми начертаниями по истории этого народа, загадочного для историков по сию пору. Скифское золото нынче покоится в музеях и в некоторых неразграбленных курганах, а рукописи исчезли. Возможно, их уничтожили сознательно, чтобы завоевателям выглядеть в истории «культурными», а погибшим невоинственным народам — «варварами».

Мы приводим эти исторические факты, чтобы обозначить проблему взаимодействия между церковью и государством, тем, что называется политикой и как она влияет на веру и культуру, как искажает истину и русскую правду — в нашем национальном понимании. История Европы — это история борьбы между христианской церковью и светской королевской властью, а потом и парламентской и республиканской. В частности, французский император Наполеон пытался утвердить себя и в качестве Бога на земле. Постепенно в движении к веку нынешнему Европа стала окончательно вызывающе секулярной, заявившей словами Фридриха Ницше: «Бог умер!» Так народился одномерный «колбасный» человек, частнособственнический потребитель веры, подчинивший своим эгоистическим интересам и протестантскую церковь, принудивший её венчать однополые браки, доведший фаллический культ европейской культуры до её либерального торжества, до отказа от Богоматери и от женщины. И секулярная культура, полностью утратившая идеалы божества, истины, трансцендентальной субстанции, превратилась в «массовую культуру», в усреднённого индивида без «божества и вдохновенья». Надо ли этот процесс называть апокалипсисом европейской культуры, катастрофой сознания рациональной личности — человека разумного? Или это общечеловеческая закономерность, согласно которой наивысшее достижение по критериям прогресса должно опрокинуться в пропасть, подтвердить философию Платона об отражённой тени Света? В данном случае очень подходит выражение: «Это одному Богу известно». Язык и тут выручает.

В сравнении с Европой, а наши отечественные историки, философы, культурологи, богословы и даже естествоиспытатели всегда занимались проблемой отношений «Запад — Восток», «Россия — Европа»,

российские государственность, православие и культура имеют свои специфические особенности. Во-первых, вся история России делится на несколько периодов, начиная с Киевской Руси, в которых государственность, религиозность и культурность никогда не выглядели равновесными по степени влияния на людей. Эти структуры имели разные смысловые парадигмы в зависимости от исторических условий, проваливаясь каждые сто лет в смуты и перевороты, формируя, по выражению Ф. Достоевского, человека в образе «ангела и зверя». Писательские метафоры всегда ограничены, не абсолютны, но в них улавливается контекст эпохи, «ароматы бытия». В обобщённом виде можно сказать, что для русского мировоззрения характерны дуализм, двоеверие в культуре, диглоссия в языке, праведность и грех, святость и бесовщина, антигосударственность и патриотизм, воля и свобода, служение и междоусобица, самодержавие и нынешняя демократия, уничтожение и реклама духовного мессианства. Эту перманентную двойственность отражает и афоризм Фёдора Тютчева «умом Россию не понять», и суждение Европы о России как о стране мазохистской и нелогичной.

Положение российских государственности, православия и культуры, их взаимодействие я попытался рассмотреть в монографии «Историко-социальные субъекты культуры», опубликованной в 2007 году. Она отмечена дипломом лауреата на Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу.

Кто интересуется этими проблемами, может познакомиться с ней в фондах краевой научной библиотеки, в стенах которой проходила секция в рамках XIV Красноярских краевых образовательных Рождественских чтений.

Мы хотели бы сделать несколько важных для текущего времени выводов. Во-первых, не следует отождествлять религию, православие и культуру с сакральным и секулярным. Православие по духовным основаниям выше культуры. Во-вторых, в культуре невозможно сформировать духовно-нравственные идеалы и ценности без опорных смыслов православия. Как показывает опыт исторического развития, мирская культура, отвернувшаяся от веры, вырождается в «массовую культуру», в кризис всех устоев — семейных, общественных, личностных. В постмодернистском творчестве нет шедевров искусства, превосходящих по художественной ценности те образцы прежних столетий, которые были связаны с верой в Христа, в Нагорную проповедь. Эстетических изысков в современности много, но они не вдохновляют, не укрепляют в человеке веру в его высшее предназначение по образу и подобию. Шум большой, а результат: гора рождает мышь.

Не случайно и система современного образования перестала быть просвещением и воспитанием, а превратилась в технологию обучения приёмам рыночной экономики, с психологией потребления: чем

больше вещей, тем лучше, с призывами «не засохни», «оттянись» и прочими. И в наборе образовательных компетенций нет рекомендаций по формированию сынов и дочерей Отечества, патриотов России, по созданию крепкой семьи, о любви к детям и родителям, о почитании стариков, о преемственности поколений. При отказе от государственной идеологии (фактически она есть, как стихийная и рыночная, с преобладанием в экономике и в обучении духа протестантизма), при допущении в Законе об образовании разнообразия мировоззрений складывается впечатление хаоса «без руля и без ветрил». Поэтому повержены все общественные идеалы и авторитеты. Принижен культ добросовестного профессионального труда. Настойчиво показываются телезрителям «Игра в миллион», «Поле чудес», «Смехопанорама», «Битва хоров» (с «музыкальной попсой») и прочее. Бесконечные кинобоевики, криминальные телесериалы и сексуальные фотосессии в СМИ.

Готовится «толерантный» (что само по себе абсурдно) учебник по истории России более тысячи лет. Президент Российской Федерации В. В. Путин верно говорит, что «Россия — это судьба», что традиции — это учёт всей российской государственности за прошедшие столетия. Но, с нашей точки зрения, как можно познать историю России без истории русского православия, без церквей и монастырей, без образов святых?! В средневековой Руси самыми образцовыми и экономически эффективными были монастырские хозяйства. Они же укрепляли подвижные в тот период намечавшиеся государственные границы. Вообще, роль православных монастырей в этом плане слабо изучена.

В ответе на вопрос «делать жизнь с кого?» для всех поколений, и особенно для нравственного становления молодёжи, чрезвычайно важны примеры исторического подвижничества и жертвенности святых русского православия, их проповедничества. И образ Сергия Радонежского тут совершенный и бесподобный. И в его юбилейный год на наших XIV Красноярских образовательных Рождественских чтениях к месту вспомнить некоторые высказывания об этом выдающемся человеке земли русской. Оценивая его житие, историк В. О. Ключевский писал: «Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало всё временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли

называть идеалом. Такие люди для грядущих поколений становятся не просто великими покойниками, а их вечными спутниками, даже путеводителями, и целыми веками благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия: это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания» (В. О. Ключевский, «Неопубликованные произведения», 1983). Лучше о Сергии Радонежском и не скажешь. И знать бы о житии его нынешним сочинителям учебника по истории России.

О славном Сергии Радонежском, вдохновившем Русь на освободительную от затыжного ордынского ига Куликовскую битву, писали известные в русской литературе авторы: И. С. Шмелёв, Б. К. Зайцев, Б. В. Шергин, Ю. М. Лошиц, В. Г. Распутин. Приведём высказывание Б. К. Зайцева: «Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы за организованность человеческой души, за выведение её пестроты и сущности в строгий канон. Аскетический подвиг — выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток Божественного беспрепятственно бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое даёт ощущать Бога, связывает с ним? Кроме избранничества, благодати, здесь культура, дисциплина» («Преподобный Сергий Радонежский: Сборник», 1996). Само писательское слово о Сергии Радонежском есть продолжение (по добру и красоте) слова древнерусских мыслителей, как неизбежность духовной крепости, тогда порождённой и обнадёживающей до сих пор.

Как замечает В. Г. Распутин, «всё это готовилось исподволь и долго, но святая Русь, прерванная игом, начиная с преподобного Сергия, снова была отмолена и вымолена...» («Преподобный Сергий Радонежский: Сборник», 1996).

Личность Сергия Радонежского, его житие (духовное, строительное, земледельческое) можно считать знаком между печалованием о «гибели земли русской» и восхождением к радости освобождения, к убеждению, что святую Русь (вызревшую в сознании) уже не сломить.

Мы хотели бы закончить свои размышления утверждением о том, что настоящее и будущее России зависит от гражданского диалога с православием и, конечно, с другими конфессиями. Приоритеты национального выбора указывают на ценности этого пути. И государство Россия, и современное общество в стране, и духовно-нравственные ориентации в культуре, в образовании, в искусстве и даже в науке должны сочетаться с основами русского православия и других мировых религий, со смыслами бытия на этом духовном фундаменте.

Анатолий Байборodin

## Блаженны кроткие

Размышления по прочтении книги Александра Щербакова «Деревянный всадник»

*Отец мой был природный пахарь,  
И я работал вместе с ним...*

Русская песня

Размышления о крестьянской России были зачином давнишнего очерка «Русский обычай», и давнишние мысли жданно и гаданно явились, когда читал книгу писателя Александра Щербакова «Деревянный всадник», где мой земляк, енисейский сибиряк, с завидным знанием, сыновней любовью живописал крестьянский ремесленный мир. По прочтении книги былые размышления обрели некую трагическую завершённость, хотя автор и не пропел заупокойную русскому селу.

*История России* есть *история крестьянства*, ибо даже на рассвете минувшего века крестьян в русском патриархальном Отечестве проживало более девяноста процентов в сопоставлении с иными условиями. Разумеется, к закату века, когда осатаневшая цивилизация перепахала раскалёнными плугами природный мир — творение Божие, крестьянство на Руси изрядно поредело; но даже бывшие сельские жители, что переметнулись в иные сословия, а порой и те, пуповины коих отроду не вязались с матерью сырой землёй, в сокровенной родовой глубине души и по сей день не утратили крестьянского духа и сладостно-томительной тяги к земле. Но, увы, письменные труды по истории государства Российского, прежде царского, грешили тем, что запечатлели лишь историю великокняжеских и царских дворов, историю верховодящих сословий да ратьбу и тяжбу за власть и утробные сокровища, историю государственного и хозяйственного строительства, историю войн, смут и кровавых бунтов, историю религиозных преобразований и явлений мудрости мира сего. А двухтысячелетняя повседневная народная — суть крестьянская — жизнь, история развития народного духа — опять же крестьянского — прозябали в забвении. Не случайно писатель-этнограф Михаил Забылин, создатель славного сочинения «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия», печалился: «Читая лекции отечественной истории в наших учебных заведениях, преподаватели этого предмета мало говорят об обычаях и образе жизни наших предков, почему бытовая сторона нашего народа в своём прошлом почти потеряна для нас». Михаил Забылин скорбел о незапечатлённой судьбе сельской Руси

полтора века назад, когда в крестьянстве ещё цвела и красовалась ископная обрядовая культура, несметные самородные ремесленники дивили мир художеством. А что уж говорить о нынешней поре, когда национальное русское уничижается, истребляется сатанаиловым варварством — и доморощенным, и заморским, сквозь воровски отпахнутые российские ворота хлынувшим на Русь, дьявольски ярким и губительно сладким. Искус земель заходящего солнца...

В советский век, в отличие от царского, власти вроде и обернулись лицом к деревенской жизни, но, облаяв её многовековое духовное и творческое наследие как дикость и рабство, так перепахали сельский мир, что к закату двадцатого века от исконного села осталась жалкая труха. Впрочем, виной тому и железная поступь цивилизации, тракторными гусеницами раздавившая соломенную, деревянную крестьянскую Русь; скакал наивный жеребёнок за стальным конём, а всё одно запалился и пал бездыханно на пыльной обочине. Вроде и радела советская власть брежневской поры о сельском хозяйстве, но по России-матушке пошло необратимое вырождение крестьянского мира и духа, а посему вороватая прозападная власть, что дьявольски воцарилась в России на порубежье веков, легко столкнула деревню в беспросветную нужду и пьяную печаль. Хотя, как убеждает читателя Александр Щербаков в книге «Деревянный всадник», сельский мир дюжил и во второй половине ушедшего века, и непременно возродится, ибо неисповедимы пути Господни.

По глаголам Божиим, «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»; в Державе Русской, хотя и наделённые вселенской мудростью, по-детски кротко жили крестьяне, отчего испокон веку страдали от сильных обезбоженного мира сего, пока не добрались до края. Разрушение крестьянского (суть христианского) мира стало самой великой трагедией России, ибо сокрушился тысячелетний русский земной лад, гармонично прилаженный к небесному, и несчастный, душевно и духовно ослепший народ закрутился в суетной жизни — в чёрном омуте греха и порока. Рушились в сознании:

спасительная державность — «раньше думай о родине, а потом о себе»,

общинная братчинность — «за други своя не жалеи живота»,

домостроевская семья — «за мужика завалюсь — никого не боюсь»,

целомудренные браки, что вершились на небесах, — «но я другому отдана и буду век ему верна».

И русский человек, подобно западному, вдруг мучительно ощутил своё полное и страшное одиночество в мире, свою незащищённость; но если западный утробный человек, обузданный законами, смирился, уткнувшись в корыто с похлёбкой, то русский, не приваженный жить без божественной народной идеи, от безыдейности и одиночества кинулся во все тяжкие, но без радостного азарта, а с мучительной тоской — «душа болит».

Да, как скорбел Михаил Забылин, «бытовая сторона нашего народа в своём прошлом почти потеряна для нас». Почти, но не потеряна напроочь, и перво-наперво — благодаря писателям-народоведам царской России, таким как Забылин, Максимов, Сахаров, Калинин; благодаря и советским певцам деревенского лада Шергину, Акулову, Можаяеву, Абрамову, Шукшину, Носову, Астафьеву, Белову, Распутину, Личутину; в этом ряду, созвучная книге Василия Белова «Лад», полноправно может встать и книга Александра Щербакова «Деревянный всадник». «Александр Щербаков,— писал Виктор Астафьев,— из числа тех последних, наверное, «деревенщиков», что унесли в своём сердце частицу тепла из русской избы, свет чистых небес, яркие краски полей и лесов».

Рождалась книга, как я смекаю, от случая к случаю, долгие годы, если её первые произведения Виктор Астафьев читал ещё в лета вологодского житья и написания «Царь-рыбы». Позже Астафьев очастливил в ту пору ещё молодого писателя и журналиста Александра Щербакова похвальным напутным словом к одной из его книг о крестьянском житье-бытье: «Очень любопытную прочёл я однажды книгу о деревенских ремёслах, и не просто ремёслах, а о ремёслах как бы «вымерших», но, в общем-то, всё же необходимых — о стекольщиках, пимокатах, печниках, «отыскивателях водяной жилы» — копателях колодцев, о выделывателях шкурок, о плотниках, столярах, о каменотёсах и многих-многих других. Написано это было с таким глубоким знанием предмета и так занимательно, что очерковую книжку я прочёл залпом, а случается это в наше время не так уж часто...»

Хворь нынешней российской прозы — и родной русской, и неродной русскоязычной, одинаково заражённой западной беллетристической, — журнализм, а посему, что греха таить, переживал я за брата по ремеслу: не одолела ли эдакая напасть и Александра Щербакова, коль молодые, да и зрелые лета мой земляк спалил в журналистике? Но — редкий случай, когда пристальное, журналистское изучение, потом степенное изложение материала живо слились, художественно сплелись с поэтическим повествованием, не сотворённым, но рождённым из пронзительных впечатлений деревенского детства и отрочества.

Русский очерк родился со святым крещением Древней Руси, с обретением славянской письменности и величаво воплотился в средневековых летописях, древних повестях, *словах* и житиях святых — суть очерковых повествованиях. Веками процветал очерк — житийный, путевой, портретный, социальный, природный, — и лишь в нынешнее лихолетье, когда душами, умами овладела мёртвотушная и скудоумная журналистика без Бога и царя в голове, очерк, сей великий литературный жанр, пылится на чердаке, словно искусная крестьянская утварь, которая и в деле ловка, и тешит, греет душу красой, умудряя природными знаками и чертами.



Воистину, журналистка журналистике рознь. Лет около десяти в Иркутском государственном университете читал я практическую стилистику русского языка журналистам и скоро понял: для большинства студентов журналистика — реклама да новости, похожие на сплетни, злые и похабные; и это большинство рвётся на телевидение, где журналистов выше крыши, где потребны не любовь к Вышнему и ближнему, не ум и щедрое воображение, не благолепный слог, а смазливая личина, лицедейские замашки, актёрски поставленный голос, да у девушек ещё и цапельные ноги, растущие «из ушей». Я, прости Господи, грешным делом, невесело посмеивался над студентами, сочинив байку про нынешнюю тележурналистику... За кулисами цирка — осёл и его дрессировщик; к понурой скотине, блудливо вертя лисьим хвостом, подваливает теледива; садится на осла... другой раз воссядет на капот машины, генератор, сепаратор, свежий труп... и, махнув оператору, суёт микрофон дрессировщику в рот, потом с умным видом вопрошает: «Скажите, пожалуйста, почему ваши ослы, которые, по мнению специалистов, не отличаются большим умом, так чётко выполняют ваши команды?..» — «Ну что я вам, девушка, скажу... — задумывается дрессировщик ослов. — Я не знаю, отличаетесь ли вы большим умом, но и вы где-то учились, и вы чему-то научились, так и мой осёл...»

Смеха ради помянуто, а если серьёзно... В советской журналистике, что дивом перепало ей от бывлой царской, вершинным жанром почитался очерк, который нет-нет да и граничил, а порой и жанрово сливался с рассказом, отчего величался другой раз и писательским. В книгу Александра Щербакова «Деревянный всадник» и вошли писательские очерки, порой неотличимые от лирических сказов, где пристальное и подлинное описание крестьянского житья-бытья. Впрочем, книга открывается не очерками, а созвучной очеркам прекрасной повестью «Свет всю ночь» — земной поклон Александра Илларионовича крестьянской вселенной, деревенскому роду и родному народу, детству и отрочеству, — земной поклон, подобный песне: «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с ним...»

Читал книгу, и наплывали видения своего деревенского житья-бытья; четверть века прожил в забайкальском селе, а вторую четверть века оплакивал и воспевал крестьянский мир; но многое и я со светлой завистью открыл для себя, ибо, в отличие от Александра Щербакова, выходца из южно-сибирского хлеборобного села Таскино, рос и мужал среди степных скотоводов и скотогонов в северо-восточном Забайкалье, под самым боком у студёной ветровой Монголии, где хлебá, увы, путём не вызревали, и хлеборобство для меня так и осталось за семью печатями. К тому же, когда я ещё пешком ходил под стол, крестьянский мир, наводнённый техникой, уже утрачивал вместе с деревенскими ремёслами и свой исконный дух и образ. Это особо скорбно выразилось в безбожно расхристанных районных

сёлах, что, смешно и грешно, задрал штаны по самый срам, кинулись догонять город, но, не обретя благочинности и благородства, а усвоив лишь напомаженные городские пороки, так и раскорячились копытами на двух берегах — ни город, ни село; слава Богу, ещё не Содом и Гоморра. И ещё покаюсь: деревенское моё бытование, на кое тяжёлым и тёмным пластом легли почти три десятка городских лет, почти угасло в душе и лишь изредка вспоминается как сон, как нечто увиденное со стороны, бывшее не со мной и мало волнующее. Отмолился родному селу, окрестным полям и лугам, пора, грешному, и у Бога прощения молить. А посему читал очерковые сказы Александра Щербакова и дивился тому, что писатель не спалил в суетной журналистской жизни светлую и печальную любовь к родному очагу, что душа, словно птица-вещунья, на крылах поминаний снова и снова витает над родимым селом, над крестьянским миром, над русским царством-государством.

Русский... Молвишь сие величавое слово, и в памяти всплывает: христианин, крестьянин... С виной и любовью сказал о крестьянстве добрый писатель Александр Куприн: «Когда говорят „русский народ“, я всегда думаю — „русский крестьянин“. Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял восемьдесят процентов российского народонаселения. Я, право, не знаю, кто он, богоносец ли, по Достоевскому, или свинья, по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно много должен: ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке, и за всё это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность?»

Русскоязычные «просветители-западники» целый век толковали о рабской сущности, лености, темноте и забитости русского крестьянина (даже два Ивана, Бунин и Тургенев, сие живописали); в обличительный хор «царских западников» вплелись голоса советских мудрецов, воспевающих колхозное село, проклинающих царское. Родившись в прошлом веке среди кривобожьих «просветителей», идея крестьянского убожества полвека внушалась русскому народу разрушителями православной государственности и народности. А ведь, на Бога уповая и не плошая, благодаря духовной трезвости, земледельческому и ремесленному таланту, любовному знанию природы, трудолюбию, выносливости и терпеливости дореволюционный русский мужик кормил хлебом не токмо Российскую империю, а и пол-Европы, хотя сам нередко перебивался с хлеба на квас. Вот вам и лень... А если говорить о рабской сущности русского крестьянина, то можно согласиться: да, русский крестьянин — суть православный христианин — не своевольничал, ибо своя воля страшнее неволи, жил рабом Божьим, но не рабом князя тьмы и смерти, и волю понимал как волю от пороков, жаждал сей воли, хотя и сознавал: лишь Господь без греха. А случалось, и, утративши воловье терпение, бунтовал за-ради земной воли, и рекой лилась кровушка по русской земле.

Грешно было говорить и о темноте и дикости русского крестьянина, который создал сверхгениальную и необозримую обрядовую культуру, далеко превосходящую народные культуры европейских народов. Подтверждение тому — русская песня как вершина народной культуры, о которой сказал даже и не русский человек — Рудольф Вестфаль, крупный немецкий учёный, исследователь античной филологии и поэзии, знаток немецкой и русской культуры: «Поразительно громадное большинство русских народных песен, как свадебных и похоронных, так и всяких других, представляют нам такую богатую, неисчерпаемую сокровищницу истинной нежной поэзии, чисто поэтического мировоззрения, облечённого в высокопоэтическую форму, что литературная эстетика, приняв раз русскую песню в круг сравнительных исследований, непременно назначит ей безусловно первое место между песнями всех народов земного шара. И немецкая народная песня представляет нам много прекрасного, задушевного и глубоко прочувствованного, но так узко течение этой песни в сравнении с широким потоком русской народной лирики, которая не менее немецкой поражает ваше впечатление, но зато далеко превосходит её своею несравненной законченностью формы. . . Философия истории имеет полное право вывести из этого дарования самые светлые заключения для будущности русской истории».

Мы сказали о русской народной культуре, которая в песне нашла более полное и совершенное выражение и которая, по мнению немецкого учёного, далеко превосходит культуры народов мира с точки зрения высокой поэзии. А уж о духовно-нравственном здоровье русского крестьянина, который крестился и облёкся во Христа, в нынешнюю эпоху чужебесия можно лишь мечтать даже и крещёным обывателям.

Свою душу крестьянин оберегал верою, молитвою и постом; оберегал традиционным домостроем, жизнью среди природной красоты и чистоты; оберегал и каждодневным натуральным созидательным трудом — вольный, азартный, вдохновенный труд укрощал плоть, отвращал от грехов и пороков, в праздности затягивающих душу зелёной болотной ряской.

В очерках Александра Щербакова и слышатся эхом отзвуки великого крестьянского мира и лада. Но автор любовью не приукрашивает деревню — и стародеревенские жители зябли в суевериях, маялись грехом и горе мыкали; оценка деревне дана лишь в сравнении с нынешними временами, для села похожими на последние времена. Но. . . да не впадём в грешное унынье, ведая, сколь по Руси талантливых певцов крестьянского мира, подобных писателю Александру Щербакову, благодаря которым не умрёт село, но, вспомнив себя в красе и мудрости, оживёт и заживёт по-божески, по-русски. Так хочется верить. . .

И писатель не унывает, глядячи на безрадостное нынешнее сельское житьё-бытьё, — верит: заиграет праздник и на деревенской улице.

«Не спорю, попритухли ныне по сёлам ремёсла. Но это временно. Придут мастера. Не мною первым замечено, что отменно смекалист русский трудовой человек. Две самые сильные „тяги“ живут в его открытой и бесшабашной душе: первая — к справедливости, за которую он готов голову положить, вторая — к мастерству, к искусности и сноровке, которые давали бы ему право гордиться своим умением, уважать себя и знать себе цену. Недаром искони богата Россия мастерами-умельцами. И не зря говорил мой отец: „Что ни село — то ремесло“».

*15 июня 2011*

## Авторы



### Авченко Василий Олегович

Родился в 1980 году в Иркутской области, живёт во Владивостоке. Окончил журфак ДВГУ в 2002 году. Автор документального романа «Правый руль» (длинный список премии «Большая книга», короткий список премий «Нацбест» и «НОС»), энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока», фантастической киноповести «Владивосток-3000» (в соавторстве с Ильёй Лагутенко). Печатался в журналах «Знамя», «Москва», «Двина», «Нижний Новгород», альманахе «Рубеж».



### Байбородин Анатолий Григорьевич

Родился в 1950 году в забайкальском селе Сосново-Озёрск, где и окончил среднюю школу. По окончании Иркутского государственного университета (филологический факультет) работал журналистом в сельских и областных газетах Восточной Сибири. Ныне — исполнительный редактор альманаха «Иркутский Кремль». Романы, повести, рассказы, художественно-публицистические и научно-популярные очерки печатались в московских и губернских журналах, коллективных сборниках, за рубежом, издавались отдельными книгами в Москве и Иркутске. Лауреат Большой литературной премии России (2007), областных премий — имени святителя Иннокентия Иркутского (1997), губернатора Иркутской области (2002).



### Вашгерд Эдуард Анатольевич

Родился в 1961 году в Красноярске. Окончил институт цветных металлов имени Калинина в 1983 году. Горный инженер, старатель. Достижения: первая промышленная добыча золота в карбонатитах; открытие месторождения платины и попутных компонентов в Норильске (россыпи «Верхняя» и «Нижняя»), книга «Артель-мама».



### Гайдук Николай Викторович

Родился на Алтае в 1953 году. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, Высшие литературные курсы в Москве. Российскому читателю Николай Гайдук известен как поэт и прозаик, автор книг стихов и прозы, в том числе и вышедших за рубежом. Член Союза писателей России.



### Замышляев Владимир Иванович

Родился в 1938 году. Работает в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени М. Ф. Решетнёва

соктября 1991 года. Он формировал гуманитарный факультет вуза в трудный период реформирования страны и системы образования и был деканом факультета с 1991 по 2003 год. За успешную научно-образовательную и культурную деятельность профессору В. И. Замышляеву присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Федерацией космонавтики России он награждён почётной медалью имени К. Э. Циолковского. Член Союза журналистов России, Союза писателей России.



### ЗАХАРЧУК ЕВГЕНИЯ

Родилась в Красноярске 14 декабря 1999 года. Живёт в Железногорске. В первом классе написала первое стихотворение, потом увлеклась журналистикой и прозой. Оканчивает музыкальную школу. Победитель краевого литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза» среди детей.



### ЗУЕВА ЕВГЕНИЯ

Родилась и живёт в Красноярске. Педагог, культуролог, журналист, путешественник. Прозу и стихи пишет с раннего детства, пробует себя в драматургии. Дипломант краевого литературного конкурса 2013 года на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза». Готовит к изданию поэтический сборник.



### КУЗНЕЧИХИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Родился 14 июля 1946 года в посёлке Космынино под Костромой. После окончания химфака Калининского политехнического института уехал в Свирск, потом переехал в Красноярск. За двадцать лет работы инженером-наладчиком изъездил Сибирь от Урала до Дальнего Востока, от Тувы до Чукотки. Выпустил поэтические сборники: «Жёсткий вагон» (1979), «Поиски брода» (1991), «Похмелье» (1996), «Неприкаянность» (1998), «Ненужные стихи» (2002), «Местное время» (2006), «Дополнительное время» (2010) — все в Красноярске, — и четыре книги прозы: первую («Аварийная ситуация») — в издательстве «Советский писатель» в 1990 году, затем «Омулёвая бочка» (1994), «Где наша не пропадала» (2005), «Забавный народ» (2007) — в Красноярске. Печатался в «Литературной газете», в журналах «Дальний Восток», «Сибирские огни», «День и ночь», «Наш современник», «Зарубежные задворки», «Киевская Русь», «Арион», «Дети Ра» и др.



### НАЛИВАЙКО НАТАЛЬЯ

Родилась 30 апреля 1991 года в Красноярске. Окончила Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, сейчас учится там же в аспирантуре. Работает в институте социально-гуманитарных технологий КГПУ ассистентом кафедры специальной психологии и заместителем директора по внеучебной работе.



### Немтушкин АЛИТЕТ НИКОЛАЕВИЧ (1939–2006)

Родился в 1939 года в деревне Токма (стойбище Ирикши) Катангского района Иркутской области, в семье охотника. Рано остался без родителей. Мать умерла, отец погиб на фронте. Воспитывался в школах-интернатах и бабушкой Огдо — Евдокией Ивановной Немтушкиной. У бабушки Огдо было четырнадцать детей. После нескольких лет учёбы в Ленинграде и Красноярске работал в Эвенкии корреспондентом газеты «Красноярский рабочий». В 1961 году стал редактором Эвенкийского радио. В 1960 году выходит первый сборник его стихов на эвенкийском языке «Тымани агиду» («Утро в тайге»). Стихи молодого поэта печатаются в журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба народов», «Енисей», «День и ночь». Первым из эвенков в 1969 году стал членом Союза писателей СССР. Последняя книга — сборник его жизненных наблюдений «Олень любит соль» — была издана небольшим тиражом в декабре 2005 года. Умер в 2006 году.



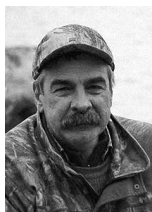
### Новосельцев АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1958 году в Сталинграде. Член Союза писателей России, Союза писателей Сербии, Союза архитекторов России. Советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Автор научных и научно-популярных книг и статей по истории и архитектуре Елецкого края, литературоведческих работ. По его проектам построены и отреставрированы храмы, жилые и общественные здания. Живёт в Ельце и деревне Польское, рядом с бунинскими Озёрками. Пишет прозу, в которой преобладает тема родной земли, уходящей русской деревни и её жителей. Первая же книга прозы А. Новосельцева «Пал» была отмечена высшей литературной наградой Союза писателей России за 2006 год — Большой литературной премией России. Его успехи в области литературы отмечены также всероссийской премией «Имперская культура», Шукшинской и Бунинской премиями, Патриаршей грамотой, премией «Белуха» имени Г. Гребенщикова.



### Подосёнов ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ

Музыкант, культуролог, блоггер. Родился в Красноярске в 1984 году. Принимал участие в различных музыкальных, литературных и прочих культурных проектах родного города, в 2011–2013 годах был сотрудником красноярского Дома искусств. С 2013 года живёт в Санкт-Петербурге. Помимо прочего, пишет статьи на этнографические, исторические и культурологические темы. Этнический помор: часть его предков — выходцы из исторического Поморья, которое дало нашей Родине множество первооткрывателей и исследователей Сибири.



### РЕМИЗОВ ВИКТОР

Родился в Саратове, там же учился в геологоразведочном техникуме. После армии окончил филологический факультет

МГУ. Работал геодезистом в тайге, в студенчестве — грузчиком и дворником, после университета — учителем русского языка и литературы, с 1988 года — в московских газетах и журналах. Женат. Двое сыновей. Живёт в Подмоскowie. Первые рассказы написал 30 лет назад, но не придал им значения. В 2008 году вышла книга рассказов «Кетанда». Роман «Воля вольная» (2014) вошёл в шорт-листы премий «Большая книга» и «Русский Букер».



### РУСАКОВ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ

Родился в 1942 году в Красноярске. Выпускник Красноярского медицинского института и Литературного института им. Горького. Работал врачом-психиатром, редактором на студии документальных фильмов, корреспондентом СМИ. Печатается с 1966 года. Автор более десяти книг прозы. Публикует прозу в журналах «Знамя», «Юность», «День и ночь». Произведения переводились на азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский и японский языки. Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба.



### САВВИНЫХ МАРИНА ОЛЕГОВНА

Родилась в Красноярске 9 декабря 1956 года. В 1978 году окончила с отличием факультет русского языка и литературы Красноярского педагогического института (ныне — университет им. В. П. Астафьева). Стихи, проза, публицистика печатались в журналах и альманахах «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Москва», «Дети Ра», «Крещатик» и многих других. К началу XXI века — семь книг стихов и прозы. Множество статей о творчестве современных сибирских писателей, предисловия и послесловия к всевозможным сборникам. Лауреат Фонда Астафьева (1994), газеты «Поэтоград» (2010) и журнала «Дети Ра» (2011). Автор проекта и первый директор Красноярского литературного лицея (1998–2012). С 2007 года — главный редактор журнала «День и ночь». Член Союза российских писателей. Член президиума Международного Союза писателей XXI века.



### САКОВА РАИСА ТЕРЕНТЬЕВНА

Родилась и выросла в маленьком селе Карагай (Лиственничная гора) Таштыпского района Хакасии. Училась в Абаканском пединституте, в Литературном институте имени А. М. Горького. Член общественного совета при Министерстве культуры города Красноярска. Доцент Красноярского института железнодорожного транспорта. Сфера её интересов как критика — этнопоэтика литературы народов Сибири. Печаталась в литературных журналах Сибири. Автор публикаций «Фольклорное происхождение хакасской литературы», «После сказки», «Миф как реальность, реальность как миф», «Сердитые молодые люди», книги «Фольклор и литературы



народов Сибири» и др. Член Союза писателей России, член Международного литературного фонда. Живёт в Красноярске.



### СИДОРОВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась 19 июня 1995 года в Красноярске. Училась в двух лицеях Красноярска: № 11 и № 7. Окончила школу с золотой медалью. С шести лет и по сей день занимается эстрадным вокалом, есть значимые результаты: записано четыре сольных альбома. Начала писать стихи в 14 лет. Лауреат премии руководителя администрации Кировского района «Одарённость» за высокие достижения в области культуры и искусства. Лауреат всероссийских и международных музыкальных фестивалей детского и юношеского творчества. Участвовала в литературных фестивалях «Прямая речь», «Порядок слов», «Планета детства», «Современные сказки Сибири», «Середина земли». В данный момент идёт подготовка к публикации сборника стихотворений «Вселенной дышит человек». Студентка Сибирского федерального университета, института нефти и газа. Входит в состав редакции институтской газеты «Oil times», пишет статьи в каждый номер.



### СМИРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в Норильске в 1953 году. Семья деда репрессирована в 1930 году, жила в Казачинске, Тасеево, Стрелке, Галанино. Родители — ветераны Норильского ГМК. После норильской школы окончил МГУ имени М. В. Ломоносова (географический факультет), работал в университете, почти во всех крупных горных системах СССР от Средней Азии до Чукотки, в морской геологии на Арктическом побережье и шельфе от Лены до Колымы и Чаунской губы, на островах Медвежьих и Новая Сибирь. Был грузчиком, костоловом, водителем, связистом, строителем, плотничал. Жил и работал в Игарке. Несколько лет назад вернулся в Норильск, где живёт и по сей день, работает в «Норильскгеологии». Прозу и стихи начал писать в 1980-х, публиковаться — в 2000-х в чукотских и норильских газетах и литературных альманахах, в красноярском журнале «День и ночь».



### СОЛОВЬЁВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1949 году в Боготоле. Жил в Боготоле и Зеленогорске. В начале 70-х годов уехал работать штатным охотником в село Ворогово Туруханского р-на, более 35 лет живёт в селе Бахта.



### СТЕКЛОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Родился на Урале в 1950 году. Инженер-металлург. Более тридцати лет проработал на Норильском горно-металлургическом комбинате на различных должностях. Походы в тундру, рыбалка и охота на Севере стали одним из главных увлечений в его жизни. Побывал от озёр на границе с Эвенкией до Диксона. Воспоминания об этих путешествиях и приключениях на Таймыре лежат в основе его рассказов.



### СУТОЦКИЙ СЕРГЕЙ

Родился в 1952 году. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Работает врачом. Пишет прозу. Живёт в Зеленогорске.



### ТАРКОВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский поэт и писатель, около 30 лет живущий в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Родился в Москве в 1958 году. После окончания пединститута им. Ленина (отделение «география-биология») уехал в Туруханский район, где работал сначала полевым зоологом, а позже охотником. Автор рассказов, повестей и очерков о жизни таёжных охотников и рыбаков, жителей Енисея. Член Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий: журналов «Наш современник», «Роман-газета», Соколова-Микитова, Шишкова, «Ясная Поляна» им. Л. Н. Толстого и других.



### ТРЕТЬЯКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1939 году в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза, литературным сотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете ВГИКа, в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других городов России. Автор семи книг стихов. В Красноярске и крае известен как поэт-песенник, автор гимна Красноярска и многих других песен. Лауреат губернаторской премии Красноярского края. Член Союза писателей России.



### ЧЕБОТАРЁВА АННА

12 лет, живёт в посёлке Памяти 13 Борцов Емельяновского района Красноярского края. Победитель краевого литературного конкурса на соискание премии имени Игнатия Рождественского в номинации «Я себя не мыслю без Сибири» среди детей.



### ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ

Родился в 1939 году в селе Таскино на юге Красноярского края. В различных вузах окончил с отличием факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, журналистом, редактором Красноярского книжного издательства. В 2003–2007 годах возглавлял Красноярское региональное отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, изданных в Москве и Красноярске. Печатался во многих журналах СССР и России. Заслуженный работник культуры РФ. Академик Петровской академии наук и искусств. Лауреат региональных и российских журналистских и литературных премий. Награждён медалью «За трудовую доблесть», почётными знаками «300 лет российской прессы», «100 лет М. А. Шолохову», «Золотое перо» и др. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Живёт в Красноярске.

«СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СОБЫТИЯ»

---

Краевая художественная выставка, посвящённая  
80-летию со дня образования Красноярского края

20 ноября — 8 декабря 2014 года, МВДЦ «Сибирь»



Константин Войнов | Наследник тундры



Павел Батанов | Вечный мотив весны



Наталья Горбачёва | Вечер в деревне



Дарья Карабчук | Октябрь. Вышний Волочёк



Людмила Иванова | Звезда



Нина Незговорова | Вечер на Бирюсе



Карл Вальдман | Новый Красноярск (Проспект им. Сталина)



Александр Клюев | Деревня



Евгения Аблязова | Белый дом в тёплой осени



Лариса Гурьева | Апартакал



Валерий Росляков | Таймыр. День рыбака



Юрий Худонов | Прошли дожди (Хлеб везут)





Юрий Деев | К весне (Дед с петухом)



Владимир Мешков | На берегу Карского моря



Александр Краснов | Война самолёта с пехотинскими племенами





2014

ГОД КУЛЬТУРЫ

---



1934  
2014

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ